

Администрация Чусовского муниципального района
Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина



ЧУСОВОЙ

литературный


издательство
МАМАТОВ[®]
www.mamatov.ru

Санкт-Петербург 2013

УДК 821.161.10
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Ч 94

**Книга издана при финансовой поддержке
администрации Чусовского муниципального района.**

**Посвящается 80-летию города Чусового
и 445-летию освоения Чусовских земель.**

Чусовой литературный / сост. А. М. Кардапольцева, В. Н. Маслянка. —
Ч94 СПб.: Маматов, 2013. — 352 с.: ил., фото.

Книга «Чусовой литературный» посвящена истории чусовской литературы.

«Этот небольшой городок оказался урожаен на писателей. Не только прохожих, вроде Каменского или Грина, но и своих, родившихся здесь или подолгу живавших здесь. Их вышел, пожалуй, десяток во главе с первенственным и всесветным В. П. Астафьевым», — так пишет об уникальном чусовском литературном феномене писатель, публицист, литературный критик В. Я. Курбатов.

Книга представлена произведениями литераторов, ставших членами Союзов писателей; литераторов из легендарного первого литературного кружка при газете «Чусовской рабочий»; героев астафьевской затеси «Город гениев». Все представленные произведения объединяет общая география. В них, как правило, либо описываемые события происходят в Чусовом (Чусовском районе) Пермского края, либо само произведение написано в Чусовом. В книгу включены и отрывки из критических статей и писем, высказывания современников, фотодокументы.

Рассчитана на широкие круги читателей: учащихся, учителей, библиотечных специалистов, краеведов, работников музеев, всех интересующихся литературным творчеством, историей и культурой страны.

В книге использованы работы художников: Е. Н. Широкова, Р. Б. Исмаилова, П. Ф. Шардакова, А. Л. Набатова, О. В. Завальнюк, В. Н. Чаплыгина, В. В. Армишева, В. Н. Аверкиева; фотодокументы и материалы из фондов государственного краевого учреждения культуры «Литературный музей В. П. Астафьева», муниципального учреждения культуры «Этнографический парк истории реки Чусовой», муниципального учреждения культуры «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина».

Авторы фотографий: В. Н. Маслянка, О. Л. Постникова, Н. В. Постников, Ю. Н. Ситнов, Г. В. Вершинин.

На обложке — картина «Чусовляне» художницы О. В. Завальнюк, 1997 г.

ISBN 978-5-91076-087-9

- © Администрация Чусовского муниципального района
- © МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»
- © А. М. Кардапольцева, В. Н. Маслянка, составление, 2013
- © ООО «Маматов», 2013

У Чусовских родников

Городу Чусовому в отношении родников — литературных талантов повезло невероятно: в его списках значатся писательские звёзды самых разных величин, возрастов, судеб. С Чусовым так или иначе связана судьба более пятидесяти талантливых и самобытных литераторов и журналистов.

Книга «Чусовой литературный» из серии «Ермаковы лебеди на Чусовой» задумана как рассказ об истории чусовской литературы от момента её рождения и по настоящее время. Слава Чусового как города литераторов стала складываться в послевоенное время. А источником литературных талантов стал первый литературный кружок при газете «Чусовской рабочий», впервые собравший будущих чусовских литераторов 1 декабря 1950 года. И может быть ему забытым сейчас, если бы не редчайший случай: день в день с ним (точнее, ночь в ночь с ним!) в Чусовом родился и первый рассказ будущего известного русского писателя Виктора Петровича Астафьева, открывший ему дорогу в большую литературу. Они родились как близнецы одновременно в ночь с 1 на 2 декабря. Как ни крути, а 1 декабря 1950 года — день рождения чусовской литературы!

Виктор Петрович в своей затеси «Город гениев» упоминал о дюжине чусовских литературных талантов, но таланты бывают разные, большие и маленькие, признанные и непризнанные. Увы, в первой книге в силу ряда причин мы не сможем о многих из них рассказать. Надеемся, что знакомство с литературным творчеством писателей, связанных с чусовской землёй, продолжится в следующих изданиях.

А первая книга «Чусовой литературный» задумана как хрестоматия — она представлена произведениями литераторов, ставших членами Союзов (писателей РСФСР, писателей России, российских писателей); литераторов, членов первого литературного кружка при газете «Чусовской рабочий»; литераторов «астафьевской» возрастной группы, сохранивших и приумноживших в творчестве традиции первого литературного кружка.

Все представленные произведения объединяет общая география. В них, как правило, либо описываемые события происходят в Чусовом (Чусовском районе), либо само произведение написано в Чусовом.

При создании первой книги об истории чусовской литературы были споры, какие произведения должны войти в неё: самые-самые лучшие и всем известные или малоизвестные и отражающие разные периоды и разные уровни развития авторов. В итоге было решено, что книга расскажет о малоизвестных страницах и тяжком пути познания литературного творчества в Чусовом.

Именно поэтому в книгу вошли произведения разные по уровню и направленности творчества, форме и содержанию. Это даёт представление



*Стена Почёта в этнографическом парке истории реки Чусовой.
Идея Л. Д. Постникова, худ. В. Н. Чаплыгин*

с одной стороны о диапазоне творческих поисков авторов, а с другой — о разнообразии интересов, желаний, жизненного опыта, представлений и уровне подготовки...

Вместе с тем эта книга как анатомия послевоенной жизни Чусового и всей страны. При огромных материальных дефицитах послевоенного быта народ всё же жаждал духовного. Спрос и родил послевоенных писателей, которые на понятном языке начали рассказывать о войне и мире в стихах и прозе. Поначалу в их творчестве было много и лёгких военных побед, и героизма на трудовом фронте. Но в недрах этого броуновского движения уже тогда начало зреть совсем иное творчество, которое впоследствии ярко представил В. П. Астафьев.

Первый раздел книги «Жизнь на миру» посвящён писателям — членам Союзов писателей. В. П. Астафьев — писатель мирового масштаба, литературной родиной которого является город Чусовой. Чусовской период в его жизни — это период и первых успехов, и трудностей, связанных с отсутствием профессиональных навыков, период мучительного поиска самого себя, истинного творческого пути, период самообразования и неустанного труда. Рядом с Астафьевым, конечно же, его жена, верная спутница, помощница Мария Семёновна Астафьева-Корякина. Великолепный литератор, мудрая



женщина, талантливый человек, она прошла через горнило Отечественной войны и хорошо знала цену людям, их словам и делам. Именно она увековечила в своих произведениях родной город 1930-50 годов. Непосредственное отношение к Чусовому имеет и известный писатель — фронтовик Олег Константинович Селянкин. Здесь он окончил школу, отсюда отправился по комсомольской путёвке в военно-морское училище, прошёл всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Любовь к Родине, патриотизм, мужество формировались на чусовской земле. Подвижником слова назвал В. П. Астафьев ещё одного известного чусовлянина Валентина Яковлевича Курбатова — одного из ведущих литературных критиков страны, писателя, отроческие и школьные годы которого прошли в Чусовом. Во многих своих публикациях Валентин Яковлевич пишет о Чусовом как о родном городе, старается по мере возможностей приезжать на свою малую родину. Все, кто читает Курбатова, кому посчастливилось его слышать, бывают благодарно поражены его нерасхожими провидческими мыслями, глубиной суждений о душе, о Боге, о противоречивой духовной жизни России. Самобытным талантом, получившим первоначальную огранку в ученичестве у Виктора Астафьева, обладал удивительный прозаик Михаил Дмитриевич Голубков. В городе Чусовом, в котором родился и вырос писатель, формировалась его гражданская позиция, воспитывались терпение и трудолюбие, добро-

та и отзывчивость, равнодушие к природе. Много прекрасных строк посвятила своей родине Маргарита Осиповна Пермьякова. Природа родного края, отчий дом, семья — вот основные темы её поэтического творчества. «Часовым из города Чусовой» назвал Евгений Евтушенко известного поэта, эссеиста, журналиста Юрия Александровича Беликова, который родился в Чусовом, здесь учился, начинал свою творческую биографию и до сих пор не прерывает связь с «пречистым Чусовлянством» (определение самого поэта), с городом, живущим на слиянии трёх рек. Путешествует по всей стране и за её пределами с творческими выступлениями наш самобытный поэт, известный бард Григорий Данской.

Второй раздел «Рядом с Мастером» посвящён членам первой литературной студии. В пятидесятые годы в Чусовом подобралась довольно незаурядная плодovitая компания литераторов. В прошлом почти все фронтовики, с богатым запасом прочности и житейского опыта, необычайно оптимистичные, душевно богатые. Иван Тимофеевич Реутов, инженер-майор в отставке, организатор литературного кружка; Виктор Александрович Белугин, машинист завалочной машины в мартеновском цеху; Виктор Михайлович Попов, редактор газеты «Металлург», прекрасный детский поэт; Алексей Яковлевич Скачков, учитель истории (в будущем кандидат философских наук, доцент кафедры философии Пермского государственного педагогического университета) — автор стихов, рассказов, басен, темами которых являются пережитки прошлого, невежество, бюрократизм. Саул Исаевич Сапиро — главный инженер металлургического завода, литературной деятельностью начал заниматься ещё в 1924 году, автор 40 рассказов и повестей, романов; Аркадий Фёдорович Никольский, электросварщик, внештатный литературный сотрудник газеты, корреспондент — написал несколько сотен стихов, стихотворных фельетонов, новелл и поэм. Сергей Николаевич Балахонов, машинист электровоза, литературный сотрудник газеты, член Союза журналистов (1961 г.). Александр Максимович Толстик, опытный газетчик, а в свободное от чернильницы время — заядлый рыбак. Все они стали литераторами, которые внесли весомый вклад в развитие литературного процесса Прикамья. Их произведения печатались в областном альманахе «Прикамье», выпуск которого стал важным фактором развития литературы для уральцев, в областных художественно-литературных сборниках, выходили в свет отдельные книги.

Героями третьего раздела «Астафьевскими тропами» стали персонажи астафьевской затеси о Чусовом и чусовлянах «Город гениев» (первоначальное название «Город непризнанных гениев»). Среди них Владимир Васильевич Армишев, Виктор Семёнович Хорошавцев и талантливый чусовской художник Валерий Николаевич Чаплыгин, работы которого на страницах этой книги пополнили разговор о творчестве и жизни чусовских литераторов, помогли взглянуть на их любимые уголки родной земли.

Книга «Чусовой литературный» вышла в свет в год 80-летия города Чусового и 445-летия освоения Чусовских земель.

Жизнь на миру

1

...Я убеждён, что занятие литературой — дело сложное, не терпящее баловства, никакой самодеятельности, и нет писателю никаких поблажек. Сорвёшь голову — пеняй на себя. Захочешь поберечься и петь вполголоса, вполсилы — дольше проживёшь, но только уж сам для себя и жить, и петь будешь. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти.

Виктор Астафьев

...Но разве его нет? И разве когда-нибудь Чусовой посмеет позабыть это святое, прекрасное, мужественное, горькое имя? Он родился здесь как писатель, и город в этом смысле уже навсегда родитель его и таким пребудет, пока русский человек не разучится читать. Это имя будет теперь расти, выситься, уходить в бессмертие. А с ним и город...

В. Я. Курбатов

...Много я тут горя переживу, много бед и несчастий, но место это уральское, городишко этот, открытый бесхитростным рабочим ликом всем непогодам и невзгодам, всем грозам, градам и ливням, прирастёт к сердцу. Навечно...

В. П. Астафьев



Дом В. П. Астафьева в Чусовом, ул. Партизанская, 76.
Рис. В. Н. Чаплыгина

Виктор Петрович Астафьев

(01.05.1924–29.11.2001)

Русский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Почетный гражданин г. Красноярска (1994 г.), г.Игарки, г. Чусового (1997 г.) и Пермского края (1998 г.), член Союза писателей РСФСР с 1958 года.

Родился 1 мая 1924 года в п. Овсянка Красноярского края.

В июле 1931 года потерял мать, Лидия Ильинична утонула в Енисее. Семилетнего внука взяли на воспитание бабушка Екатерина Петровна и дедушка Илья Евграфович Потылицыны.

Летом 1935 года с отцом и мачехой переехал в Игарку, учился в игарской школе № 12.

Учитель литературы, сибирский поэт Игнатий Дмитриевич Рождественский замечает в Викторе склонность к литературе и развивает её. Сочинение под названием «Жив!», напечатанное в школьном журнале, станет позднее рассказом «Васюткино озеро».





В. П. Астафьев, Чусовой, 1946 г.



Семья Астафьевых (дети Ирина и Андрей), 1952 г.

Начало войны встретил в Курейке на Енисее, где после детдома работал при сельсовете писмоводителем, конюхом, водовозом. На заработанные за год деньги в августе 1941 года Виктор уехал из Игарки в Красноярск, где поступил в железнодорожную школу ФЗО № 1.

После окончания школы ФЗО в 1942 году проработал четыре месяца составителем поездов на станции Базаиха. Отсюда в октябре 1942 года ушёл добровольцем на фронт.

Участвовал в боях на Брянском, Воронежском, Степном фронтах. Был шофёром, артрзведчиком, связистом. В 1943 году форсировал Днепр, воевал южнее Киева на Букринских плацдармах, был ранен.

25 ноября 1943 года награждён медалью «За отвагу», в апреле 1944 года — орденом Красной Звезды.

В сентябре 1944 года в Польше под городом Дукла получил тяжёлое ранение, после которого почти восемь месяцев пролежал в госпиталях.

В мае 1945 года комиссован и направлен в нестроевую часть. Победу встретил в городе Ровно. Работал на почтово-сортировочном пункте 1-го Украинского фронта (неподалёку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчик Винницкой области). Там познакомился с Марией Семёновной Корякиной, старшим сержантом почтового отделения.

26 октября 1945 года Виктор Петрович и Мария Семёновна вступили в законный брак, демобилизовались и поехали в уральский город Чусовой, на родину жены.

Чусовской период

6 ноября 1945 года молодые супруги приехали в Чусовой.

По состоянию здоровья Астафьев не мог вернуться к своей специальности и, чтобы прокормить семью, работал слесарем, чернорабочим, грузчиком, плотником, мойщиком мясных туш, вахтёром мясокомбината.



*Школа рабочей молодёжи, в которой учился Астафьев
(бывшая школа №26, г. Чусовой)*



*Коллектив литейного цеха
вагонного депо, г. Чусовой, 1949 г.*

В марте 1947 года в молодой семье родилась дочка Лидочка. В начале сентября девочка умерла от тяжёлой диспепсии — время было голодное, у матери не хватало молока, а продовольственных карточек взять было неоткуда.

В мае 1948 года у Астафьевых родилась дочь Ирина.

В 1949 году В. П. Астафьев поступил в школу рабочей молодёжи.

В марте 1950 года в семье Астафьевых родился сын Андрей, в этом же году Астафьевы переехали в построенный своими руками дом на улице Партизанская, 76.

В декабре 1950 года Виктор Петрович попал на первое занятие литературного кружка, созданного при редакции газеты «Чусовской рабочий», руководителем которого был И. Т. Реутов. На этом занятии обсуждался рассказ И. Т. Реутова «Встреча». Возмущённый неправдоподобным описанием побед лётчика, В. П. Астафьев за одну ночь написал свой первый рассказ «Гражданский человек», взяв за основу реальные события военного времени. Рассказ был напечатан на страницах газеты «Чусовской рабочий» 25 февраля–13 марта 1951 года. Впоследствии он был переработан и опубликовался под названием «Сибиряк».

С 1951 по 1955 годы Астафьев работает литературным сотрудником газеты. За четыре года работы он написал более сотни статей, очерков, зарисовок, фельетонов, свыше двух десятков рассказов. В это же время он пишет рассказы, многие из которых затем были опубликованы в известных журналах: «Знамя», «Смена», «Наш современник», «Урал», «Молодая гвардия». В 1953 году в Молотовском книжном издательстве (г. Пермь) вышла первая книга писателя — сборник рассказов «До будущей весны», а в 1955 году вторая — «Огоньки» (рассказы для детей).

В 1954 году у В. П. Астафьева возник замысел повести «Пастух и пастушка». Вот как вспоминал об этом сам писатель: «Как-то ехал в командировку в Кизел и проспал свою остановку. Вышел сгоряча на разъезде,

чтоб возвратиться. Так я оказался на заброшенном полустанке. Выяснил: до поезда в обратном направлении чуть меньше суток. В общем — попал!.. С собой пачка сигарет и книжка аббата Прево «Манон Леско». Дел никаких. Сел читать. Книга меня потрясла. Прочитал и задумался. А возможна ли сегодня — эта ситуация приключилась со мной в первые, послевоенные годы, — возможна ли в наши дни подобная романтическая любовь? Способны ли мы сейчас на такие чувства или хоть на похожую путаницу чувств?! Возник замысел вещи». А осуществил свой замысел Астафьев почти через 15 лет — повесть была написана в 1967 году.

В 1955–1957 годах он пишет роман «Тают снега». Издаются ещё две книги для детей «Васюткино озеро» (1956 г.) и «Дядя Кузя, куры, лиса и кот» (1957 г.).

С апреля 1957 года Астафьев — спецкор Пермского областного радио.

В 1958 году увидел свет роман «Тают снега». В. П. Астафьева принимают в Союз писателей РСФСР. В этом же году издаётся сборник для детей «Тёплый дождь».

В 1959–1961 годах он учится на высших литературных курсах при Литературном институте им. М. Горького в Москве.

В 1959 году семья Астафьевых переезжает в дом на улице Нагорная, 60.

Конец 1950-х годов отмечен расцветом лирической прозы В. П. Астафьева. Повести «Перевал» (1959 г.), «Стародуб» (1960 г.), «Звездопад» (1961 г.), написанная на одном дыхании всего за несколько дней, приносят ему широкую известность.

В 1960 году в Пермском книжном издательстве вышли сборники «Зорькина песня» и «Стародуб».

В 1961 году в журнале «Молодая гвардия» (№2) опубликован рассказ «Поросли окопы травой», а в журнале «Наш современник» (№3) — рассказ «Еловая веточка». В этом же году в издательстве «Советская Россия» (г. Москва) вышел сборник «Солдат и мать».

В 1962 году семья Астафьевых переезжает в г. Пермь.

В 1960-е годы В. П. Астафьев жил и творил, в основном, в деревне Быковка Пермской области. «Никогда мне так не работалось, как здесь, — никогда. Я здесь один раз за день написал рассказ «Конь с розовой гривой»... Такое редко удавалось, всего пять-шесть раз за жизнь. А так — всё труд, труд, труд», — вспоминал писатель в свой приезд в Прикамье в 1997 году. Именно в Быковке были написаны такие произведения, как повести «Кража» (1961–1965 гг.), «Пастух и пастушка» (1967 г.), новеллы, составившие впоследствии повесть в рассказах «Последний поклон». В 1968 году повесть «Последний поклон» выходит в Перми отдельной книгой.

К 1965 году начал складываться цикл затесей — лирических миниатюр, раздумий о жизни, заметок для себя. Они печатаются в центральных и периферийных журналах. К жанру затесей писатель постоянно обращается в своём творчестве.

В 1969 году семья Астафьевых переезжает в Вологду.

В вологодский период созданы две пьесы: «Черёмуха» и «Прости меня». Спектакли, поставленные по этим пьесам, шли на сцене ряда российских театров.

В 1970-е годы выходят книги: «Кража» (1970 г.), «Затеси» (1972 г.), «Пастух и пастушка» (1973 г.), «Царь-рыба» (1978 г.). В эти же годы писатель вновь обращается к теме своего детства — рождаются новые главы к «Последнему поклону». Повесть о детстве — уже в двух книгах — выходит в 1978 году в издательстве «Современник».

В 1975 году за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» удостоен Государственной премии РСФСР им. М. Горького. В 1978 году за книгу «Царь-рыба» удостоен Государственной премии СССР.

В 1979–1981 годах в издательстве «Молодая гвардия» (г. Москва) вышло четырёхтомное собрание сочинений писателя.

В 1980 году Астафьев переехал жить на родину — в Красноярск. Начался новый, чрезвычайно плодотворный период его творчества. В Красноярске и в Овсянке — деревне его детства — им написаны роман «Печальный детектив» (1985 г.) и такие произведения, как «Медвежья кровь» (1984 г.), «Жизнь прожить» (1985 г.), «Вимба» (1985 г.), «Светопреставление» (1986 г.), «Слепой рыбак» (1986 г.), «Ловля пещарей в Грузии» (1986 г.), «Тельняшка с Тихого океана» (1986 г.), «Голубое поле под голубыми небесами» (1987 г.), «Улыбка волчицы» (1989 г.), «Мною рождённый» (1989 г.), «Людочка» (1989 г.), «Разговор со старым ружьём» (1997 г.).



Первая домашняя библиотека

В августе 1987 года скоропостижно умерла дочь Астафьевых Ирина. Её привезли из Вологды и похоронили на кладбище в Овсянке. Виктор Петрович и Мария Семёновна забрали к себе маленьких внуков Витю и Полю.

В августе 1989 года В. П. Астафьеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1989–1991 годах — народный депутат СССР. Был секретарём Союза писателей СССР, вице-президентом ассоциации писателей «Европейский форум».

В 1990-е годы изданы книги В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» (1995 г.), «Так хочется жить» (1995 г.), «Обертон» (1998 г.), «Весёлый солдат» (1998 г.).

В 1994 году «За выдающийся вклад в отечественную литературу» писателю была присуждена российская независимая премия «Триумф».

В 1997 году В. П. Астафьев стал лауреатом Международной Пушкинской премии, а в 1998 году он удостоен премии «За честь и достоинство таланта» Международного литфонда.

В конце 1998 года писателю присуждена премия имени Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности.

В 1999 году награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За заслуги в развитии советской литературы В. П. Астафьев трижды награждался орденом Трудового Красного Знамени (1971 г., 1974 г., 1984 г.), дважды — орденом Дружбы народов (1981 г., 1994 г.).



Памятник В. П. Астафьеву, г. Красноярск, 2006 г.

В. П. Астафьев — Почётный гражданин городов Игарка, Красноярск, Пермь, Чусовой, член Международной академии творчества, Почётный профессор Красноярского педагогического университета.

У В. П. Астафьева изданы собрания сочинений: в четырёх, шести и пятнадцати томах. Последнее, с подробными комментариями автора к каждому тому, вышло в 1997–1998 годах в Красноярске.

В 2001 году вышло последнее прижизненное издание — сборник «Пролётный гусь» (Издатель Г. Сапронов, г. Иркутск).

Умер В. П. Астафьев 29 ноября 2001 года в г. Красноярске, похоронен в селе Овсянка.

Книги Астафьева переведены на многие языки. 29 ноября 2002 г. в селе Овсянка был открыт мемориальный дом-музей Астафьева. Во дворе дома установлена скульптура супругов Астафьевых (автор В. А. Зеленов).

В 2004 году на автодороге «Красноярск-Абакан», недалеко от посёлка Слизнево на смотровой площадке, установлена блестящая кованая «Царь-рыба», памятник одноимённой повести Виктора Астафьева.

В 2006 году в Красноярске был установлен ещё один памятник Виктору Петровичу.

В 2009 году В. П. Астафьеву посмертно присуждена премия Александра Солженицына: «Виктору Петровичу Астафьеву — писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изученных судьбах природы и человека».

В. П. Астафьев — писатель с мировым именем. Но свой творческий путь Виктор Петрович начинал именно в Чусовом, где он прожил 17 лет.

Много лет тёплые дружеские отношения связывали работников чусовской библиотеки им. А. С. Пушкина, этнографического парка истории реки Чусовой с Виктором Петровичем и Марией Семёновной.



Царь-рыба. Памятник одноимённому произведению В. П. Астафьева. г. Красноярск, 2004 г.



Мемориальная доска на здании Чусовского ж/д вокзала, где работал будущий писатель (установлена в 2006 г., автор В. Н. Маслянка)



Памятный знак на месте школы рабочей молодёжи, в которой учился В. П. Астафьев (Исторический сквер, 2004 г., автор В. Н. Маслянка)

В фонде библиотеки, музея имеются книги с дарственными надписями В. П. Астафьева.

15 мая 1997 года Астафьеву было присвоено звание Почётного гражданина города Чусового.

В доме № 76 по улице Партизанской, который писатель построил своими руками и где прожил многие годы, теперь находится дом-музей Астафьева (открыт в сентябре 2002 г.). В помещении бывшего колбасного цеха (ул. Фрунзе, 38), там, где был написан первый рассказ, открыт Литературный музей В. П. Астафьева. В Чусовом традиционно проводятся Дни памяти В. П. Астафьева, экскурсии по астафьевским местам, собираются материалы о его жизни и творчестве, пополняются книжные фонды.

Ежегодно, начиная с 2004 года проходят Малые (детские) Астафьевские Чтения, в которых участвуют дети и подростки.

В рамках Малых (детских) Астафьевских Чтений в г. Чусовом открыты Памятные знаки:

- «Начало» (чистый лист бумаги и перо) на месте школы рабочей молодёжи, в которой учился В. П. Астафьев (2004 г., Исторический сквер, автор В. Н. Маслянка);

- мемориальная доска на железнодорожном вокзале ст. Чусовская, где работал в 1945–1946 гг. дежурным по вокзалу В. П. Астафьев (2005 г., автор В. Н. Маслянка);

- скульптурная композиция «Царь-рыба» в зале Литературного музея В. П. Астафьева (2012 г., автор — пермский скульптор Н. Н. Хромов).

Ежегодно с 2006 года издаются сборники «Астафьевскими местами». В сборниках — работы победителей конкурсов рефератов и исследовательских работ, эссе и сочинений, литературного творчества «Капля».

Подводя итоги*

Я начинал писать в очень сложное для нашей литературы, да и всей культуры, да и для всего общества, время. Начинал как типичный областной писатель. Обычно эти слова берут в кавычки, я этого не делаю совершенно сознательно. Мой путь в литературу не был тяжким, но и лёгким его назвать нельзя. Так называемое «становление писателя» происходило одновременно со становлением человека и гражданина.

Надо было преодолевать в себе неуча, надо было не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретённую на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека, потом уж откликаться на творческий позыв, существовавший с детства.

Первый же свой рассказ я написал в 1951 году, в уральском городе Чусовом, куда приехал на жительство в 1945 году, после демобилизации из армии. Жена моя родом чусовлянка и тоже была на войне. Познакомились мы с ней в нестроевой части, куда я был направлен после госпиталя. Несколько лет я был рабочим на разных предприятиях, даже в горячий цех вагонного депо залез — чтобы побольше зарабатывать, так как жилось нам очень трудно и скудно. Делать тяжёлую работу, да ещё в горячем цехе, мне было противопоказано, но кто же с этим тогда считался?! К тому же я одновременно учился в школе рабочей молодёжи, переутомился, изнурился и заболел. Меня тут же выбросили из горячего цеха, сердобольные врачи рекомендовали идти на лёгкую работу. Но город-то, Чусовой-то, состоит из тяжёлой индустрии, здесь металл плавят, и никакой лёгкой работы мне никто не припас. Чтобы не уморить себя и семейство с голоду, я подрабатывал на разгрузке вагонов и, разгружая всё подряд, в том числе и мясные туши, угодил работать на местный колбасный заводик разнорабочим, мыл и подавал мясо на столы обвальщиц. Обвальщики мяса — это те люди, которые отделяют мясо от костей и сухожилий. Кто-то ушёл в отпуск или заболел, или заворовался и угодил в тюрьму, — меня из цеха перевели в вахтёры. Наконец-то я угодил на лёгкую работу. Несмотря на все жестокие будни и превратности жизни — бесквартирье, бесхлебье, нищенское существование, я никогда не переставал читать и, узнавши, что при местной газете «Чусовской рабочий» начинает действовать литературный кружок, пошёл на первое же занятие.

* Астафьев В. П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 1. Рассказы. «Тают снега»: роман: [вступ. ст.]. — Красноярск: Офсет, 1997. — С. 5-64.

На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался «Встреча». В нём встречали лётчика после победы, и так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял. Но человек так привык ко лжи, что жить без неё не мог. Вот и сочинительствова.



Здание, на первом этаже которого располагалась редакция газеты «Чусовской рабочий»

Страшно я разозлился, зазвенело в моей контуженной голове, и сперва я решил больше на это сборище под названием «Литературный кружок» не ходить, потому как уже устал от повседневной лжи, обмана и вероломства. Но ночью, поуспокоившись в маленькой, тёплой вахтёрской комнате, я подумал, что есть один единственный способ борьбы с кривдой — это правда, да вот бороться было нечем. Ручка, чернила есть для борьбы, а бумаги нету. Тогда я решился почти на подсудную крайность: открыл довольно затрёпанный и засаленный журнал дежурств, едва заполненный наполовину, и поставил на чистой странице любимое мною до сих пор слово: «Рассказ».

Я написал его за ночь и, вырвав плотные страницы из корочек, на следующем занятии кружка, то есть через неделю, прочёл рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно, и его решили печатать в газете «Чусовской рабочий» как можно скорее. Поразобрав каракули, нанесённые на бумаге полуграмотным, да к тому же и контуженным человеком, маленько его подредактировав, — «Чего там редактировать? Там же сплошная правда!».

Да, а рассказ-то с продолжением печатают в «Чусовском рабочем»! Фамилия моя сверху, ниже — название, мною собственноручно написанное, — «Гражданский человек». Я гоголем по обвальному цеху хожу, хотя с резинового фартука сукровица течёт, порезанные костями руки кровоточат, солью и селитрой их разъедает так, что от боли штаны у меня мокрые, но я пою на весь завод: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!». И бабы-трудяги мне дружно подтягивают.

Бабы — обвальщицы, шпиговщицы, кишечницы и коптильщицы — все, все знают, что я получу много денег, куплю себе новую шапку, костюм, может, и на штиблеты найдётся, что выйду я в богатые и с ними, с бабами, ревматизмом от постоянного мокра искорёженными, от мясного изобилия впадающими в лютость, тут же переходящую в сентиментальность и плаксивость, здороваться перестану и узнавать их не захочу.

Вдруг обвал, трагедия, полный срыв коммерческих и творческих планов — рассказ мой на середине печатанья остановили по причине его полного безнравственного содержания.



Сотрудники газеты «Чусовской рабочий» — братья по перу, 1954 г. В. Астафьев в центре

Надо было преодолевать в себе неуча, надо было не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретённую на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека, потом уж откликаться на творческий позыв, существовавший с детства.

А, батюшки мои! Что же это за зверь такой — безнравственность-то!

Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества?!

Рассказ «Гражданский человек», которым я решил напрочь смести всякую ложь с советской земли, совершенно бесхитростен, открыт, прямолинеен и даже патриотичен, в чём легко убедиться, найдя его в первом же томе под названием «Сибиряк». Он и сейчас-то, после капитальной переработки и доработки опытной рукой, — не ахти что, а тогда был и вовсе наивненький, блёкленький, но в нём было и притягательное свойство — я всё списывал с «натуры», в том числе и главного героя — моего сотоварища по фронту. Всё-всё: имя, фамилия, название фронтовых

и тыловых деревень, количество детей и т. д. — всё было точно, доподлинно, всё должно было противостоять вселенской неправде. Лишь в одном месте дал я маху — перепутал название деревни главного героя, поименовав её Каменушкой. Тогда как она оказалась Шумихой, и детей перепутал — было у моего героя их трое, я написал — двое парней и девочка, а оказалось наоборот.

Но этот мах был вовсе не роковым махом, мах я допустил в том месте, где решил пошутить вместе с героем насчёт нашего сословия, да и выломал нечаянно дверь с надписью: «Советская мораль — самая лучшая в мире мораль». Словом, из рассказа сокопники узнают про главного героя, что был он лучшим трактористом в колхозе, такой невозворотливый, скромный, незаметный — и лучший! Как же это может быть?

Как видите, всё в лучших традициях соцреализма шло до одного рокового места. Очень это интересное явление — «лучшая в мире мораль». Многие совлитераторы, ещё не умея

писать, уже владели лукавыми приёмами соцреализма и могли, как утята, — только-только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек, владел ими уже и я, а тут возьми мой герой и брякни: «Мало сейчас нашего брата, стало быть, мужиков, в деревне осталось, вот и стали мы все для баб хороши».

«Ка-ак?! — возмутились поборники нравственной чистоты в Чусовском горкоме, — наших, советских женщин называть бабами? Делаются, к тому же, грязные намёки на их неразборчивую похотливость, тогда как они у нас...».

Ну, а дальше вы всё знаете, как это бывало и бывает ещё, какие слова говорятся и оргвыводы делаются. Редактор газеты, Григорий Иванович Пепеляев, отнёс всё это громоверженье в область юмора, да и народ наш, опять же народ, передовой, советский, самый замороженный, но сознательный, давай звонить, писать в редакцию и даже приходить и спрашивать — отчего рассказ молодого автора не печатается, в «верха» жаловаться народ грозился. Может, насчёт «верхов» и народа Григорий Иванович и приврал, стараясь приободрить молодую творческую поросль, — в ту пору гибкость редактору и чутьё требовались отчаянные, чтобы уцелеть на должности и газету вести на приличном уровне. И печатанье художественного произведения в местной прессе тогда было редкостью. Редактор, сделав вид, что общественность-таки его додавила, рассказ печатать закончил. Пока этот сыр-бор шёл да разгорался, одна малосильная работница газеты ушла в декретный отпуск, оттуда угодила на «комсомольскую линию», меня пригласили на её место, тут я узнал, что весь двухполосный номер газеты имеет гонорар аж семьдесят рублей, по новому курсу — семь, и мне не только на костюм и на шапку, даже на портянки вознаграждения за рассказ не хватит.

Но не бывает дыма без огня, как и огня без дыма, — слух о скандальном рассказе докатился аж до областного города Молотова (ныне это снова Пермь), достиг отделения Союза писателей и оттуда поступила просьба: выслать газеты с рассказом и как можно скорее. Не успел я обидеться в «Чусовском рабочем», проморгаться как следует, бац! — мой рассказ появляется в областной газете «Звезда», правда, в сокращённом виде. Я ещё и дух не перевёл, эйфорию не перечувствовал, как рассказ уже полностью звучит по областному радио, играют-читают в нём артисты, да ещё и под музыку, под симфоническую. И когда пришло письмо — извещение о том, что рассказ будет напечатан в альманахе «Прикамье», — во мне уже никаких сил не осталось, один лишь восторг чувств бушевал во мне и с этим восторгом я накатал несколько рассказов подряд. Но мой творческий порыв был охлаждён в той же редакции газеты «Чусовской рабочей», на занятиях того же боевого литкружка, — исчезли из моей творческой продукции вульгарные и грубые слова, вроде «баб», все персонажи у меня говорили изысканно, поступали правильно, главное — идейно и выдержанно.

А так как я ещё от фронта не отошёл и имел грамотёшку в шесть групп, в Игарке ещё с трудом законченных, то сами понимаете, как эта самая «изысканность» выглядела в моём исполнении. Что-то меня образумило, задержало в «творческом развитии», скорей всего беспросветная нужда и газетная подёнщина, и где-то и как-то я и сам усёк: мне сейчас надо больше не писать и печататься, а «поработать над собой», потом уж и сочинять продолжать.

Вот на этом пока мой юмор и кончается. Начинается серьёзный рассказ о серьёзных вещах, о становлении литератора в провинции, в беспросветной от тупости российской жизни, тогда ещё и в надсаженной военным временем России, вовсе оглохшей от голода, горя, незаживших ещё ран, но начинающей трудно пробуждаться, переходить на мирные рельсы, привыкать к нормальному человеческому существованию.

Надо начинать жить по законам и правилам мирового сообщества, а не Союза писателей на улице Воровского, творить самостоятельно и кормиться в одиночку, как это было всегда и есть во всём мире, от этого никуда не уйдёшь, ибо коллективный-то разум «кипеть возмущённо» готов, но сотворить ничего путного, кроме стадного сборища дармоедов и краснобаев, не способен. Надо начинать жить самостоятельно, творить по законам Божиим и полагаться только на себя. Ну, если б при этом было придумано какое-то сообщество писателей, объединяющее их, помогающее облегчить их быт и существование, — кто бы против этого возражал? Но для этого и об этом надо было думать, а не устраивать свалку в сенях творческих Союзов, сыгравших в своё время несомненно полезную роль в собирании, учёно говоря, консолидации творческих сил и объединении их в действующую, товарищескую артель, называемую областным отделением Союза писателей СССР.

С этой стороны интересна история создания Молотовской писательской организации, в которой я рос, мужал и которая сделала много не только для моего творческого рождения и роста.

В далёкой игарской школе был преподаватель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский, которому выпало сыграть заметную роль в моём раннем творческом детстве. Игарка, отрезанная в те поры от мира, была тем не менее охвачена творческим зудом. Из-за длинной зимы, из-за морозов, загонявших ребятишек под крышу, все вынуждены были чем-нибудь заниматься. Это сейчас детки не знают куда себя девать и что делать, смотрят телевизор, видики, прыгают на дискотеках до преклонного возраста. А тогда с одной стороны, учили нас классово-непримиримости, жертвенности во имя передовых идей, с другой стороны — выжившие ссыльно-поселенцы из кожи лезли, чтобы обучить детей грамоте, ремеслу, профессии, всё делали для того, чтобы дети не повторили их судьбу, — «Уж коли наша жизнь загублена, так хоть вы живите...».

Родом москвич, из интеллигентного педагогического сословия, истинный патриот и глашатай своего времени, после окончания иркутского педтехникума Рождественский работал сперва в туруханской, затем в игарской школах. На этом славном пути он повстречал такую же прирождённую преподавательницу и воспитательницу младшего поколения Евгению Моисеевну, и в Заполярье, нуждающемся в здоровых, знающих своё дело кадрах, молодые супруги Рождественские пришли к месту и к стати.

Я отбывал уже третий год в пятом классе, мне уже твёрдо прочили дорогу в исправительно-трудовую колонию, я уже и привык к мысли, что сего идейного, массово-воспитательного заведения мне не миновать. А сидел я третий год в пятом классе из-за математики, которая мне не давалась просто так, без труда, а ж привык к «просто так», как налётчик, — на хапок, брать знания, — и по литературе, истории, географии, ботанике, поскольку она про цветочки, да по русскому языку получал отличные оценки, по всем остальным предметам — очень плохие, словом, шёл по науке безо всякой середины. Мне каждый год назначали переэкзаменовку по математике на осень, и каждый год я не изволил на неё являться. Переэкзаменовки для вольно живущего — неволя,

...и в бесконечной ночи, под сполохи волшебных позарей я собирал в кучу прочитанное из книг, увиденное в кино и в театре, всё это воссоединял вместе со своими выдумками, — угревшиеся ребяташки мирно засыпали под мои всегда благополучно и красиво заканчивающиеся истории.

они для тупиц, я же начинал сочинять стишки и сказки для детдомовских ребяташек, потому как к этой поре обрелся в игарском детдоме-интернате, и когда в Заполярье морозы запечатывали всякую жизнь, по избам, баракам и другим помещениям, ребяташки собирали постели, одежонку, сдвигали

койки в комнате девчонок, поскольку она была самая большая, — и в бесконечной ночи, под сполохи волшебных позарей я собирал в кучу прочитанное из книг, увиденное в кино и в театре, всё это воссоединял вместе со своими выдумками, — угревшиеся ребяташки мирно засыпали под мои всегда благополучно и красиво заканчивающиеся истории.

Игнатий Дмитриевич и директор интерната Василий Иванович Соколов оказали на мою раннюю жизнь и формирование характера решающее влияние. Василий Иванович присутствует в качестве персонажа под именем Валериана Ивановича Репнина в повести «Кража», и поэтому на его особе я долго задерживаться не буду, скажу лишь, что он упорно искал во мне ещё не вытоптанную зелёную полянку и нашёл её — увлечение книгами, много разговаривал со мной о прочитанном. Дворянин из потомственной древней семьи, высокообразованный человек из колчаков-

ской армии, он, чуть играя в поддавки, давал мне «фору», прикидываясь, что удивлён моим «всезнанием» и памятью, но постепенно развеивал туман в моей удалой башке и мою самоуверенность. Подлинная простота, доступность, истинная интеллигентность да ещё душевная доброта вперемежку с вечной уже грустью и памятью от только что пережитого крушения России в моём восприятии уравнивали порывистый, неистовый энтузиазм начинающего поэта, певца пятилеток и сияния небывалой новой жизни Игнатия Рождественского, который вёл уроки так увлекательно в нарушение всех правил и методик, что мы частенько «работали» без перемен, случалось, и звонка на перемену не слышали. Более всего он поощрял то, что советская школа со дня своего существования изгоняла из своих зданий и рядов — самостоятельность мышления, чтобы собственный опыт, какой он

...я пролетал на вертолёте над теми местами, где блуждал, и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вёл себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, — самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да ещё будучи мальчишкой, — невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни.

ни есть, собственные знания давали ответ, чтоб учащийся думал, а не занимался пересказом. Советская школа добилась-таки своего: заела, засушила школу и уроки правильностью, зашоренностью, полным отсутствием собственной мысли. И вот результат: дети не хотят учиться, сопротивляются как могут педагогической мудрости, спу-

щенной сверху, из министерств, из областных и краевых методических кабинетов. Теперь в школах рады бы хоть как-то заинтересовать школьников, но сами-то учителя уже поражены рутинной нашей педагогической науки, как современные врачи без анализов и обследований и иначе, как по методикам, всевозможным указаниям, не могут работать — не полагается. Из школы исчез дух творчества — это самая главная и трудно поправимая потеря.

Начался новый учебный год, в который я продолжил сидение в пятом классе. Игнатий Дмитриевич влетел в класс загорелый, хорошо «на магистралах» отдохнувший, сотворивший за лето ещё одного, уже третьего, ребёнка, а всего он сослепу натворил их своей многотерпеливой жене пять штук, в новой рубашке с галстуком, с кучерявым смоляным чубом, култыхающимся на ходу, швырнул журнал на стол, сказал дежурному по классу, чтоб отметил потом кого нет на занятиях, и велел всем достать тетради и написать сочинение на тему: «Кто как провёл лето?».

И запыхтел пятый «Б», выжимая из себя творческую мысль. А сам учитель уткнулся в бумагу носом, что-то писал, черкал, бормотал, вскакивал со стула и, тыча рукой в такт шагам, ходил по классу. «Тоже сочиняет», — догадались мы, благоговейно притихнув.

Игнатий Дмитриевич обладал феноменальной памятью, как и мой, ныне покойный, друг, критик Александр Николаевич Макаров, — знал, кажется, всю поэзию наизусть. И вот особенность какая забавная: все стихи Игнатий Дмитриевич читал по памяти, но свои — по бумаге! Он издал в Москве и в Сибири множество сборников стихов и очерков, Александр же Николаевич

в зрелом возрасте писал только критические статьи, о своих поэтических и прозаических увлечениях вспоминал безо всякой охоты, всегда с насмешливой иронией.

Однако ж ненадолго вернёмся в пятый «Б».

Летом я заблудился в заполярной тайге между станками Карасино и Полоем. Весной (1992 года) я пролетал на вертолётке над теми местами, где блуждал, и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вёл себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, — самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да ещё будучи мальчишкой, — невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни.

Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и своё сочинение так бесхитростно, прямолинейно и назвал: «Жив».

Никогда я ещё не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз.

И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитриевич раздаёт тетради с сочинениями, кого бранит, кого похваливает. Тетрадей на столе всё меньше, меньше, вот голубеет и последняя, — «Моя!» — ёкнуло и замерло сердце в моей, уже много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул её и начал читать моё сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго, подслеповато всматривался в него и сказал: «Молодец!» — первая, пока и единственная похвала, полученная в школе, которую, впрочем, учитель скоро охладил, попеняв мне, что я, как последний лоботряс, болтаюсь в одном классе третий год. Он и Василий Иванович, всё время напиравший на меня насчёт моих «природных способностей», — довершили дело. Я перебрался в шестой класс и окончил его за одну зиму. Но далее учиться мне не довелось, мой детдомовский возраст кончился, я должен был начинать самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе.

Я поступил на кирпичный завод коновозчиком и подвозил с лесозавода отходы к топкам, чтобы заработать денег на пароходный билет, выехать на магистраль и попробовать там поступить в какое-либо училище, что в конце концов и осуществил, с трудом устроившись в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО № 1, которая спешно создавалась на станции Енисей.

И вот, не иначе как «по воле рока», в город Чусовой мне пришла телеграмма за подписью секретаря Молотовского отделения Союза писателей К. Рождественской! «Уж не родня ли моему школьному учителю?!» — подумал я. Нет, не родня, однофамилица оказалась моя новая благодетельница и наставница. Человек тоже одержимый, литературе безмерно преданный, в пределах своего времени довольно хорошо образованный, Клавдия Васильевна была ростика невеликого, курила табак, говорила бархатным басом, почти не пила хмельного, поднимала дочь и нас, молодую писательскую поросль, что стоило ей утраты здоровья и преждевременной могилы.



*Дом-музей В. П. Астафьева (г. Чусовой, ул. Партизанская, 76), открыт в 2002 г.
Фото В. Н. Маслянки*

Совсем ещё недавно Пермская писательская организация была довольно многочисленной, солидной за счёт эвакуированных из центров писателей. Иные из них при начале войны находились на югах, в санаториях и домах творчества, и вот, бросив на произвол судьбы любимые столицы, иные — и семьи в них, сложными, кружными путями творческие люди достигли Урала и сосредоточились здесь для беспощадной борьбы с врагом, писали всё, что им закажут за хлебные карточки и кой-какое денежное содержание.

Предложение занять пост ответственного секретаря Молотовской писательской организации последовало в самый раз. Рождественская собрала свой небогатый скарб, упаковала довольно обширную библиотеку, взяла дочь на руки и за одну ночь преодолела по железной дороге расстояние между двумя, вечно к чему-нибудь ревнующими друг друга провинциальными гигантами, и с ходу включилась в работу, как скоро выяснилось, довольно трудоёмкую, но благодарную и благодатную тем, что партийные власти какое-то время не мешали новому секретарю работать, не назидали её, лишь подгоняли с творческими результатами, чтобы «утереть нос этим задавалам, что за Уральским хребтом».

Рождественская начала истово поднимать творческую целину, возвращать молодую талантливую поросль. И довольно преуспела в этом благо-

родном деле, возобновила выпуск альманаха «Прикамье», началось издание детского сборника «Нашим ребятам», очнулось от медвежьей спячки Молотовское книжное издательство и, взявши книжным знаком старый, дореволюционный герб Перми, на котором медведь и есть главное действующее лицо, начало оно обсуждать, совместно с Союзом писателей дорабатывать, толкать и проталкивать книги начинающих авторов. Косяки поэтов и романистов объявились в Прикамье, ходили грудь нараспашку, проводили творческие семинары, учили и учились писать. В особенности приветствовался и поощрялся в ту пору по всей воспрянувшей от войны Руси великой и её национальным окраинам писатель из народа, от станка и сохи, который попашет, попишет да и выпьет с устатку крепко — для вдохновения и творческого порыва.

Я, ещё не почувствовавший себя журналистом, потому как проработал в газете без году неделя, охотно принял на себя облик и поведение даровитого и даже самобытного таланта «из народа», даже и погордиться успел, что вот академиев не кончал, но творю, понимаешь ли, делаю русскую литературу наравне со всеми, может, даже и лучше всех.

В первый мой приезд в столицу Прикамья посидели мы и изрядно потрудились с Клавдией Васильевной над моим первым рассказом и, поскольку терпеть она не могла альковных историй и смертей в художественных произведениях, а у меня герой погибал в конце рассказа (он и на самом деле погиб на войне), то мы с опытным редактором так ловко отредактировали произведение, что герой мой остался как бы между жизнью и смертью, от альковных же сцен меня Бог миловал, и рассказ отправился в альманахе «Прикамье» в автономное, так сказать, плаванье.

В Молотов с собой я привёз ещё несколько новых рассказов и, посмотрев их, Рождественская отобрала два или три — для следующего номера альманаха, меня же свела в издательство, познакомила с директором, с главным редактором и сказала, что, если я поработаю, то на следующий год у меня наберётся рассказов уже на небольшой сборник и надо его издавать, потому как автор весьма перспективный.

Везучий я человек! Везучий! После первой же поездки в областной центр, после первой же встречи с секретарём отделения и издателями я вёз с собой первый издательский договор на книгу и даже немножко деньжонок, полученных в качестве гонорара за рассказ, печатаемый в альманахе.

Нужно ли говорить, как горячо, можно сказать, неистово взялся я за работу и как трудно двигалось у меня дело. Братся писать сборники рассказов не должен и опытный автор — сборник, он на то и сборник, чтоб накапливать его годами, иногда и десятилетиями, но откуда мне было это



Знак «Царь-рыба».
Скульптор Н. Н. Хромов

знать?! Я штурмовал первую книжку и отбывал тяжёлую подёнщину в газете, да ещё и избушку строил в эту же пору, потому что жить сделалось совсем негде.

Спал я тогда не более четырёх-пяти часов в сутки и не мог себе позволить отоспаться даже в выходной день, потому как, кроме писания, строительства, занимался ещё и охотой и, чтобы совсем не уморить семью голодом, стрелял рябчиков в окрестных лесах — большой зверь и более умная проворная птица мне не давались, так как после фронта я вынужден был стрелять с левого плеча и вообще с детства был приучен «беречь припас» и стрелять за три метра с подбегом.

Как бы там ни было, с обсуждениями, проволочками, с помощью более опытных писателей сборничек мой в четыре листа объёмом, в убогом оформлении, под названием «До будущей весны» вышел в 1953 году, и самое любопытное было то, что ехать редактировать его меня угораздило в день смерти Сталина.

Выход первой книги для меня, загнанного жизнью и нуждой в самый что ни на есть тёмный угол, был не просто праздником, это было важнейшее творческое событие в моей жизни и в жизни семьи тоже.

*Праздник по поводу выхода первой книги
«До будущей весны», г. Чусовой, 1953 г.*



Как и следовало того ожидать, дальше писательские мои дела пошли неважнецки. Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные, причём не лучшим, а худшим образцам, потому как по худшим-то образцам писать легче, да ещё и права при этом качать: «У меня не хуже...».

Я полагаю, что главный движитель творчества, тайна его и путеводная звезда — это подсознание человека, и не иначе как это подсознание натолкнуло меня на мысль: попробовать писать рассказы для детей. И тут у меня дело пошло ходче и интересней, хотя рассказы, в большинстве своём, опять же не выбивались за городьбу областной, полутрафаретной литературы. Но в детских рассказах было много таёжной сибирской экзотики, и это их облагораживало, делало привлекательными для маленького читателя. Среди тех рассказов и написалось «Васюткино озеро», которое переиздаётся до сего времени, переводится на другие языки, его включают в школьные учебники, читают по радио.

Я поставил его заглавным, и очень скоро в областном издательстве был напечатан сборник «Огоньки». «Васюткино озеро» ещё и отдельной книжкой было издано, что меня поддержало материально и морально настолько, что я осмелился послать сборник в Москву, в «Детгиз», где он встретил благожелательное отношение и после серьёзной редакторской работы вышел большим тиражом под названием «Тёплый дождь».

Тогда же редакторы «Детгиза», я и друзья мои начали штурмовать журнал «Пионер». Образовалась обширная, теоретически довольно богатая переписка. Но штурм сего журнала так и не увенчался успехом, зато потом я попал с рассказами в «Мурзилку», чем и горжусь до сих пор.

Надо заметить, что покорение столицы и её издательств не было у меня стремительным и успешным, как это кажется некоторым моим «знатокам» и доброжелателям. Начавши печататься в журнале «Смена» с полурассказами, блёклыми очерками, я не снискал себе славы в молодёжной прессе. В толстый журнал «Знамя» попал с рассказом благодаря помощи Юрия Нагибина через десять лет после начала «творческой деятельности»; в «Новый мир» — через семнадцать лет; в «Роман-газету» — лет через двадцать, да и то благодаря тому, что хитромудрое массовое издание это износилось, огрузнело в мутные воды «секретарской литературы» до такой степени, что «Роман-газету» перестали выписывать. И вот мудрое вышло решение: разбавлять «классику» нашим братом, «подающим надежды», хотя многие из нас уже успели поседеть от тех «надежд».

Более всего в своё время мне хотелось напечататься в журнале «Огонёк», служившем тогда эталоном современной новеллистики. Но и здесь мне удачи не было — я получал в город Чусовой коротенькие отлупы на «огоньковских» бланках, иногда пространные нравоучительные наставления. Однажды пришло письмо не только мне домой, но и в Молотовскую писательскую организацию с советом: хорошо бы попристальней поинтересоваться автором рассказа «Солдат и мать» — очень всё там подозрительно и «наш ли это человек сотворил?..».

Я же чувствовал, что это пока единственный рассказ «из взрослых», который похож на стоящее литературное произведение, и послал его на имя Сергея Петровича Антонова в «Новый мир», рассказчику в ту пору ведущему, да к тому же члену редколлегии журнала. Как оказалось, рассказ Антонову пришёлся по душе, он начал готовить его для журнала, но в это время произошла смена главных редакторов, а значит, и членов редколлегий. Сергей Петрович вернул мне рассказ с грустным письмом и советом — не оставлять это дело просто так, адресоваться с рассказом в какой-нибудь солидный журнал. И я послал рассказ на имя другого, не менее авторитетного рассказчика, и не зря говорится, что чудак чудака видит издали, контуженный контуженного к тому же и чует — таким вот, значит, путём я и оказался в «Знамени», благодаря помощи Юрия Нагибина.

Между тем, шла и даже бурлила творческая жизнь в Прикамье, всё новые и новые имена восходили на ясный литературный небосклон. Романисты, опережая один другого, печатали толстые тома и, почувствовав себя уже заряжённым на дерзкие труды, подготовленным к одолению крутых творческих высот, подумал я однажды, в совсем неподходящую минуту, когда луна, должно быть, находилась на ущербе: «А не написать ли мне роман? Люди ж вон пишут, кирпичами прилавки заваливают, а я что, хуже их что ли?..».

Мне и замыслом мучиться не надо было — только что вышло первое, самое историческое постановление ЦК и Совета Министров о налаживании дел в нашем сельском хозяйстве.

От сельского хозяйства я был далёк, деревню оставил ещё в детстве, в газете «вёл» лес и транспорт, но картошку в поле сажал, в деревнях бывал. Романисты уральские вон, не выдавши рабочего человека в глаза, пишут себе про ударный труд советских трудящихся, про борьбу за сталь и чугун. У одного чусовского романиста эксплуататоры-французы, сшибая шапку с непокорной русской головы, кричат даже: «Руссиш швайне!».

Ещё до работы над романом я положил себе за правило: еженедельно, а если время позволит, и чаще посещать городскую библиотеку им. Пушкина и там в читальном зале просматривать все новые журналы: и тонкие, и толстые, что-то прочитывать здесь же, экземпляры с наиболее пространными статьями и прозой брать домой.

Словом, литературная безалаберность, безграмотность и дерзкая безответственность подвигли меня к созданию более полновесного, нежели рассказ, широкого полотна, тем более, что за толстые книги у нас всегда получали толстые деньги и, чего там греха таить, надеялся и я тоже с помощью актуально-злободневного романа поправить свои материальные дела.

Хватил я горя с этим романом, сполна поплатился за свою самонадеянность! Но многому меня роман и научил. Прежде всего тому, что, коли какое дело не умеешь делать, так и не берись, употребляй дерзость и нахрапистость в другом месте, на другом поле, на футбольном, к примеру. А литература — это нечто другое, чем игра в мяч, хотя и в футболе иногда употребляются слова «творческая выдумка».

Не я один тогда «творил», не зная не только законов сложения слова, но и вовсе грамоты не имея, не только литературной грамоты, вообще ни-



▲ За шахматами. Свободная минута в редакции газеты «Чусовской рабочий» с участием В. П. Астафьева
◀ Сотрудники газеты «Чусовской рабочий», 1950-е гг. (фото из фонда Литературного музея В. П. Астафьева)

какой. Сколько жизненных драм, сколько трагедий за этим упрощённым пониманием вседоступности литературного ремесла крылось и кроется. Ведь и поныне у нас каждый второй пенсионер пишет стихи иль опровержения в газеты, извещает письменно меня иль редакции, что вот, наконец-то, он вышел на пенсию и может спокойно заняться литературным трудом...

О, Боже, Боже! До чего порой убог и бесхитростен бывает русский разум! Дует человек газетные заметки нескладными стихами и не понимает, что он захламляет не только родное слово, всякую разумную человеческую мысль, но оскорбляет и память великих стихотворцев своего великого Отечества: Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Твардовского. Что ему до них! Он сам, сейчас вот, от благодушия, дремучего невежества и наличия свободного времени «упился словом», и несёт его графоманская волна вдохновения восторгу навстречу.

Ещё до работы над романом я положил себе за правило: еженедельно, а если время позволит, и чаще посещать городскую библиотеку им. Пушкина и там в читальном зале просматривать все новые журналы: и тонкие, и толстые, что-то прочитывать здесь же, экземпляры с наиболее пространными статьями и прозой брать домой.

В «Огоньке» я читал все новые рассказы, и в «Новом мире», и в «Знамени», и тогда же установление себе сделал: начинать читать журнал «с заду», т. е. с публицистических и критических публикаций, был в курсе текущей литературы и не очень-то многообразной критической мысли. Тогда-то, наверное, от переедания современной критической продукции мне захотелось прочесть кого-нибудь из прежних мыслителей, и я отчего-то выбрал себе для знакомства Дмитрия Писарева.

Надолго стал Писарев моим критическим кумиром, властителем моих дум, даже его скандальная статья о Пушкине привела меня в восторг —

вот, оказывается, как можно читать и воспринимать даже самое неоспоримое, даже гениев воспринимать на свой лад, не раболепствуя перед ними, раболепия-то и сам Пушкин не терпел. С одной стороны, умнейший, преддерзкий мыслитель, сокрушитель всяческих авторитетов, в том числе и европейских, с другой, что ни журнал, что ни статья о совлitterатуре — сплошное пресмыкание, сплошные аллилуйя или хула, в зависимости от того, о ком пишет автор, а не о чём он пишет. Надо самому во всём этом разобраться, самому учиться всё обмысливать.

Пятидесятые годы. О-о-о-о, боюсь, что не все, очень даже немногие представляют себе, на каком уровне общественного развития мы находились и в какую литературу вступали молодые сочинители. Мягко и деликатно называемая лакировка действительности царил повседневно и повсеместно. И не вся беда была в том, что цензура, хитромудро называемая то литом, то комитетом по охране государственных тайн, давила со всех сторон, поглядывала за каждым печатным словом, за каждой пустяковой бумажкой, дело дошло до того, что «литовались» даже пригласительные билеты, газетёнки того времени уж такие ли правильные, такие ли верноподданические, лояльные, читались вдоль и поперёк, без подписи цензора не могли быть запущены в печатный станок. Самое страшное, что цензор, плотно заселившийся советские ведомства, культуру, вузы, школы, армию и даже тюрьмы, проникал в кровь человеческую, заселялся в плоть и в сердце существа, находящегося ещё в эмбриональном состоянии. Литератор, журналист, режиссёр, художник, ещё не начав творить, уже твёрдо знал, как надо творить, и таких ли матёрых, изворотливых приспособленцев плодила наша дорогая действительность во всех сферах жизнедеятельности, но прежде всего в области литературы и искусства, что уже и талант был вещью необязательной, порой даже и обременительной, вредной. Уже бытовали приговоры типа: «Слишком много знает и понимает», «Ишь, самородок сыскался!», слова: правда, любовь, родина, патриотизм и т. д. были искажены и препарированы в кабинетах социалистических идеологов, что лягушки в подвале, называемом лабораторией, выпотрошенные до такой степени, что от них оставалась лишь серенькая сморщенная кожа. Как свирепствовали в то время партийные идеологи и верноподданные приспособленцы «из народа», на людных сборищах громя статью В. Померанцева в «Новом мире» — «Об искренности в литературе». С радостью и захлёмом уверяла себя не только провинциальная, но и столичная общественность, что никакая искренность нам не нужна, она вредна нашей передовой морали и нравственности, и вообще слова: искренность, правда, порядочность, совесть, честность — имеют совсем иной смысл и значение у нас, нежели в дореволюционном прошлом или в буржуазном, всё более разлагающемся и в судорогах идейных противоречий кончающемся мире.

В такой обстановке, при таком идейном климате клепалась моя первая толстая книга, дерзко названная романом. Писалась она мучительно, со скрипом, выходила с проволочками, мне в ту пору непонятной мышинной

возней, пятнадцатитысячным тиражом вместо обещанных тридцати, зато с вербочкой на обложке, которую я сам и придумал, а художник по моей горячей просьбе нарисовал. Начались обсуждения книги в писательских и читательских кругах, появились благожелательные рецензии не только на периферии, одна или две и в столице...

Через несколько лет мне было предложено Пермским издательством повторить издание романа «Тают снега». Я почистил текст, что-то в нём поправил, но понял, что чёрного кобеля не отмыть добела, и, когда мне предложили издать книгу в третий раз, уже в Москве, — категорически отказался, понимая, что мне уже проще написать новую книгу, нежели «довести до ума» это прежде времени рождённое дитя. С годами мне даже удалось подзабыть о прозаическом грехе творческой молодости, я вежливо обошёл упоминание романа в библиографии своей, в разных анкетах и бумагах, но лучший-то в мире, советский-то читатель нет-нет да и напомним о моём творении.

Не далее, как годов шесть назад, на Шукшинских чтениях в Сростках, сижу я под палящим алтайским солнцем на свежестроганом помосте, выходит читательница, начинает меня хвалить, как почётного гостя, и в числе мною сотворённых произведений называет роман «Тают снега». Томящийся рядом со мной бородатый критик В. Курбатов ширь меня в бок: «Во! — говорит, — классика не забывается!..». Едва я сдержался, чтоб не стукнуть его кулаком по лбу... А последний автограф на этой книге я поставил осенью 1955-го — одна абаканская журналистка аж в больницу ко мне прорвалась с этой книгой. Вот и иронизирую после этого насчёт нашего «лучшего» читателя!

Надо заметить, что критик Курбатов является другом нашего дома, потому что происходит он всё из того же города Чусового, родился и крестился где-то в другом месте, вроде бы в Ульяновске, но рос и вырос в уральском месте, долгое время знать меня не хотел и признавать меня литератором не желал на Урале, теперь вот пишет предисловия к моим книгам. Человек блистательно образованный, глубоко порядочный и умный, он символизирует собой истину: не место красит человека, даже всё наоборот, и в городе Чусовом выросши, ежели Бог тебе ума дал и ты «над собой неустанно работал и работаешь», — не завалешься под провинциальной творческой скамейкой, хотя, конечно же, многие знания умножают скорбь, и в наше время, да и во все времена дураку жить было легче. Всего же город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей и, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришёл к твёрдому убеждению, что советский писатель охотней и лучше всего заводится в дыму, саже, копоти.

...Я трудился в артели «Металлист» слесарем, совмещая эту работу с должностью кладовщика. Слесарь я был никакой, кладовщик — и того хуже: имущество из кладовой у меня тащили все, кому не лень, но поскольку ценного там почти ничего не было, то и сходило всё с рук. А слесарить — настраивать гвоздильные станки, точить, нарезать, крутить мне помогали добрые люди, которых в ту пору на Руси было гораздо больше, чем теперь. Когда у нас родилась дочка, мы жили во флигеле, подпёртом со всех сторон, жена ходила

в шинели и застудила грудь, получился мастит, после операции молока не стало. Мы выходили из положения с молоком так: я помогал тестю на сенокосе и плавил на плотках по реке Вильве с ним сено, за это нам давали молоко. Но требовался и сахар, его по карточкам выдавали мало и редко, прикупали сладкое на рынке. Иногда удавалось купить кусок сахара, затасканный в кармане, но чаще — самодельные конфеты. Молоко от них делалось то розовым, то голубым — какого цвета были конфеты, а сладости от них почти не происходило. Те своедельные конфеты — «соломка», которые я приобрёл однажды, были и на вид подозрительные, дочка поначалу охотно принимала цветное молоко, но скоро заболела диспепсией. Рвота и понос день ото дня усиливались, жену с дочкой положили в больницу. Был конец августа, врач на обходе настойчиво напоминал, что нужно сдать карточку, иначе придётся больных выписывать. А на работе вместо Марии Семёновны был временно принят другой человек, устроившийся в контору ради карточки. Осталась одна моя рабочая карточка на хлеб, сделалось совсем тяжело и голодно. Вот тогда-то, в обеденный перерыв, прямо в мазутной одежде отправился я в исполком, нашёл дверь секретаря горкома. Полный неистовства, полный звона в контуженной голове я ворвался к секретарю и спросил: «Вот двое добровольцев, недавних фронтовиков, отдавших родине молодость и здоровье, заслужили у этой самой родины кусок хлеба?».

Я мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть и моей семье в послевоенные годы, серьёзно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить меня на твёрдые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешёвке Божьего дара и совести, без которых в наше бесстыдное время жить будешь, но творить едва ли, разве что в угоду заказчику, а это равносильно смерти.

Секретарь озадаченно посмотрел на меня, пригласил сесть, попросил успокоиться и стал расспрашивать, кто я, что я и почему свалился на его голову? Потом он долго звонил куда-то, просил, требовал, приказывал даже, но карточки нам всё равно не дали, а второго сентября дочка умерла.

Вот с тех пор я и заказал себе не докучать более просьбами родной партии и советской власти тоже. А тогда мне говорили, ладно, мол, не посадили... Поэтому я назову фамилию того секретаря с благодарностью, хотя бы за то, что не сгубил он меня, прыткого русского дурака, — Серебров его фамилия.

И ещё один путный человек походил в чусовских партийных секретарях Хохолков Владимир Михайлович, родом с Вологодчины, после окончания электротехнического института начавший работать в Чусовском электродепо сменным мастером. Совмещая должность неосвобождённого секретаря комсомольской организации депо, он как-то стремительно пошёл вверх, не особо вроде и стремясь к этому. Много, очень много сделал Владимир Михайлович для города Чусового, затем был взят в совнархоз, затем в какой-то отдел ЦК, надорвал там не богатырское своё здоровье среди сановных бездельников, да и умер, войдя лишь в середину мужицкой жизни.

Здоровье моё совсем пошатнулось и я решил бросить... Вот, кстати, вспомнилась английская шутка: «Один человек так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить... читать». А я вместо того, чтобы перестать му-

читать бумагу и оставить в покое роман, решил бросить кормильца и поильца своего — «Чусовской рабочий», подверг себя так называемой «ранней профессионализации», которая, ой, сколько по необъятной Руси мучила да и домучила даровитых ребят. В те же годы маявшийся бесхлебицей и неприкаянностью в городе Горьком даровитый поэт Александр Люкин, зарезанный ножом на трамвайной остановке или в подъезде за то, что вступился за девушку, поэтически точно выразил в стихах, названных «Начало пути», моё тогдашнее положение:

Жизнь моя была неустроена — сто забот и сто разных тревог,
И безденежьем обеспокоена до того, что уснуть не мог.
По ночам меня думы маяли, прилипала беда к беде.
За стихи меня только хаяли — не печатали их нигде.
Видно, были они корявые, мыслям, что ли моим сродни,
Посылал их в Москву за славою, возвращались с позором они.
Я и боль, и тоску испытывал, горем срезанный наповал.
И твердила жена сердитая: «Лучше б валенки подшивал».

Не умел я валенки подшивать, это делал мой тесть, пусть и кустарно, не очень красиво, зато добротнo. Да и жена в ту пору была не очень сердитая, зато терпеливая, и, чтобы не доконать её, детей, чтоб нянька не сбежала от бесхлебья, подался я в собкоры областного радио по горнозаводскому направлению Пермской области.

На радио я стал хорошо зарабатывать, купил пишущую машинку, на гонорар же от романа, точнее, с доплатой из гонорара, обменяли мы избушку на большую избу, кое-что приобрели из одежки. Но среди всеобщей лжи, пустопорожней брехни, патриотического выкаблучивания первенство тогда неоспоримо принадлежало советскому радио, даже в газетке, где «осквернял родное слово и отучивал людей от доброты», как впоследствии написал я в одной из своих «затесей», работа выглядела всё же попримечательней. Скоро я устал от халтуры и, пока совсем ещё не утратил к себе последнего уважения, с хлебного места ушёл. Дела мои литературные постепенно налаживались. К этой поре я написал первую свою повесть «Перевал» и был безоговорочно принят в Союз писателей, с чем меня первым поздравил телеграммой мой бывший школьный учитель Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший разъездным корреспондентом от газеты «Правда» и оказавшийся в ту историческую минуту в Москве. Так вот совпало: я поставил первый автограф на первой книге своему учителю, — он первым поздравил меня со вступлением в Союз писателей, а то уж в Чусовом меня начали преследовать, как тунеядца, нигде не работающего, ни топором, ни пилой, ни лопатой, всё остальное здесь трудом не считалось.

Я мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть и моей семье в послевоенные годы, серьёзно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить меня на твёрдые гражданские ноги, научить обращаться

со словом, не пропить, не продать по дешёвке Божьего дара и совести, без которых в наше бесстыдное время жить будешь, но творить едва ли, разве что в угоду заказчику, а это равносильно смерти.

Творчество — это не только ненормированный, но зачастую и непредсказуемый труд, в нём случаются не только срывы, провалы и досадные недоразумения, да и обыкновенные пропуски, забывчивость. Случайно встреченные, порой ничего, кроме досады и неприязни, не вызывающие люди непременно и «подвернутся под руку», а те, кого ты хотел бы поблагодарить, отметить словом, — откатятся на задворки памяти и не сразу оттуда возникнут.

Почти нигде не помянул я благодарным словом редактора газеты «Чусовской рабочий» Григория Ивановича Пепеляева, немало усилий приложившего, чтобы я прижился на «чистой работе», овладел азами журналистики, поскорее преодолел бы безграмотность и непрофессиональность. Я знаю, как много на земле, особенно на уральской, бродит или уже ковыляет тех, кто «сделал из меня писателя», по слабости характера, всего себя «отдавши другим», и только из-за неимения времени или охоты сами писателями не стали, недосуг было. Журналистикой, пусть и ранней, убогой, повторяю, помог мне овладеть Григорий Иванович, однако, в качестве писателя иметь меня было ему ни к чему — газете нужен работник, ломовая лошадь, но не свободолюбивый творец. Когда дело дошло до того, чтобы идти мне на «вольные хлеба», Пепеляев не мешал этому, надеюсь, искренно пожелал успехов и, надеюсь, так же искренно радовался им, когда таковые сошли на меня.



В. П. Астафьев, Г. И. Пепеляев —
главный редактор газеты
«Чусовской рабочий», 1950-е гг.

Но много было в ту пору и тех, кто злобствовал и скрежетал зубами, что я «с суконным рылом» решил забраться в «калашный ряд». Помню, как корреспондент «Правды» по Пермской области вельможно отчитывал меня за мои творческие поползновения, говоря, что он и не чета мне, но в писатели не лезет, предпочитает быть путным журналистом. Представительный вид, умение «подать себя» привели к тому, что местное руководство сделало его редактором областной газеты «Звезда», которую до него возглавлял замечательнейший человек Борис Никандрович Назаровский. Воспитанный, культурный и мужественный, он мог возражать «верхам», и самолюбивое партийное руководство области вынуждено было считаться с его мнением.

...Зато нашему брату, молодым литсилам, повезло: в издательстве царила «мама Римская», то есть директорствовала Людмила Сергеевна Римская, изворотливая, толк в хозяйствовании и людях знавшая, литературу и литераторов, особенно молодых, любившая не менее, чем своих родных детей.

В пристяжке — ироничный, тонко воспитанный меломан, эстет, пронизательный человек и читатель — Борис Никандрович. Не всякого якова он подпускал к себе, не всякому оказывал доверие и, тем более, наделял дружеским расположением. Я удостоился всего этого, хотя поначалу с трибун посрамлял начальника своего, называл душителем талантов, сатрапом и деспотом, и ещё как-то уничижительно-обличающе. Старик имел ко мне большое отеческое снисхождение, помог найти и купить избушку в деревне Быковка; в речке Быковке водился хариус, я его ударно ловил и там же, в деревушке, начал ударно писать. У Бориса Никандровича неподалёку, в посёлке под названием Винный завод, на берегу Камского водохранилища была дачка, переделанная из баньки. У него здесь пивали водку и закусывали дарами природы литературные знаменитости и друзья молодости: Аркадий Гайдар, Василий Каменский, Савватий Гинц, художник Широков и многие другие. Как я, бывало, появлюсь на Винном заводе, Назаровский, усмехаясь, скажет: «Виктор Петрович, позвал бы сатрапа-то на ушку». Я и звал, потому как Быковка располагалась в двух верстах от Винного завода. Мы подолгу с ним беседовали и незаметно, без демонстрации обидного превосходства Борис Никандрович образовывал мой читательский, музыкальный и прочий вкус. Он первый мне сказал, прочитав мои «уральские» рассказы и, естественно, роман, чтоб я не насиловал свой дар, не приспособливал его к «неродной стороне», пел бы свою родимую Сибирь и сибиряков. Долго живший и работавший в Омске редактором областной газеты, он смог помочь студенту местного сельхозинститута, начинающему прозаику Сергею Залыгину. Затем вот и мне.

Назаровский, да и я тоже, шибко были огорчены, когда пришлось нам расставаться, переезжать с Урала, всю мне душу истерзавшего. Но связь наша не прерывалась до самой смерти Бориса Никандровича. Когда я написал и опубликовал повесть «Пастух и пастушка», Борис Никандрович первым откликнулся большим, отеческим письмом, сказавши в нём, что вот он, слава Богу, и дождался, что я начал реализовывать себя на том уровне, какой мне определил Господь. А когда я появился в Перми, сказал, что «Пастушка» моя уже написана в музыке и подарил мне пластинку с пятой симфонией Шостаковича, которую я, увы, никогда не слышал, потому как это произведение раньше почти не исполнялось, да и поныне исполняется редко.

Клавдия Васильевна Рождественская и сменивший её на посту секретаря Пермского отделения Союза писателей Владимир Александрович Черненко к концу пятидесятых годов оконтурили кружок местных талантов, как это делают геологи перед тем, как начать эксплуатацию месторождения нефти, руды, угля и прочих полезных ископаемых.

Когда я написал повесть «Перевал», то попросил послать рукопись её вместе с обязательными экземплярами моих книжек в приёмную комиссию. Эту-то рукопись и передали члену приёмной комиссии Вере Васильевне Смирновой. Она её прочитала, написала обширную рецен-

зию, сама из-за болезни не смогла прийти на заседание приёмной комиссии. Рецензию ту зачитали вслух, проголосовали — и я оказался в Союзе, который на протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил поддержкой и опорой не только мне в нелёгкой и непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это, но перестраиваться, начинать жизнь по-иному всё же надо — другие времена, другие поколения на дворе и потому должны быть другие требования к слову и содержанию жизни художника. Мы всё-таки жили по упрощённой схеме: руководитель — руководимый и работали по традиции, пусть и замечательной, завещанной и оставленной нам великой русской литературой. Но традиции — не окаменелость, они также подвержены времени и его изменениям.

Вера Васильевна Смирнова не родня многим Смирновым, населявшим советскую литературу, она всего лишь их однофамилица, к тому же ни прозаиком, ни поэтом она не была, а числилась в Союзе по линии «театральных критиков», и не знаю, чем уж я ей по душе пришёлся, но на протяжении немалого времени она «вела» меня, направляла и деликатно влияла на мой «творческий», значит, и жизненный путь.

Вновь созданный Союз — писателей РСФСР — от щедрот своих и административного размаха затеял творческий семинар молодых рассказчиков России. Вера Васильевна не только записала меня в число семинаристов, но и взяла под свою опеку. Собрались мы, молодые литсилы России, в шикарном доме творчества Малеевка. Аж на целый месяц оттуда удалён был всякий другой пишущий, но больше отдыхающий люд, дабы не мешал он молодым талантам думать и творить. К каждому двум семинаристам приставлялся опытный наставник-писатель, среди которых оказались Троепольский, Москвин, Зубавин, Перцов и ещё кто-то, я уж сейчас не помню. Они, наставники, и жили почти безвыездно здесь же, в Малеевке. Но у Веры Васильевны был я один-одинёшенек, и в Малеевку она не приезжала, я ездил к ней в Москву, пил с нею чай и разговоры разговаривал. Вера Васильевна тяжело болела и лежала — большое, непоправимое несчастье подкосило её — прошлым летом, будучи вместе с нею в доме творчества Дубулты, утонул её единственный восемнадцатилетний сын в той самой морской воронке, где перетонуло много всякого народу, в том числе и по сию пору любимый мною критик Дмитрий Писарев.

За блаженный месяц, отпущенный мне Богом и Союзом писателей, я должен был не только перезнакомиться с творческим народом, но и пообщаться с Москвой, побывать в театрах, на выставках и... написать новый рассказ. «Сильно себя не утруждайте, напишите чего-нибудь для отчёта, пустячок какой-нибудь набросайте и привезите мне, — наставляла моя умная и доброжелательная руководительница, — главное, больше общайтесь с людьми, читайте, обсуждайте, соскребайте с себя ногтями провинциальную штукатурку. Вам бы, Виктор Петрович, непременно надо поучиться на Высших литературных курсах».

Я поинтересовался, что это такое? Вера Васильевна объяснила, что при Литературном институте существуют курсы, на которые принимают членов Союза писателей, преимущественно с периферии, причём предпочтение отдаётся тем, кто не имеет высшего образования и не перевалил возрастом за сорок пять лет.

«Разумеется, никакой институт, никакие курсы писать Вас не научат, но два года жизни в Москве, в творческой среде могут многое дать человеку, который хочет чего-то добиться и стремится к самоусовершенствованию» — Вера Васильевна не просто говорила, но и действовала. Я был в творческой командировке от журнала «Урал» аж на Игарке, когда в Заполярный круг долетела телеграмма, что я зачислен на Высшие литературные курсы, и к первому сентября надлежит мне быть в Москве, куда с опозданием на полмесяца я и прибыл.

За два года учёбы в Москве я прошёл дистанцию, которую в таком культурном центре, как город Чусовой, самостоятельно проходил бы лет двадцать, глядишь, и заскоруж бы, опустился до самого заплесневелого обывателя, превратился бы в отвальный шлак, что горит и остывает круглосуточно за рекой Усьвой.

На знаменитом, увы, ни разу более не повторившемся в том же виде малеевском семинаре были Юрий Казаков, Глеб Горьшин, Виктор Потанин, Виктор Попов, Павел Макшанихин, Андрей Ромашов — более трёх десятков рассказчиков было, и все чего-то сотворили или из стола вынули написанное. Я написал рассказ «Кровь человеческая», издал его в Свердловске отдельной книжкой, там же его напечатали в коллективном сборнике — про борьбу с преступностью. И на том моё сердце успокоилось, рассказ тоненькой книжицей всунулся меж других книг и забылся надолго. Увы, увы, на курсах, на Высших, в московской суете, в интересной, порой бурной жизни столичной, подзабыл я благодетельницу свою, разок-другой наведалься, позвонил, потом переезжал из Чусового в Пермь, обустроивался в деревне, писал, читал, снова суетился. Однажды открыл «Литературную газету» — там скромненький некролог в рамочке, — не стало Веры Васильевны Смирновой — тихо, незаметно ушла она, сделав много добра людям, в том числе и мне. И ничего мне не остаётся, как раскаянно вздохнуть и поклониться низко той земле, которая не перестаёт рожать добрых людей, в коих ныне особенная нужда.

За два года учёбы в Москве я прошёл дистанцию, которую в таком культурном центре, как город Чусовой, самостоятельно проходил бы лет двадцать, глядишь, и заскоруж бы, опустился до самого заплесневелого обывателя, превратился бы в отвальный шлак, что горит и остывает круглосуточно за рекой Усьвой.

Во время учёбы на Высших литературных курсах раздвинулись рамки моей окружающей среды. Москва с её театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытывавшими, уже добившимися в литературе заметных успехов, — всё-всё способствовало духовному просветлению и нравственному усовершенствованию, способ-



В. П. Астафьев в этнографическом парке.

Худ. П. Ф. Шардаков (из фонда этнографического парка истории реки Чусовой)

ствовало прежде всего тем, кто к этому стремился, но не только водку пил. Гуляли, развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях бумажных голубей. Нина Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самоабвенно отдававшаяся своему делу, называла нас «мои взрослые дети». Да, да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, кто и отнятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные, жертвы сталинских концлагерей. Они делились с нами «богатым прошлым», открывали глаза на правду.

На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутовцев, да и сам работал, написал повесть «Звездапад», пяток рассказов, перевёл по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик.

Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь два.

В город Чусовой мне было возвращаться не очень-то способно. Пообещали квартиру в Перми, и я более года ездил

туда — смотреть, как продвигается строительство дома, в котором была обещана квартира, — мы с женой боялись, что её или займут, или переделают давать.

Спустя восемнадцать лет после войны мы получили долгожданную квартиру, и тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины: до получения квартиры и после получения таковой. Квартира сдана нам была без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и вывороченной плиткой в совмещённом туалете. Стенки её едва дышали. «Зала» была проходной, семья накопилась — пять человек. В ту пору без избы в деревне работать мне было невозможно. Вот тогда-то и свозил меня Борис Никандрович Назаровский в деревню Быковку, и для меня наступили счастливые дни и годы плодотворной работы. Все семейные тяжести легли на жену: в Быковке не было магазина, электричества, всё, начиная от керосина и хлеба, надо было возить и таскать на себе, жену мою в округе прозвали «маленькая баба с большим мешком на спине».

Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очень ёмкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведён гениями нашими до таких совершенств, что мировая новеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом.

От пристани Степаново до деревни Быковка — полтора километра. Полями и лесами мы с ещё недавно бегучей женой шли часа три и, когда вошли в прохладную, когда-то запущенную хозяевами, но обихоженную Марьей Семёновной избушку, тут она воскрешённо заплакала, сам я плакать убёг за баню, к утекающе-говорливой, светлой

речке Быковке. И потом, когда я осуществил свое намерение, уехал с семьей в тихую Вологду, где прожил почти одиннадцать лет в доброжелательной творческой среде, которой покровительствовало, проявляя такт и заботу, областное руководство, а раз оно хорошо, с пониманием относилось к нам, то и всякое другое население должно было ему подражать, Быковку не забывал, наезжал туда не раз. Снится она мне и по сию пору.

Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очень ёмкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведён гениями нашими до таких совершенств, что мировая новеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом. Сомерсет Моэм утверждал, что тот, кто в начале нынешнего века не подражал Чехову, не мог считаться в Англии новеллистом и вообще писателем.

Мне удалось написать с пяток рассказов, достойно представляющих этот жанр, и когда я начал овладевать более пространной формой — повестью, также блистательно освоенной русскими классиками, то первые мои повести тоже были рассказами: «Стародуб», «Звездопад», но более длинными или состоящими из главок-рассказов — «Перевал».



*Портрет писателя В. П. Астафьева.
Худ. Е. Н. Широков.
Картина находится в фондах
Третьяковской галереи*

Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Подсознание. Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает каких-то может и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством, потому-то все великие гении земли верили в Бога или вступали с Ним, как Лев Толстой, в сложные, противоречивые отношения. Бог есть Дух, Он всегда с нами, даже когда вне нас, Он — свет пресветлый — и есть та боязная тайна, к которой с детства прикоснувшись, человек

замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаёшься — оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех, всех — любовью к труду, к добру, к созиданию. Бога скорее и яснее всех чувствуют невинные дети, потому как не знает ещё их маленькое сердце сомнения. Вот хитрованы-большевики и прививали свою веру, как холеру, нам с детского возраста и, отлучив от высшей веры, приблизили нас к низшей, вредной, растлевающей морали, заразили безверьем два или три поколения. А высшая вера — это всегда трудно. Надо быть чистым помыслами и сердцем, постичь невысказанное, отгадать высший смысл веры, пытаться донести до людей то, что постиг ты с помощью Божьей, даровавшей тебе отблеск небесного света, пеня, что зовётся небесным, донести, как высший дар, до других людей...

Город гениев*

Каких только неожиданностей не приносит почта. Вот из зачуханного города Чусового Пермской области, стоящего на одной из красивейших рек Европы, воспетой Маминым-Сибиряком и ныне погубленной до смерти, из города, откуда родом моя богоданная жена, из города, где прошли наши послевоенные молодые годы и выросли дети, пришли необыкновенно острые и интересные заметки вместе с рисунком мною когда-то построенной избушки. Первого послевоенного жилья — только у моей избушки не было ни верандочки, ни сенок: не из чего было их изладить, их пристроил следующий хозяин, был он плотник и столяр.

А город Чусовой всегда отличался не только склонностью к пьянству, дракам, поножовщине, но и потребностью в созидательном труде на предприятиях металлургии, столь загазованных и вредных, что никакой безыдейный необразованный капиталистический труженик не стал бы на них работать, разнёс бы в прах заводы и канцелярии заводские, а наши рабочие вкальвуют да ещё и радуются тому, что заводы не закрылись, и есть возможность заработать на них на кусок хлеба.

Этот городок с крупной узловой станцией, стоящей среди великолепной природы при впадении в реку Чусовую двух красавиц-сестёр, рек Вильвы и Усьвы, где когда-то водилась рыба в изобилии и можно было пить из них воду, всегда отличало какое-то старомодное чувство бескорыстности, дружества и преданности друг к другу — попавшего в беду на реке, в тайге человека здесь никто и никогда не бросал, сосед соседа почитал, здесь я впервые услышал местную поговорку: «не живи сусеками, а живи с соседями».

...И ещё этот город отличала непобедимая тяга к чтению и сочинительству, из него, этого городишка, вышло 10 членов Союза писателей, из чего я сделал вывод, что советский писатель лучше всего заводится в саже, в копоты и дыму...

И всегда в этот город заезжали (или судьбой их заносило) интересные люди, чудики, непризнанные гении, и вились тут если и не тучей, то кружились выводки графоманов, музыкантов и изобретателей. Завёлся здесь даже человек, предложивший реформу музыкального образования, подвергнув сомнению мировую музыкальную грамоту и всякую гармонию, считая, что

* Астафьев В. П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 7. Затеси. — Красноярск: Офсет, 1997. — С. 429-431.

семь нот в музыкальной системе мало. Слишком устарелая и малодоступная система. Сделав новый музыкальный инструмент всего из нескольких клавиш, он изобрёл и изобразил общедоступные знаки записи музыки, пытаясь добиться того, чтобы музыка, как арифметика, была бы доступна всякому ребёнку, любому смертному землянину. Изобретая новую музсистему, человек этот предложил попутно и новомодную живопись, сам обучился прекрасно писать маслом, акварелью, цветными опилками на стекле, на стали. Замахивался и на всю нашу систему образования, предложил преподавать бесплатно физику и философию, в итоге обучившись, опять же попутно, прекрасно играть на рояле, сочинять музыку. Он пробовал учиться сразу в двух университетах Москвы, но заболел туберкулёзом, и его отправили домой умирать. Но он своей же методой сам себя и вылечил, ходил по городу раздетый и босиком зимой и летом, покорив экстравагантным видом и поведением самую красивую деваху в городе, так что стали они ходить по городу босиком уже парюю...



Но это уж было слишком даже для такого к дарованиям терпеливого города. Гения, как водится на Руси, объявили сумасшедшим и отправили в Пермь. Родители жены его едва выхватили из чудовищных лап гения чуть не погубленную дочь. Город вздохнул освобождённо. Родители же гения, простые рабочие, плакали, считая, что на младшего сына напущена порча, и скоро умерли с горя, а неистовый кипящий ум чусовлянина переметнулся на космос и многое там постиг.

А ещё в детской техстанции Чусового, где зимами собирались рыбаки, охотники и шахматисты на «токовище», умельцами был сделан электромузыкальный инструмент задолго до тех, под которые сейчас в дыму и пламени мечутся хрипящие бесы. Инструмент тот свезли на ВДНХ, на какую-то выставку и присвоили. Здесь могли подковать не только блоху, но и лошадь, починить любой мотор, инструмент. У меня до сих пор хранятся самодельные блёсна и ящичек под них — произведения искусства. Городу Чусовому исполнилось уже 60 лет, и в нём всё ещё дополна водится гениев.



Сибиряк*

Марш окончен. Большая, изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, просёлочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и всё равно это называлось, как в старину, маршем. Солдаты успели перепачкать новое обмундирование, пропотеть насквозь и начисто съесть харчишки, выданные на дорогу. И всё-таки до передовой добрались. Лежат в логу на щетиистой запылённой траве и прислушиваются; кто озирается при каждом выстреле или разрыве, а кто делает безразличный вид. Разговоры всё больше на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая и кормёжка не то, что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая. «Тёртые» солдаты, те, что попали в пополнение из госпиталей, многозначительно ухмыляются, слушая эти разговоры, и на всякий случай изучают местность: нет ли поблизости картофельного поля. Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует.

А передовая рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулёмётные очереди, и нет-нет да и вспыхивает суматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, лениво ковыляют беспризорные лошади, урчат машины в логу. А вот и раненый появился. Спускается в лог, опираясь на палочку. Идёт он в одном ботинке. К раненой ноге поверх бинта прикручена телефонным проводом портянка. Аккуратно свёрнутая обмотка в кармане. Ненужный пока ботинок за шнурок подвешен к стволу винтовки.

— Привет, славяне! — бодро выкрикивает фронтовик и указывает палкой на ногу: — Покудова отвоевался, а что дальше будет, увидим. Табачком богаты?

Все разом полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом успел раньше других сунуть свой кисет раненому. Тот неторопливо опустил на землю, поморщился и начал скручивать сигарку. Рябоватый боец с робостью и уважением следил за раненым, хотел о чём-то спросить, но не решался.

* Астафьев В. П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 1. Рассказы. «Тают снега»: роман. — Красноярск: Офсет, 1997. — С. 67-83. — [«Сибиряк» — поздний вариант первого рассказа «Гражданский человек» (1951 г.)].

— Так это уже война? — наконец спросил он. Раненый с форсом прикурив от трофейной зажигалки, убрал её в карман и, выпустив клуб дыма, сказал:

— Она самая, — и махнул рукой через плечо: — Передок метрах в трёхстах. Ну я, братцы мои, пойду, а то не ровен час накроют. Вы тут развалились — ни окопчика у вас, ни щелки. Ещё отшибут вторую ногу и придётся мне на карачках до санроты добираться...

Раненый поковылял дальше. Боец, тот, что дал ему закурить, провожал раненого взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высотой. Лицо солдата сделалось печальным.

Вдруг раздалась команда — все вскочили, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться.

— Вольно! Всем сидеть! — разрешил черноватый лейтенант с усталыми глазами и сам присел на катушку кабеля, которую ему услужливо подсунул связист.

И лейтенант, и связист появились как-то неожиданно, словно из-под земли.

— Не ели сегодня? — поинтересовался лейтенант и сам себе ответил: — Не ели... Ну ничего, думаю, вечером нам кое-что подбросят, — утешил он и принялся расспрашивать: кто откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны, большая ли семья, и тут же записывал фамилии в блокнот и распределял людей по отделениям.

Рябоватый солдат сразу же попался на глаза лейтенанту. Простоватое лицо солдата с реденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давно-давно знаком с ним и вот, наконец-то, встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку — столько в ней было доверчивого и дружеского — и внимательней пригляделся к этому солдату.

Пилотка, ещё новая, уже успела потерять свою форму и напоминала капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, гимнастёрка вся была в мазутных пятнах.

— Ну и вид у вас! — шутливо проговорил лейтенант. — Попортили здорово вы, наверное, крови старшине в запасном полку...

— Всякое бывало, товарищ лейтенант.

— Фамилия?

— Савинцев моя фамилия. Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слышали, деревня Каменушка есть недалеко от Тогула, так из неё.

— Нет, не слыхал, товарищ Савинцев. Много деревень у нас в стране.

— Наша деревня особенная! — Савинцев оглянулся по сторонам, долго молчал, как будто подыскивая сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил: — Всем деревням — деревня!

— По его рассказам выходит, товарищ лейтенант, что Каменушка — почти город, только в ней дома пониже да асфальт пожиже, — раздался голос из группы бойцов. Все сдержанно рассмеялись и сейчас же выжидательно замолкли.

— Куда же мне вас определить? — покусал губу лейтенант, всё ещё меряя взглядом крупную фигуру бойца.

— Я — человек неизбалованный, — с готовностью отозвался Матвей. — Куда пошлёте, туда и пойду. Может, сомнение есть насчёт моего старанья, так для проверки пошлите туда, где работы побольше.

Лейтенант подумал ещё и решительно произнёс:

— В мой взвод, к связистам! У нас работы всегда бывает много.

...И попал Савинцев в боевую семью «паутильщиков», как прозвали связистов на фронте. Покладистый, домовитый характер, готовность прийти каждому на помощь и ненадоедая словоохотливость помогли ему как-то незаметно сойтись с фронтовиками. Те с первого дня стали попросту звать его Мотей, даром, что был он отцом семейства, да и не маленького. Уж очень шло ему это имя: и теплота в нём была, и улыбка необидная.

Тонкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвею туго. Впрочем, всё в жизни давалось ему с трудом, поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицепщиком, дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что был он знатным трактористом и про него даже в газете писали. Ну, расспросы, конечно, как да что, а Матвей только отмахивался:

— Какой там знатный! Мало сейчас нашего брата в колхозах, вот и стали мы все там знатные.

В тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной Каменушке. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то её ни замечать, ни ценить не умели — всё шло само по себе, всё было как надо, и вот...

Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть доставшегося по наследству, бумажника, подолгу рассматривал её. На снимке был сам он с неестественно напряжённым лицом, рядом жена с ребёнком на руках, а впереди два мальчика. У меньшего удивлённо открыт рот, а старший, насунив брови, цепко держит в руках книгу.

— Школьник! — с гордостью говорил Матвей товарищам. — В четвёртую группу зимусь ходил. И второй нынче тоже пойдёт. Одежонку всем надо, катанки, книжки. Заботы-то сколько Пеллагее, заботы! — И примолкнет Матвей, задумается, а то и выдохнет: — Что-то они сейчас поделывают?

— Чай, небось, пьют, — поддразнит кто-нибудь из солдат.

— Что? Чай? — удивляется Матвей и с возмущением разносит простак, не имеющего понятия о деревенской жизни.

— Да знаешь ли ты, голова-два уха, что сейчас уборочная началась, одни бабы хлеб-то убирают. Не до чаёв им, в тридцатом поту бьются... Вот приезжай после войны в это время к нам — почаёвничаешь.

Матвею разъясняли, что есть разница во времени: если здесь, на Украине, вечер, то на Алтае уже ночь и вполне возможно, что колхозницы и балуются чайком после трудового дня.

— Может, и так, только я спать ложусь вместе со своими и встаю тоже вместе... не могу отделиться, — говорил Матвей тихим голосом, глядя поверх солдатских голов, и на этом споры прекращались. Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом — они врастают в его сердце навечно.

А война бушевала, и враг катился с Украины к границе.

Вроде бы и неповоротливый мужик Савинцев, да и не очень сообразительный, но дело своё исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода, лежал под разрывами и, выковыряв землю из ушей и носа, бежал дальше. Конечно, как и всякий связист, он что-то изобретал, приспособливался к обстановке — иначе на войне нельзя. Война — это не только выстрелы, это очень много работы, порой непосильной работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать, кто умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил.

Матвей работал. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, зачищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. Но на фронте все изобретают, каждый час, каждую минуту изобретают и этому никто не удивляется. Главное, чтоб польза была. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один, телефонисты клянут его, ругают, а когда провода соединят — тут же забудут о связисте и дела им нет до того, что он там придумал, как изловчился под огнём наладить линию. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотной работы, чем работа связиста. Можно ручаться, что матюков и осколков связисты получили больше, чем наград.

Но война есть война. На ней всё равно найдётся такое место, где человек окажется виден во весь рост.

Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверное, сотни, и едва ли эта была какой-нибудь особенной. Обыкновенная украинская деревня с белёными хатами, на хатах гнёзда аистов, возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы с журавлями. И расположена деревня по-обычному — поближе к ручью, на пологом склоне. За деревней — возвышенность, удобная для обороны. Немцы и уцепились за неё.

Заняв с ходу Михайловку, пехотинцы атаковали высоту, но атака не удалась. Подтянули свои огневые средства пехотинцы, пальнули — и это не помогло. День, второй прошёл — ни с места. Встречались пехотинцам горы, перевалы и широкие реки. Одолевали их, шли без задержек, а тут из-за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбрусу, может, во веки вечные не видать такой страсти и не удостоиться такого внимания, какое выпало на долю этого бугорка. И большие, и маленькие командиры обвели его на карте и красными, и синими кружочками. Подтянулись к Михайловке миномётчики, артиллерия, танки. Высоту измолотили так, что до сих пор, наверное, пахать её из-за металла невозможно.

Но нашла коса на камень. Не отступает противник и, мало того, норовит атаковать. Ночью фашисты заняли два дома на краю деревни. Сапёры, что квартировали в них, еле ноги унесли. Эти два дома сапёрный начальник, пожалуй, и по сей день помнит. Утром ему же вместе с его «орлами» пришлось их отбивать. Одним сапёрам, конечно, не справиться было бы, и дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправился с разведчиком и связистом к сапёрам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту.

В темноте, кое-где рассекаемой струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую.

— Стой, ребята! — раздался из темноты голос разведчика, шедшего впереди. — Тут болото. Не пройдёшь... Надо вниз, по ручью, там есть бетонная труба, что-то вроде мостика, через неё и пойдём.

...Утром закурился над землёй какой-то робкий, застенчивый туман и быстро заполз в лога, пал тихой росой на траву. И роса была какая-то пугливая. Капли её чуть серебрились и тут же гасли. И всё-таки роса смыла пыль с травы, и когда из-за окоёма, над которым всё ещё не рассеялся дым от вчерашних пожаров, поднялось солнце, — брызнули, рассыпались мелкие искры по полям, и в деревенских садах да в реденьких вётлах, что прижились у ручейка, затушеванного ряской, защибетали пичужки, сыпанули трелями соловьи. Диво дивное! Как они уцелели? Как они не умерли со страха, эти громкоголосые песельники с маленькими сердцами? Поют — и только! Поют как ни в чём не бывало. И солнце, страдное, утомлённое солнце светит так же, как светило в мирные дни над полями — с едва ощутимой ласковостью утром и с ярким зноем к полудню.

Страда наступила, страда...

Но вот справа, далеко за Михайловкой булькнул, как булыжник в тихий омут, миномётный выстрел. С минуту было тихо, а потом разом рванули прилетевшие с той стороны снаряды, и пошло! Заухало, загудело кругом. Канули, потонули в грохоте птичьих голосишки, и дымом заслонило спокойное, страдное солнце.

Боевой день начался.

Трижды бросались в атаку сапёры и трижды с руганью и заполошной пальбой убегали в пыльные подсолнухи. А сапёрный начальник, страдающий одышкой, стрелял для страха из пистолета вверх и крыл их самыми непотребными словами. В конце концов два дома, потерянные сапёрами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах. Сапёрам достались только груды кирпича да погреб со сгнившим срубом.

Передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон.

Дела здесь шли пока тоже неважно. После артподготовки пехотинцы по сжатому полю с трудом добрались до половины высоты и залегли. Горячая работа закипела у артиллеристов. Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда. Сделано. Подавить миномётную батарею. Вот и она заглохла. Мешает продвижению закопанный на горе танк — отпустить ему порцию! Есть! Уничтожить пулемётную точку! Крой, артиллерия, разворачивайся, на то ты и бог войны!

Оборвалась связь... Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый и, по мнению всех связистов, самый непутёвый паренёк, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом: «Промежуточная! Промежуточная! Мотя! Мотя! Савинцев!...». Коля ёрзал как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта виноватыми глазами.

Нет никчёмней человека, чем телефонист без связи: он глух, нем и никому не нужен. Но вот, наконец-то, голос запыхавшегося Савинцева:

— «Заря», говорите с «Москвой».

— Добро, Мотя, отключайся!

Вскоре, осыпав комья земли, в проход блиндажа втиснулась мешковатая фигура Матвея. Он вытер пот рукавом и сказал:

— Здорово живём! Ох и даёт фриц прикурить... Возле мостика уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил.

Матвей помялся, виновато кашлянул и глухо добавил:

— Я попутно нёс вам, ребята, перекусить... с командного передали...

— И пролил, — сердито перебил разведчик, глядя на пустой котелок и флягу.

— Да нет... в огороде, что сапёры отбили, наткнулся на картофельную яму, а в ней женщина с ребятишками. Ни живы, ни мертвы и третий день не евши. Ну и... что хотите делайте... Солдатам не впервой, а там ребятёнки, сердешные...

У разведчика потеплели глаза, он улыбнулся потрескавшимися губами и без осуждения сказал:

— Эх ты, Мотя, разудала голова!

Ободрённый тоном разведчика, Матвей достал из кармана горсть белолобых огурчиков и засуетился:

— Вот, братцы, покудова заморите маленько червячка. Огурец — штука полезная: в нём и еда, и вода. Если не обед, так воды-то я уж всё одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода-то — горе, лягушки одни. Эх, у нас, на Алтае, водичка в ручьях — студёная-студёная...

В блиндаж вошёл лейтенант. По лицу его струился пот, оставляя грязные потёки. Выслав вместо себя разведчика, он опустил около телефонного аппарата на землю, облегчённо выдохнул:

— Ну и жара!.. Как, Савинцев, линия?

— В порядке пока. На промежуточной напарник остался.

Лейтенант пристроил на коленях планшетку, разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался «Москвой».

— У аппарата двадцать четвёртый. Обстановка такова: пехота добралась до середины высоты, но залегла. Нужно подавить огневые точки противника, мешают они пехоте. Ну и сопровождающего огонька подбросить. Передаю координаты... Алло! Товарищ пятый!.. Черт бы побрал эту связь, рвётся, когда особенно нужна! — лейтенант сердито швырнул умолкнувшую трубку.

Матвея как ветром выдуло из блиндажа. Не чувствуя сrostков, царапавших ладонь, он бежал по линии, лавируя между бабками. Ближе к ручью их не было, и Матвей пополз.

С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец. Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал.

«Снайпер!» — мелькнула догадка у Матвея. И он закричал:

— Не шевелись! Добьёт! Не шевелись, лежи!

Около упавшего связиста взвилось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться.

— Ах, душегуб проклятый! — стиснул зубы Матвей. — Доконал ведь человека. И тех вон ребят у мостика тоже срезал!..

Как всегда в трудную минуту, Матвей стал держать с собой совет.

«Так, значит, фрицы перебили связь на трубе и теперь, как на удочку, ловят нашего брата. Снайпера посадили. Хитры сволочи! Надо посообразовать, а то и связи не исправишь, и на тот свет загремишь!»

Он осторожно отполз, подключил аппарат и услышал нетерпеливый голос лейтенанта:

— Двадцать четвёртый слушает... А, это ты, Савинцев? Что там у тебя?

— И не говорите, товарищ двадцать четвёртый. Снайпер у трубы кладёт нашего брата. Напарника вон...

— Та-ак, — послышался тяжёлый вздох лейтенанта. — А связь, Савинцев, нужна... До зарезу! Понимаешь?

— Да как же не понимать, не маленький. Ну-к я поползу...

— Постой, Савинцев... — лейтенант замолк, только глубокое дыхание, приглушённое расстоянием, слышалось в трубке.

О чём ты задумался, молодой командир? Много пережил ты, много видел смертей, сам ходишь рядом со смертью, а всё ещё чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда он может не вернуться. Так же, как и в первый раз, сжимается твоё сердце, будто отрывается

от него что-то с болью. Может быть, увидел ты деревянную Каменушку и жительницу этой Каменушки, которая вместо запятнанного окопной глиной письма получит коротенькую бумажку и забьётся в неутешном горе, запричитает громко, по-деревенски. И встанут около неё трое простоволосых ребятишек, которым и не понять сразу, отчего и почему где-то далеко-далеко послал на смерть их отца один человек и после победы отец не приедет с обещанными гостинцами...

В трубку было слышно, как шевельнулся лейтенант, кашлянул и твёрже произнёс:

— Связь нужна! — А потом скороговоркой, как будто недовольно, буркнул: — Да поосторожней там!

Отключив аппарат, Матвей призадумался: смерть-то не тётка. Пошарил глазами вокруг себя, отыскивая место, по которому удобней пробраться к ручью. Метрах в двухстах от трубы росли низкие кусты ивняка, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал: «Живём пока» — и пополз.

Осторожно раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья. Руки по локоть ушли в вязкий ил, ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплёвывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боялся, чтобы тот не заметил провода, пригибающего осоку.

Вот и труба. Матвей ногами вперёд залез в неё.

По дну бетонной трубы лениво сочилась струйка позеленевшей воды. Матвей, лёжа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в трубе, загнул его крючком. Полюбовавшись своей работой, он привязал крючок к проводу.

— А ну-ка, кто кого объегорит?

Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол на верх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дёрнул посильней, крючок слетел, и несколько оборванных проводов повисло с края трубы.

— Толково! Дело идёт! Ещё разок!

Чиркнула разрывная пуля...

— А наплевал я на тебя! — приговаривал Матвей, втягивая поглубже в трубу «зарыбаченные» провода.

Свой провод он сыскал сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал всё трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким и был этим весьма доволен.

— Вот он! — удовлетворённо отметил Матвей и вдруг подумал вслух: — Небось из-за этого красного кабеля они и связь-то перебили? Ну, конечно, его издаля видно. Ох уж этот сержант наш. Ему бы дерьмо, да чужое. Ну, погоди, выберусь отсюда, всю эту трофейщину к лешакам повыкидаю и сержанта отлаю.

Рассуждая так, Матвей подключал соединённые концы к аппарату.

— «Заря»!.. «Заря»!..

— Савинцев, ты? — раздался обрадованный голос лейтенанта. — Добрался? Ну, ладно. Благодарю!

— Служу Советскому Союзу! — радостно ответил Матвей, по привычке привскочив, но так стукнулся затылком, что в глазах потемнело. Услышав, как лейтенант стал передавать координаты на «Москву», Матвей не стал громко ругаться, а потёр шишку и вполголоса запел, продолжая разбирать и зачищать провода:

— Оте-е-ц мой был природный пахарь,

И я рабо-отал вместе с ним...

Присоединив конец другого провода, он прижал плечом трубку к уху. Женский усталый голос с тихой безнадёжностью звал:

— «Луна»... «Луна»... «Луна»...

— Алё, девушка, вы кого вызываете?

— А это кто?

— Это связист Савинцев!

— Ой, я такого не знаю. Как вы попали на нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать!

— А чего мне мешать-то, когда линия ваша не работает, — добродушно усмехнулся Матвей. — Говорите лучше, кого надо, может, помогу вашему горю. Да не посылайте связистов к трубе — снайпер тут подкарауливает.

— «Луну» мне нужно, товарищ связист, поищите, пожалуйста.

— На луну пока ещё линия не протянута, уж что после войны будет, а покамест говорите фамилию тутошнего связиста, — пошутил Матвей, отыскивая подходящий провод.

— Гольба — фамилия, Гольба, ищите скорей.

Матвей присоединил провод и начал вызывать «Луну».

— Хто це просыть «Луну»?

— Да тут девушка по тебе заскучалась — соединяю. — Матвей соединил концы проводов, а когда взял трубку, по линии уже разговаривали:

— Какой-то незнакомый связист Савинцев порыв исправил.

— Алло! Товарищ Савинцев?

Матвей нажал клапан:

— Ну я, чего ещё вам?

— Щиро дякую вас, товарищ!

— За что?

— Та за линию. Чужую ведь линию вы зрастили и такую помогу нам зробыли...

— По эту сторону фронта у нас вроде нет чужих линий...

Но вот все концы, попавшие Матвеем на крючок, срощены. Снова ожили линии, пошла по ним работа. А Матвей томился от безделья, зная, что незаметно улизнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно — под животом вода. Весь мокрый, грязный, смотрит он на край деревни, видимый

из трубы. Горят дома. Пылища мешается с дымом. Наносит горелым хлебом. Огороды сплошь испятнаны воронками. Сады перепоясаны окопами. И трубы, голые трубы всюду. А солнце печёт, и дышать трудно. Щекочет в ноздрях, душит в горле.

«Хм, чудак этот Голыба! Чудак. Всё своё, всё, и за эту вот деревушку, как за родную Каменушку, душа болит. Зачем её так? Зачем людей чужеземцы позорили? Что им тут надо?..»

Ухнули орудия, и где-то сверху невидимые пролетели снаряды и с приглушённым стоном обрушились на высоту за деревней.

«Наши бьют!» — отметил Матвей.

Он умел по звуку отличать полёт своих снарядов так же, как до войны определял на расстоянии рокот своего трактора. На высоте, которую Матвею не было видно, часто затрещали пулемёты, рывкнули миномётные разрывы, захлопали гранаты...

«Пошла пехота! — опять отметил Матвей. — Может, я под шумок смогаюсь?». Он взял трубку:

— «Заря», как там у вас?

— Порядочек! Вперёд наши пошли. Огневики что делают! Вышли «тигры» да бронетранспортёры. Артиллеристы так их лягнули, что потроха полетели.

— Значит, дела идут, контора пишет?..

— Пишет, пишет!.. Да ты откуда говоришь? — спохватился Коля Зверев.

— Не говори, сынок, в таких хоромах нахожусь, что и дыхнуть нет возможности. Перемазался так, что мать родная не узнает.

— Да где ты, чего голову морочишь?

— Где-где... В трубе, что вместо мостика приспособлена. Вот где, и вылезти снайпер не даёт.

— Двадцать четвёртый пришёл, хочет с тобой поговорить.

— Савинцев, ты что, в трубе сидишь?

— Лежу, товарищ двадцать четвёртый!

— Ну, полежи, со смертью не заигрывай. Наши идут вперёд.

— Ну-к что ж, потерплю... — согласился Матвей и уныло опустил трубку.

Когда снаряды начали рваться гуще, Матвей осторожно выглянул, приподнялся, осматривая поле с бабками снопов, и вдруг радостно забормотал:

— Эй, фриц, ни хрена же ты в крестьянском деле не смыслишь! Сколько снопов в бабку ставится. Пять! А у тебя почти десяток. Погоди-и, научишься ты у меня считать...

Матвей схватил трубку:

— «Заря!» «Заря», двадцать четвёртого мне.

— Нет его, ушёл к пехотинцам.

— Слушай, сынок! — захлёбываясь и спеша заговорил Матвей. — Снайпера я отыскал, в бабке сидит. Она больше других и в аккурат против тех изб, от которых сапёры драпали. Охота мне самому его, зверюгу, стукнуть, да несподручно из трубы.

— Айн момент, позвоню в штаб батальона. Они его из миномётов угощают...

— Проворней давай...

От нетерпения Матвея стало колотить. Сунул он руку в карман и стал громко ругаться:

— Асмодей! Растяпа! Табак-то весь замочил!..

Секунды тянулись мучительно медленно. «Неужели не найдут?» — ругаясь, думал он и в то же время чутко прислушивался. Рывнули миномётные взрывы.

— Там! — встрепенулся Матвей и уже смелее высунулся из трубы. Бабки не было, только клочья соломы оседали на землю.

— Так тебе, стерве, и надо! — закричал Матвей... и вдруг осёкся, взглянув на пойму ручья. По ней двигались четыре фашистских танка, за ними, не стреляя, бежали немцы.

— «Заря»! «Заря»! — не своим голосом гаркнул Матвей, но «Заря» не отвечала.

— «Москва»! «Москва»!

— Слушает «Москва», чего ты как с цепи сорвался?

— Кончай болтать, давай скорей пятого, тут танки прут.

— Где танки, товарищ Савинцев? — послышался голос командира дивизиона.

— Товарищ майор, то есть товарищ пятый! — пугаясь, закричал Матвей. — К трубе подходят уже, бейте скорее! Отсекут пехоту!

— Без паники, Савинцев! Уходи немедленно оттуда! Открываем огонь!

Матвей схватил аппарат, опрометью кинулся из трубы к деревне, потом остановился, махнул рукой и вернулся обратно. Взяв в руки провод, побежал по высоте искать порыв на «Зарю». Матвея заметили. Вокруг него засвистели пули, хлопнул разрыв впереди. Он лёг, стараясь теснее прижаться к земле. Танки остановились и начали бить из пушек по высоте. Немецкие автоматчики, обтекая их, бегом пошли в атаку. На склоне высоты засуетились наши, готовясь встречать немцев. В это время беглым огнём ударили гаубицы. Болотистую жижу взметнули первые разрывы, потом ещё и ещё. Танки, пустив клубы дыма, заурчали и попятиться к ручью. Но за ними встала стена разрывов — заградительный огонь.

Матвей заметил, как один танк забуксовал в ручье, остервенело выбрасывая гусеницами жирный торф. Грязное лицо связиста расплылось в довольной улыбке, и он побежал по линии, пропуская провод сквозь кулак. Внезапно его, как пилой, резануло по животу. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множество тонких колокольчиков, земля под

ногами сделалась мягкой, как торф, и перестала держать его. Он упал, широко раскинув руки, и колючая стерня впиалась ему в щёку. Пресный и густой запах сухой земли, спелого хлеба, к которому примешивался ещё более густой и ещё более приторный запах крови, полился в него и застрял в груди тошнотворным комком. Не было силы выдохнуть этот комок, разом выплюнуть густую слюну, связавшую всё во рту.

«Попить бы», — появилась первая, ещё вялая мысль. Матвей приоткрыл глаза и совсем близко увидел мутный цветок, который колыхался и резал глаза, словно солнечный яркий блик. А на цветке сидел кузнечик, мелко дрожал, должно быть, стрекотал. На то он и кузнечик, чтобы стрекотать беспрестанно. Работник! Но всё крутилось в глазах Матвея, в голове стоял трезвон, и он не слышал кузнечика, не узнал обыкновенный цветок — сурепку. Он уже хотел закрыть глаза, но ему мучительно захотелось узнать, какой цветок растёт, и даже пощупать его захотелось. Тут он заметил, что рядом с цветком лежит вялый, как будто засохший червяк, провод и подумал:

«А связь-то как же? Вот беда».

Он попытался подтянуться к проводу и с трудом преодолел полметра. Когда он взял провод в руки, то почувствовал уже себя не таким заброшенным, одиноким на этом скошенном поле, на этой кочковатой высоте. Он приподнял голову, натужился и пополз.

Знал Матвей, нутром чувствовал: пока держит провод в руке, будет и жизнь, и сила. Потными пальцами сжимал он тонкую и горячую жилу провода, сжимал и полз, чувствуя, как накаляется провод, как горячеет под ним земля и раскалённые камни от живота раскатываются по всему телу, давят на сердце. «Только бы при памяти остаться. Доберусь я до порыва», — стараясь не обращать внимания на горячие эти камни, думал Матвей.

Вот и порыв. Матвей отыскал глазами отброшенный разрывом в сторону другой конец провода, собрал последние силы, добрался до него и начал соединять. Но руки не слушались. Они падали бессильно, а пальцы так занемели, что не чувствовали уже обжигающего провода, не подчинялись Матвею. «Не могу! — с отчаянием и тоской подумал он и, сжав в кулаке оба конца, затих. — Вот силы соберу, тогда».

Тут и нашёл Савинцева Коля Зверев, выбежавший на линию: по кошеннине тянулась кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним, в бороздке, скопилась кровавая лужица. Земля не успевала впитывать кровь. Коля схватился за пояс, но фляги не было. Тогда он вытащил из кармана огурчик, которым так великодушно угощал его давеча Матвей, раздавил и кашлицу сунул в плотно сжатый рот связиста. На губах Матвея насохли грязь, кровь, мякина. Было ясно, что Матвей кусал зубами стерню, когда обессиливал, но провода из рук не выпускал. Так через эту руку до сих пор и работала связь. Коля попытался разжать кулак Матвея, да куда там! Она будто закаменела — эта увесистая, привычная к тяжёлой работе кре-

стьянская рука. Матвей открыл глаза, точно в чём-то удостовериваясь, пристально и долго глядел на Колю, потом с трудом разжал пальцы, пошевелил запекшимися губами:

— На... — А ещё через минуту по-детски жалобно произнёс, скривив губы: — Худо мне, сынок...

Телефонист хоть и видел, что дела Матвея неважны, но, как умел, начал успокаивать. Говорил он обычные в таких случаях слова:

— Ранение пустяковое, и не с такими выживают, а ты мужик крепкий, сибиряк. Я вот тебя перебинтую, и порядок. В госпитале залечат. Знаешь, какая у нас медицина, будь спокоен.

Матвей поморщился:

— Не об этом я. Плохо, что фрицев прозевал... Сколько пехотинцев-то пострадало, поди. И всё этот снайпер проклятый...

— Да брось ты каркать на себя! И что это у вашего брата, деревенских, за привычка? — грубовато бубнил Коля, не переставая бинтовать живот Матвея и стараясь делать это так, чтобы тот не увидел раны. — За сегодняшнюю работу тебе сто благодарностей полагается, а ты вон чего городишь, — продолжал он отвлекать Савинцева разговорами.

Матвей покосился на него и тихо, но сурово сказал:

— Зря ты бинт переводишь и рану от меня прячешь зря. Как стукнуло, сразу понял, что каюк... — И, чувствуя, что времени остаётся мало, расходуя последние силы на то, чтобы говорить деловым тоном, он принялся распорядиться:

— Значит, напишешь домой всё как следует быть и всю мою последнюю заповедь исполнишь. — Коля хотел было возражать, но Матвей строго взглянул на него и слабеющим голосом, но обстоятельно, продолжал: — Стало быть, напишешь, погиб я в бою, честь по чести, чтобы Пелагея и земляки мои не сомневались. Та-ак. — Матвей замолк, задумался, и веки его начали склеиваться. Тогда он сделал над собой усилие и, точно боясь, что не успеет договорить, скороговоркой и уже со свистом добавил: — Напиши... сразу, мол, отошёл... не мучался... — И уже совсем тихо, роняя бессильную голову, прошептал: — Это пропиши обязательно!

Коля Зверев завыл и затопал ногами.

— Да какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться?! Ты есть сибиряк! Понятно?! И ты живой будешь! Понятно?!

Матвей приоткрыл печальные глаза, по-отечески снисходительно глянул на Колю:

— Эх, сынок, сынок! Поживёшь с моё, больше понимать будешь. Деревенские мы люди, привыкли, чтоб всё по порядку было, чтоб ничего не забыть в последний час... Э-э, где тебе понять! Прости, если словом обидел...

Потрескавшиеся губы Савинцева сомкнулись, а верхняя губа его запала под нижнюю. Тяжкая боль навалилась на человека, ломала его силу, выдавливала стон. На скулах обозначились желваки.

Коля спохватился, поднял грузного Матвея на плечи. Дивясь тому, что у него откуда-то взялось столько силы, Коля понёс Савинцева напрямик через кукурузу, подсолнухи и хлеба, к деревне. На губы Коли падали слезы, смешанные с потом. Он хотел их удержать — не мог, хотел дернуть рукавом по лицу — руки были заняты. Тогда Коля принялся сердито кричать:

— Деревенские мы... А мы, думаешь, кто?.. Я, может, сам. Я, может, пуще отца родного чту тебя... А ты... Эх ты... — И, чувствуя, что Матвей всё больше тяжелеет, обвисает на нём, он громко запричитал: — Слышишь, Мотя, не помирай!.. Слышишь, потерпи маленько...

Но Матвей ничего этого уже не слышал. Перед ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лились сухость и жара. Он совсем близко увидел колосок, похожий на светленькую бровь младшего сынишки. Он потянулся губами к этому колоску, но вместо колоска перед ним очутился сибирский цветок — жарок, похожий на яркий уголь. С цветка снялся пучеглазый кузнечик и с нарастающим треском помчался на Матвея. Вот он затрещал, как лобогрейка, потом, как трактор, потом, как самолёт. Он гремел, надвигался, давил, подминал и обрушивался тяжким ударом на голову. Мир раскололся от яркой молнии пополам, образовав огромную чёрную щель. В щель эту сначала огоньком, затем раскалённым шариком и, наконец, маленькой искоркой летел Матвей Савинцев, пока не угас.

Земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом.

Ягоды для папы*

Дочка моя заболела и чуть не умерла, когда я был в долгом отсутствии. Учился в Москве аж два года на писателя.

Мне ничего не сообщали о её болезни, и, когда я вернулся домой, девочка на девятом году предстала передо мной бледной, несколько погасшей и со взрослой печалью в глазах.

От роду она была человеком резвым, подвижным, весёлым, но, как оказалось вскоре, — ревматическая атака укрощала и не таких бойких людей, многих больных сводила в гроб.

Родилась она в сорок восьмом году. Жили мы скудно и неотлаженно, однако духом не падали, нам с женою казалось, хоть и трудно, вполне мы справлялись со своей жизнью. Только дитя, первые годы возраставши в холодной избушке, со скудной едой и в не всегда обиходном догляде, часто простывало, кашляло, долго колесило на кривых ногах.

Но постепенно всё выровнялось: и жильё, и быт, и пропитанье — девица пошла в садик и всё ждала, всё требовала, чтобы её не водили за руку, а пустили бы самостоятельно в поход, под гору. Но детский садик находился сразу же за железнодорожной линией, и долго наша девица ждала решения на самостоятельный поход. Много с нею было приключений и домашних содомов, долго её приходилось унимать от излишней строптивости и укрощать её резвый нрав. Я, когда позволяло время, играл с детьми, подросли, начал таскать их в лес и на природу, к реке.

Сказалась наша нескладная, полуголодная жизнь на ребёнке. Чувство родительского бессилия заставило меня уделять внимание детям больше, а их уже было трое — сын, дочь и племянник жены, при рождении ещё потерявший мать и с годами оставшийся без дедушки и бабушки. Впереди у него маячил детдом, но я, бывший детдомовец, удручённый и униженный этим заведением, восстал: «Какой ещё детдом? Будем садить лишний загон картошки и как-нибудь проживём».

И жили, и не особенно тужили, хотя и мы, и дети нуждались, да не роптали, как-то совместно боролись за существование, справлялись с недостатками, как я впоследствии называл казённым словом в казённой газете сии обстоятельства.

— Ничего, орлы, держите хвост пистолетом, летом мы поплывём по реке Чусовой.

Как они ждали этого лета! Из них, настырных и непослушных, можно было верёвки вить. Они даже в учёбе подтянулись и наперебой несли мне в комнату табеля за четверть.

И вот наступило долгожданное лето, матери дали отпуск, я уже был свободным художником. Собрали мы в мешки сподручные вещи и пред-

* Астафьев В. П. «Пролётный гусь»: рассказы, затеси, воспоминания / послесл. В. Курбатова. — Иркутск: Издат. Группа Вектор, 2001. — С. 67-84.

меты обиходного порядка, договорились с соседом, постоянным моим спутником по рыбалке и охоте Галимулой Хайруллиным, чтобы он вышел на моторной лодке нам навстречу, сами поехали поездом на станцию Кын.

Добрались мы до Кына благополучно, выгрузились, никого и ничего не потеряв. Я уже бывал на этой станции, ходил до посёлка и оттуда спускался по реке Чусовой до дома. Идти до посёлка пятнадцать вёрст тележной дорогой, и на ночь глядя я не насмелился вести свою компанию к намеченной цели. Решили перекоротать ночь в вокзале демидовских времён, шибко уже изопревшим, пьяно посунувшемся в сторону широкого, не раз чинёного деревянного крыльца.

В вокзале былолюдно и тесно — произошла очередная амнистия в арестантских лагерях, недавно закончился лесозаготовительный сезон, начались отпуска и наступило обычное летнее столпотворение на железной дороге. Ни лечь, ни сесть было негде, чёрный от грязи пол был устелен спящими телами. Наиболее живучие компании и выпивохи ещё гуляли, дуя дешёвое вино. Мат клубился по непродышливому воздуху, непрерывный, громкий, делая вольную вокзальную атмосферу ещё вольней и неунывной. «Куда ты нас привёз? Какой природой угощаешь?» — взыскующе смотрела на меня жена. Я предложил семейству выйти на крыльцо и попробовать перекоротать короткую летнюю ночь на вольном воздухе. Но ближе к утру сделалось зябко, да и племяш узрел в зале ожидания полуосвободившуюся скамейку.

Мы вернулись в вокзал и, подстелив под дочку плащ, уложили её и накрыли старой шалью, уже мною прожжённую у костра иль у печки и украшенную голубыми заплатами, в которых почти не угадывались остатки тёплых исподних штанов моей жены. Она сидела, приобняв дочку, и легонько, устало баюкала её рукою. Мужики ж, зная свою суровую долю, терпели время на ногах.

Вокзал был наполнен храпом, вонью, испуганными, воинственно сонными выкриками. Лишь один тонкошей человек, со сплюсненной головой, украшенной со лба белёсой чёлкой, раскачивался в другом конце нашей скамьи и, закрыв глаза, рассказывал в пространство о своей жизни. Сейчас подобного рода разговорами никого не удивишь, мы давно решили, что все мы про всё знаем, и от того знания ни облегчения, ни просветления в жизни русских людей не произошло. А тогда только что из лагерей освободившийся человек говорил такое, что один мужик, устремлённый на улицу по нужде, мимоходом ему бросил: «Не болтай! Снова посадят». — «А пушай садят, мне всё одно некуда и не к кому ехать».

Я вывел сына и племяша — «покурить» — не все знания детям полезны. Вот уж вырастут, сами узнают подробности нашей доблестной жизни.



*В. П. Астафьев с детьми
Ириной и Андреем, 1952 г.
(фото из фонда Литературного
музея В. П. Астафьева)*



Лишь только забрезжил за горами рассвет, я вывел свою компанию со станции. Когда мы миновали половину пути-дороги, нас нагнала старая полуторка, и шофёр тормознул возле нас. Я побросал манатки в битый, выдавший виды кузов, сам сел в кабину, поместив дочку между колен, и она сразу же припала ко мне и уснула, не глядя на ухабистую, тряскую дорогу. Главной моей целью было узнать, продаёт ли лодки старый зимогор Архипыч и, если продаёт, то за сколько. Оказалось, лодки продаёт не один Архипыч, знакомый мне по прошлому приезду, но и многие мужики промышляют этим древним-предревним делом.

Река Чусовая берёт начало где-то в Свердловской области, и она единственная, прорезавшая Уральский хребет, во время бурного ледохода несёт сверху много всякого добра — брёвен, плах, иной раз, словно мячиком играя, подкидывает наверх прошлогодние скирды сена, нужники с приветливо открытыми дверями, собачьи конуры, бревенчатые стайки, а то и целиком барак тащит, ломает трубы и мачты с радиоантеннами.

Конечно же, как и повсюду в России, прибрежное население не дремало в такую добычливую пору, баграми выдёргивало брёвна, доски, и порой с риском для жизни кыновцы выгребали изо льда оторванные где-то, беспризорно несомые рекой лодки.

Возле посёлка Кын Чусовая идёт навально и много выталкивает на берег льда, хламу, случается, и собаку, и лису, и зайца косоного к берегу прибить. Один раз, сказал Архипыч, коня с саними, целую леспромхозовскую подводку, гружёную ящиками с вином, принесло! Ну уж и попиروвали тогда кыновские мужики, лошадь и сани вернули потом леспромхозу в целостности-сохранности. Тут, я думаю, Архипыч, как и всякий прибрежный житель склонный к мечтаниям, выдавал желаемое за действительное. Конь и сани вполне могли случиться, но вот ящики с водкой — это уже чересчур, это уж такое чудо, которого от сотворения земли и хребта Уральского не происходило.

Солнце уже хорошо грело, артелька моя расположилась за прибрежным огородом, я пошёл к Архипычу и скоро нашёл его на берегу реки. Он как раз досмаливал починённую лодку, обрадовался мне, как утреннему солнечному явлению, потому как знал, что под плащиком, в боковом кармане, у меня таился телом согретый бутылёк, совет у нас пойдёт деловой и заправдашний.

За два года моего московского отсутствия Архипыч нисколько не изменился. Он уже, как обомшелый пень, вошёл в нетленную пору, не поддающуюся времени. И только трясся бородёнкой, сплошь обметавшей лицо до бровей и ушей, говорил, что вино уж не пьёт, но жевать маленько жуёт. Такса его за лодку не претерпела особых изменений. Раньше Архипыч брал сто рублей за лодку, ныне, уважая государственную реформу, десять, я ещё ему сверх десятки на самый уж верх уместил пачку сигарет «Прима» — для зятя, кулёчек леденцов — внучке.

— Да эть, ей, Петрович, уж семнадцать годиков стукнуло, она уж больше по другой сласти спец. Ну всё одно спасибо. Дай тебе Бог здоровья, хорошего, благополучного путешествия по реке и, вопше, чтоб вёсла не тесать, добавь трояк — я те и вёсла спворю, и шест лёхкий.

И мы уж через полчаса отчалили из посёлка Кын, когда-то, при Демидове, имевшего здесь чугуноплавильную доменку и пруд, большой пруд, древний, его и вымыло, уронив запруду. Белокаменная церковь, конечно, неработающая, с продырявленным верхом, из которого тонкой спичкой торчал остов от снятого креста, издали видная, много-много домов, большей частью полуторазэтажных — низ кирпичный, верх рубленый. Давно уж остыла здесь домна, и признаков её не осталось, посёлок погрузился в дикие заросли крапивы, конопли и всякой прочей дурнины, в зарослях он съёжился, где и рассыпался. У него сделалось много окраин.

Река Чусовая в этих местах быстрая, нас подхватило течением, и я сказал ребятам:

— Вот теперь можете ложиться спать. Постелите на дно лодки палатку, бросьте одежонку и отдавай чалку.

Но ребята взбодрились от утренней и речной прохлады, залюбовались красивыми скальными берегами, лесом, задиристо выскочившим на обрывы, кое-где и к воде разрозненно спустившимся. Лишь жена, черпнув из-за борта кружкой светлой воды, пожевала ломтик хлеба и прилегла на подстилку, сложив лодочкой руки под щекой. Я приложил палец к губам, и боевая компания притихла, не кричала уже: «Вон-вон посмотрите-ка! Папа, что за птица кружится над нами? А что за зверёк бежал по берегу и за камни занырнул?».

Нам предстояло плыть и отдыхать не менее пяти суток, и где-то уже шёл на моторной лодке навстречу мой закадычный друг Галимула. Будучи породы и нации упрямой, с древности наступательной, он никаких поворотов и изгибов речных не признавал, пёр напропалую и потому часто срывал шпонки, иной раз и винт ломал на подводных камнях, потому и подниматься ему предстояло долго.

Мы рассчитывали встретиться с ним через двое суток, ждали его в устье речки Бисер, и когда услышали звон мотора, затем и лодку узрели, все заорали и запрыгали, как туземцы на необитаемом острове среди океана, увидев чудо-корабль.

Биография Галимулы была проста, но полна героизма. Во время войны он поступил на металлургический завод в один из вспомогательных цехов. Было ему тогда четырнадцать лет, и он жаждал обучиться на слесаря, а там уж как-нибудь достичь вершины своей мечты — овладеть электросварочным ремеслом. Не успел. Открывал какой-то газовый баллон, со свистом вылетевшей пробкой ему выбило левый глаз. Чтобы не увели-

*Астафьев — рыбак и ярый охотник с закадычным другом Галимулой Хайруллиным (слева).
Фото из фонда Литературного музея В. П. Астафьева*



чивать показатели травматизма на заводе и не отвечать за увечье несовершеннолетнего человека, мудрые руководители предприятия предложили ему восемьсот пятьдесят рублей отходных, и он, не выдавший сроду таких огромных денег, позарился на них и тут же был выдвинут за проходную за вода.

Долго он искал работу и, наконец, оказался там, куда брали всех, у кого были и руки, и ноги, желательны крепкие — на средний ремонт в вагонное депо. Я в ту пору мучил в депо дерево и себя, обучаясь на вагонного плотника. Там мы и сошлись. Жил он через два дома от нас, с отцом и матерью. Младшего его брата уже успели упрятать в тюрьму за прелюбодеяние, совершённое после службы в армии. Отец Галимулы втихаря справлял обязанности муллы, мать была с одной ногой, передвигалась с костылём, но дом и хозяйство содержала обиходно. Со временем главари в семье были обязаны Галимула и укротил отца, который иногда поднимал руку на мать.

Соседство, общность охотничье-рыбачьих интересов и то, что на двоих у нас было два зрячих глаза, надолго сдружили нас. Стреляли мы оба с разных плеч, — он с правого, я с левого, стреляли оба худо — и это тоже сближало. Со временем я перешёл работать в местную газету, и в складчину с Галимулой мы купили лодку и мотор. В моторах и в разных технических предметах я и раньше ничего не понимал, а ныне тем более отстал от гигантски шагающего прогресса. Хватили мы горя с теми моторами разной марки, но одинаково плохого отечественного производства, приключений в тайге и на трёх реках, что стекаются к подножию гор, окружающих затрапезный, дымный городишко Чусовой, издали столько, что рассказ о них занял бы отдельную книгу.

По ту и другую сторону устья речки Бисер были сенокосы, в ту пору всё в спелости, пестряди цветов, и лишь само устье, да и ближайшие изгибы шустрой горной речки были мягко обвиты кучерявыми кустами, тальником, на самом бурном выходе резво гремящей речки возносилась горстка тополей и осин с подмытыми кореньями; и к ним жался черёмушник, ольховник, вербы, и застенчивым белым прочерком светилось несколько берёзок.

Ткнувшись в травяной, цветущий берег лодкой с умолкшим на корме новым мотором «Байкал», Галимула приветливо посверкал нам стеклянным глазом и, улыбнувшись, ласково погладил горячий мотор ладонью — вот это, мол, машина так машина! Говорил он редко и мало, что меня вполне устраивало, так как к этой поре я уже в качестве писателя выступал аж в Перми, тройку книжонок издал, потому и делал вид, что мысль моя работает напряжённо и беспрестанно, будто мельничный жернов, и художественные мои поползновения не терпят ни суеты, ни гомона.

Повелевши деткам вычерпать из лодки воду, я схватил спиннинг и устремился вслед за Галимулой, который уже обхлёстывал блесной омуток, выбитый речкой Бисер в лоне принявшей его в объятия мамы Чусовой. И хорошо, что омуток тот был неподалёку. Не успел я отойти, как сзади послышалось: «Вот папа говорил! Говорил папа! Утонете, так будете знать...».

Это дочка, стоя на берегу, тыкала вслед уплывающей лодке и выдавала парням назидания. Крикнув: «Генка, скорей!», — я бросился бежать во след лодке, на берегу выдавая громкие наставления: «Веслом! Шестом! К левому берегу! К левому берегу!». Беда была в том, что ниже устья речки Бисер, по-за этим прибрежным ласковым лужком круто, прямо в воду спустились скалы, те самые бойцы, теснясь по всей реке то слева, то справа, увековеченные Маминым-Сибиряком, и где перетонуло всякого народу видимо-невидимо, мои орлы ещё малы и лодкой управлять не научены. Они бестолково хлопали веслом и шестом по воде, их неумолимо тащило, но скоро и помчит на торчащие из воды, хрипло рычашие, в пену сбивающие воду, камни. Самое страшное было на исходе неровной стеной теснящихся скал. Там, под ними, был выбит водою унырок, и в него как-то безвольно, согласно скатывалась река и вылетала из-под каменной скалы уже бурно кипящей, с клёкотом, шумом, несмолкающим эхом, разносящимся по утёсам.

Лодка, считая из досок, этот объёмистый шитик, была неустойчива, ещё крепка, на камнях может и не опрокинуться, но если её затянет под каменную стремнину... Бежать дальше было некуда — скалы, орать бесполезно — шум и гром воды. Парнишки были обречены...

И в это время, звеня новым мотором, пронеслась мимо меня лодка Галимулки — под доглядом Бога родились парни. Новый мотор завёлся с первого рывка, обычно напарник мой на процедуру оживления мотора тратил не менее получаса. Притащил Галимулка лодку на поводке. В лодке не на беседке, прямо в мокре на дне, горбились бледные и виноватые парни. Мать, держась за сердце, проливая себе на подбородок и на грудь воду, пила из кружки; затем отпоила перепуганную дочку, так до конца и не осознавшую всего, что только вот произошло.

Когда парни вылезли из лодки на берег, предварительно завязав чалку, чего раньше всё забывали делать, да ещё и баловались в лодке, я им обоим отвесил по крепкому поджопнику. Чтобы племяш жены не считал себя неродным, ему, как старшему, хотел добавить ещё один, но на это у меня уже не хватило сил.

— Убирайтесь в палатку! — гаркнул я. Парни быстренько влезли в палатку, застегнулись и до вечера оттуда не вылезали, дочка всё их пилила: — Вам папа говорил... А вы что? — Из палатки молчок.

Была радостная предпокосная пора, рыба брала плохо, но на уху мы всё равно надёргали, и уж при звёздах я кликнул парней.

— Жрать идите. А то не утопли, так с голоду околеете.

Почувяв, что папа «отошёл» и на стане полный покой, парни вылезли наружу и сначала застенчиво, но потом всё ударней бренчали ложками в котелке.

Дальше плыли мы хорошо, весело. Парни больше ослушиваться не смели, бойко дёргали удочками пескарей, гальянов, сорожонку, где ельчишек, мы с Галимулой хлестали реку вдоль и поперёк. Гонялась за блесной страшная, величиной с полено щука. Но гонялась, балуя, взбурив воду возле лодки, рыба уходила от нас, а от неё в разные стороны в панике разлеталось речное население, щуке было весело, упивалась она своей властью. Ночью под скалами хлестался и буйствовал таймень, тогда ещё во множестве водившийся в Чусовой, но на искусственного мыша мы ещё не умели рыбачить, блесны же он не брал.

Где-то на трети или четвёртые сутки вода в реке Чусовой начала стремительно прибывать и мутиться, значит, в верховьях её прошли, может, ещё и идут, дожди. Гибель всему в реке наступает: там, затерянный в горах стоит заводик под названием Хромпик и спускает в реку какую-то гадость. Светловодная рыба: хариус, таймень, елец, вслед за ними и пескарь, и гальян — устремляются в притоки, слава Богу, многочисленные здесь.

Рыбалка кончилась. Праздно жить и отдыхать никто из нас не умел, и мы погреблись домой. Я на лопашнях, племяш на корме. Галимулка, ошалевший от счастья, без причин и надобности носился взад-вперёд по реке на новом моторе, усмиряясь у нашего стана лишь поздним вечером.

Вот и речка Кутамыш, последняя перед домом наша ночёвка. Ребята загорели, носы у них пооблупились, спят ночью крепко, не глядя на всё более звереющего комара...

Рано поутру я пошёл по устью Кутамыша — пошукать хариуса, которого, слышал я, тут велось видимо-невидимо. Никакого хариуса я не обнаружил в устье, весь он поднялся в верховья речки. Зато у подножия белёсой обрубленной горы на смытой с уклона скатанной валиком земле обнаружил я полосы спелой земляники. Щипая ягоды, чуть взнялся в косогор и увидел, что пень будто в красном венце земляники.

Кутамышский мыс был когда-то облесён со всех сторон. Но нашествие передовых лесозаготовителей счистило всякую растительность с гор и даже с Уральского хребта, вышло на последние рубежи, в тылы — к рекам и начало полосовать водоохранную зону.

Не везде тут горы подобны кутамышскому выносу, деревья, в основном сосны, качались, шумели, справляли какой-то, нам неведомый, шабаш на скалах и меж каменных обвалов. К ним ни с какой стороны не подобраться. И тогда какой-то русский патриот и умелец, пошевелив мозгой, придумал зимою ставить на лёд лебёдки и тянуть тросы к этим редко стоящим, весело на обдуве чувствующим себя деревьям. Уж очень вольно и независимо бытуют они на земле, где все зависимы и могут быть в любое время подсечены, свалены и куда-то свезены. Петлю на них, на эту наскаль-

ную вольницу. Что ж, что из тысячи тысяч на камнях выживает одно дерево с изверченными ветром лапами-ветвями, вон же в расщелинах чернеют подмытые водой, уронённые ветром остовы деревьев, пожива пожаров, эти ж стоят, понимаешь, красуются, будто дразнятся. Деревья петлёю сдергивали вниз — человек же царь природы! Советский человек ещё и творец разных чудес. Из десятка стволов до льда долетало одно-два дерева, остальные ломались о скалы, застревали в камнях, но и то, что было спущено лебёдкой и подтянуто на лёд, бывало избито, переломано. Однако ж бревёшко и пара спилов на рудстойку всё же вырезались.

По всей реке полыхали костры — жгли так называемые отходы, пропаривая лёд до полыней — начальство леспромхозов и достославного комбината «Чусовлес», привыкшее жульничать и властвовать на вверенных ему просторах, прятало концы в воду, понимая, что ведут они заготовки леса, промышляют свою зарплату и премии преступным путём.

Мы в газетке нашей подняли хай. Его подхватили и областные газеты, кого-то присылали с проверкой — всё писаное подтверждалось. Начальника участка, пиратничающего на реке, сняли с работы, директору леспромхоза ввалили строгий выговор и перевели его в другие места. Директору комбината поставили на вид — он же не нарочно хряпал лес со скал, он выполнял государственный план по заготовке древесины, так необходимой Родине.

Поскольку я «вёл» в газете транспорт и лес, то больше всех и свирепствовал, защищая родную природу, и со скрипом, с большой неохотой в водоохранной зоне перестали рубить лес и, тем более, тащить его стальной петлёй за горло в костёр, потому как отходов случалось больше, чем деловой древесины.

Вот и кутамышский мыс остался наполовину лысый, наполовину облесённый, будто парикмахера вдруг позвали на обед или на пир в честь победы в социалистическом соревновании и он забыл вернуться обратно и достричь эту смирную древнюю гору. На самом мысу и на плешивой его половине смывало землю, обнажая серый камешник. За пеньями-кореньями да за камнями и вдоль устья речки намывало землицу, и на ней, празднично краснея, росла самая российская из всех ягод — земляника, в праздничные ленты наряжая ограбленную, оскорблённую и униженную человеком величественную гору.

Зная нрав моей жены, заядлой ягодницы, которая только и поживилась в пути ведёрком смородины с прозеленью, набранной в устье Бисера, я спустился на берег, к стану, показал жене ягодный косогор. Она взяла стеклянную литровую банку, дочке дала алюминиевую кружку. Я их остановил и, ополоскав почти ведёрную эмалированную кастрюлю, велел её взять с собой. Жена поинтересовалась, зачем, а я, тайно радуясь за ягодниц, ответил: «На всякий случай».

Занимаясь хозяйством, я то и дело поглядывал в сторону серого каменистого мыса, где, рассыпавшись маленьким стадом, паслись-ягодничали мои овечки. Племяш остался со мной — учился работать со спиннингом, сделал огромную бороду и пусть под редким, но едким комаром распутывал леску, ворча под нос уличные ругательства. Вода в реке всё прибывала, и я уже раза

два напоминал ему, чтобы он поддёрнул лодку повыше на берег. «Ладно, потом», — отмахивался он от меня и от комаров одновременно. Роясь в палатке, я вдруг услышал панический голос:

— Дядя Витя, лодку понесло!

Я выпутался из палатки и увидел, что лодку уже крутило почти на стремнине, но стояли мы напротив скальных обвалов. Река, усиленная потоками Кутамыша, делала кривуль, и лодку должно было затащить в полузатопленные кусты.

— Догоняй! Чего стоишь?

Племяш бросился со всех ног вслед лодке, настиг её скоро, но лодка, приликая к густо торчащим пикам тальников, высунувшимся из воды, прошуршав на них, пригнала густую поросль и плыла вдаль, вертясь на течении и покачиваясь. опередив лодку, подросток бросился в воду наперерез ей и, подплыв к лодке, схватился за её борт, затем с грохотом перевалился в шитик.

Таёжная и речная наука сурова, но справедлива. Меня мой папа учил на такой же реке, как Чусовая, под названием Мана, ходить на шесте очень доступно и понятно. «Во-он на той стороне видишь белый камень?» — «Вижу», — говорю. «Вот если тебя снесёт ниже этого камня, я обломаю об тебя шест». Река стремительная, горная, и меня, конечно же, снесло ниже белого камня. Я поплыл обратно, а на берегу, подбоченясь, ждёт меня папа, и я снова ринулся к другому берегу. Так повторялось разочков пять, и меня с лодкой утащило чуть ли тоже не на вёрст пять. И толкаясь шестом обратно, я плакал, ругался, шестом бил реку, но в лодке ходить с шестом научился. Шёл мне в ту пору десятый год, племяшу завалило на тринадцатый, и парнишка он был крепкий, но лодка у него была потяжелее, река всё более дурела от прибыли воды.

Первый раз он доскрёбся только до кустов, его развернуло и понесло, но он не дал течению умчать себя далеко, пристал к берегу, передохнул и снова пошёл на шторм реки, но на этот раз он поднялся выше, лодку снова развернуло и понесло. Я видел, что он плачет, ну ничего, ничего, прорвётся, злее будет и впредь к реке относиться станет почтительней. Происшествие-то возле речки Бисер он забыл. Что с него возьмёшь? Подросток. Меня подмывало пожалеть его, помочь, но я сдержался. Раз на пятый или десятый он всё же поднял лодку до стана и выдернул её так далеко и высоко, насколько хватило его ещё невеликих сил. Сияя глазами, гордясь собою, он с ликованием сообщил:

— Дядя Витя! А лодку-то я поднял, на шесте ходить научился!

— Ну вот и молодец! Теперь переоденься в сухое и ступай к ягодникам, во-он они на косогоре ягоды берут. Там змеи в камнях водятся. Ты же старший и должен быть с ними, я тем временем бороду на катушке разберу, но если впредь будешь обращаться со спиннингом по-дурному, сам и распутывать будешь...

— Ур-ра-а! Мирово!! — закричал ликующий парняга и перевернулся на руки через голову. — А ружьё дашь?

— Зачем оно тебе?

— Н-ну мало ли чего, медведь или что...

— Ступай, ступай, медвежатник, — по возможности дружелюбно сказал я ему, и он помчался к артельке ягодников.

Солнечный, всё ещё ясный день клонился к вечеру. Над скалами и за горным перевалом начали кучиться облака, когда ягодники мои спустились к стану. Мать с дочерью несли кастрюлю, прикрытую лопухами, перевязью служил белый платок, снятый с головы жены.

— Я сама, сама! — торопливо говорила дочка, растягивая зубами узел платка, и, когда управилась с этой работой, сбросила лопухи, с придыханием сказала:

— Папа, смотри!

Ах, какое это было зрелище! В белой кастрюле, до верху наполненной, сияла ягода в золотом крапе, исходящими соком белыми доньшками, и давний, с детства приученный ягодник, я не удержался и восхищённо сказал:

— Вот это да-а!

И тут дочка, движимая чувством восторга и радости от своего труда, внезапно ляпнула:

— Это я набрала, папа!

Бледная, с выступившим крапом пота над верхней губой и на лбу — нельзя ей после такой сокрушительной болезни долго и много наклоняться, земляника же — поклонная ягода.

— Ну ты и молодец! А мама-то помогала?

— Мама только две кружки, остальное всё я набрала.

Жена за спиной дочки, держа за ободок полную стеклянную банку ягод, маячила мне, мол, соглашайся, соглашайся и, чтоб всем было слышно, поддакнула:

— Уж такая зоркая, такая зоркая да старательная — к пеньку припадёт и, пока вокруг него всё не выберет подчистую, не отступится. И ведь ягоды-то ей сами приваливают — одна другой крупнее.

— А парни?

— Парни только баловались вместо того, чтобы брать, ели ягоды, — осудила братанов девчушка и нетерпеливо спросила: — Мама, мама, где кружка-то?

Мать в протянутые ладони дочери высыпала из кружки ягоды, самые крупные, самые спелые, уже тёмно-красного, почти вишнёвого цвета.

Дочка с трепетом протянула лодочкой сложенные ладони ко мне:

— А это тебе, папа, это мы все набрали.

Я принял ягоды и уткнулся в них лицом. Ах ты, Боже мой, как слабо слово и перо, чтобы выразить и мои чувства, и запах ягод, который я вдохнул. Чем они пахли, эти ягоды, всюду по России растущие, и здесь, на старых недорубах, одарившие радостью мою родную артель? Если есть запах у зари, то пахли они более всего зарёй, утренней, алой, тихо сияющей. Если может пахнуть летняя земля, они впитали от неё самые тонкие, самые откровенные и всё же чуть притаённые ароматы, среди которых ощутимее всех доно-

сило тающим снегом. Этакий тихий весенний вздох. А ещё они пахли всякой земной травкой, всякой былинкой, всем, что жило, цвело и пело под летним солнцем в этом Богом нам подаренном мире.

Что редко велось в нашей семье, ведомой едва выжившим на войне сибиряком, я поцеловал девочку в голову с прилипшими к волосам травинками, велел ей забрести в реку, хорошо умыться и лезть в палатку, в холодок — отдыхать. Когда я минут через пятнадцать заглянул в палатку, девочка, сложив обе руки под щекой, сладко, умиротворённо спала, приоткрыв рот с землянично алеющими губами. Я не велел будить её на ужин, и она проспала до утра под шорох всё же догнавшего нас дождя.

Вечером мы уже были дома.

В трудное время родилась моя дочь, трудную жизнь прожила, подзапутав её сама и хватив полной мерой извращенной жизни в Стране Советов. От неудачного замужества остались на наших руках её малые дети, но сама она умерла во сне, не мучаясь. Остановилось подорванное в детстве сердце.

В Сибирь из Вологды она с нами не поехала, желая таким образом хоть в старости облегчить наши дни. В Сибирь я привёз её в цинковом гробу, чуть и сам не отдав Богу душу. Много всякой всячины навалилось на дочь, наша доблестная жизнь всякое, даже крепкое здоровье, любое сердце изнашивает. Работала она регистратором в отделе писем областной газеты, получая зарплату меньше, чем работница-уборщица. Мы с матерью помогали ей чем могли, мать протоптала свою тропу на почту. Это были годы, когда из многих городов русские люди ездили в Москву за продуктами. Ездила и моя дочь, когда могла. И как я её представляю на Ярославском вокзале с неподъёмными сумками, так и мне, и матери делается плохо.

Но что об этом говорить, что хвастаться тем, какие все мы пережили трудности и лишения, да ещё и гордятся иные из русских людей, вот они какие непоколебимые, вот какие герои.

Я не об этом, я о том, как, бывая на кладбище, где под берёзами уже тринадцать лет покоится дочь, и покидая её, всякий раз чувствую себя предателем, как, наверное, и все родители, пережившие детей своих, испытывают те же самые чувства. Когда она остаётся летом под травой, под шумящим листом берёз, зимою под белым ли зимним снегом, укрывшим её холмик, немного легче и покойней на душе, но в позднюю осеннюю слякоть, когда сквозь мокрую плёнку серого снега видна тлелая земля, торчат какие-то былинки из могилы, старые, сплошь серые, блёклые могильные цветы заброшенно лохматятся поверху, мне нестерпимо хочется зарыться в землю, лечь рядом с дочерью и хоть немножко, хоть чуть-чуть согреть её собою, как грел я её когда-то маленькую в холодной избушке, если она сонная закатывалась под мой бок.

Но когда бы, в какие времена и дни, в погожие или хмарные, ни стоял над могилкой дочери, явственно вижу протянутые ко мне детские ладошки с пригоршнею спелой земляники и слышу её голос:

— Папа, а это тебе.

Военные и государственные награды. Литературные премии

Военные награды:

25 ноября 1943 г. Награждён медалью «За отвагу».

21 апреля 1944 г. Награждён орденом Красной Звезды.



В. П. Астафьев, 1945 г.

Государственные награды:

2 июля 1971 г. Указом президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской культуры, литературы, искусства, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся и успешное выполнение заданий пятилетнего плана награждён орденом Трудового Красного Знамени.

25 апреля 1974 г. Указом президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием со дня рождения награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени.

7 августа 1981 г. Указом президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской культуры, литературы, искусства, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся и успешное выполнение заданий десятого пятилетнего плана награждён орденом Дружбы народов.

29 апреля 1984 г. Указом президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 60-летием со дня рождения награждён третьим орденом Трудового Красного Знамени.

21 августа 1989 г. Указом президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

28 апреля 1999 г. Указом Президента РФ за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

18 января 2001 г. Полномочный представитель Президента РФ Л. Драчевский вручил писателю Золотой почётный знак «Общественное признание».





Литературные премии:

23 декабря 1975 г. За повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» присуждена Государственная премия РСФСР им. М. Горького.

19 октября 1978 г. За повествование в рассказах «Царь-рыба» присуждена Государственная премия СССР.

Декабрь 1986 г. Присуждена премия журнала «Октябрь» 1986 года за роман «Печальный детектив».

11 декабря 1991 г. Указом Президента СССР за повесть «Зрячий посох» награждён Государственной премией СССР.

Декабрь 1994 г. За выдающийся вклад в отечественную литературу присуждена Российская независимая премия «Триумф».

27 мая 1996 г. Указом Президента РФ за роман «Прокляты и убиты» присуждена Государственная премия Российской Федерации.

Май 1997 г. За выдающийся вклад в русскую литературу присуждена Международная Пушкинская премия, учреждённая немецким Фондом имени Альфреда Топфера (Гамбург).

Ноябрь 1997 г. Присуждена премия «За честь и достоинство таланта» Международного литфонда.

Март 1998 г. За повесть «Весёлый солдат» присуждена премия имени Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности.

2009 г. В. П. Астафьеву посмертно присуждена премия Александра Солженицына: «Виктору Петровичу Астафьеву — писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека».

В. П. Астафьев о Чусовом

...Надо помнить, что никто не поднесёт вам место в литературе и право на слово, на свой стиль. Всего этого я добился своим трудом, настойчивостью. Приходилось много учиться, даже грамоте. Я ведь в прошлом — простой чусовской рабочий.

(из интервью)

Отрывки из писем*

5 июля 1959 г.,
г. Чусовой
(П. В. Чацкому)

...Город наш очень дымный, чёрный и неблагоустроенный, но стоит в очень живописных местах. Здесь сливаются три реки: Вильва впадает в Усьву, а Усьва — в Чусовую. Город в основном расположен на стрелке и за реками.

У нас большой металлургический завод, крупный железнодорожный узел. Богатый историей и промышленностью пригород. Здесь всё есть: алмазы, цемент, руда, уголь, лес, сельское хозяйство, ферросплавное производство, рыбалка, охота и многое, многое другое.

Сам я рыбак и ярый охотник. Много брожу. Леса здешние и округу знаю отлично. Все реки проплыл и обходил. Красота на них не поддаётся описанию. Так что я богатый человек. Темы и замыслы меня одолевают постоянно.

*Астафьев В. П. «Нет мне ответа...». Эпистолярный дневник 1952-2001 / сост. Г. Сапронов; худож. С. Эляян. — 2-е изд., доп. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. — 750 с.: ил., фото.

28 ноября 1976 г.,
г. Вологда
(В. Я. Курбатову)

Дорогой Валентин!

...Какое-то наитие. Днём был в молодёжной газете, что-то разговорился о Чусовом и проговорил почти полдня, тут только и обнаружив, как ярко отпечатался и город, и время, в нём прожитое... А ещё говорим: «благодарность», «неблагодарность»... По отношению к Чусовому мне в пору петь: «Мне б надо Вас возненавидеть, а я, безумец, Вас люблю!..».

14 апреля 1979 г.
(М. Шламову)

...Осенью 45-го года женился в нестроевой части на военной девушке, да и поехал на её родину жить, на Урал, в город Чусовой. И прожили мы там 18 лет и хватили горя и нужды по ноздри. Но молодость была, и мы всё перебороли, вырастили трёх детей, сейчас уж дважды дед и бабка. Писать я начал в 1951 году, с тех пор этим делом и занимаюсь. После войны работал на всяких работах, и на тяжёлых, и на грязных. Как начал писать, взяли на работу в газету, потом на радио. В 1959-1961 годах учился на Высших лит. курсах. После курсов восемь лет жил в Перми, затем переехал в Вологду.

20 марта 1980 г.
(В. Я. Курбатову)

...В Чусовом чё заснимешь — всё нам дорого, присылай.

16 апреля 1983 г.
(В. Я. Курбатову)

...Прочёл я все материалы, какие попали на глаза, — о Рафаэле, даже Пистунову прочёл, хотя и не терплю её, но и она в этот раз не о своей только умственности писала, но и о художнике тоже, и совсем неплохо. Зато ты писал с блеском, никого не повторив, никого не потревожив цитатами, и в конце статьи так, видно, горел и волновался, что это передаётся и читателю, во всяком случае передалось мне. Я, как всегда, от восторга чувств

побежал на кухню к Мане и очень тебя хвалил и рекомендовал, чуть было в слезу её не вбил, поскольку напирал на земляческие чувства и говорил, что русская земля — не только Платонов и Невтонов, и вождей может рожать, но вот изсилится и на каменной чусовской природе взрастила Курбатова!..

22 августа 1983 г.,
с. Овсянка
(В. Я. Курбатову)

...Надеюсь, что зимой или ближе к весне позову тебя прочесть более или менее прибранную третью книгу под названием «Весёлый солдат», где будет и Чусовой, и все прелести, связанные с ним.

А Марья моя Семёновна вдруг весной затосковала о Чусовом, нос повесила, говорит и говорит каждый день воспоминанья, и я уж сказал ей: «Ну съезди, иного способа от тоски избавиться нет». Но я ещё после тяжёлой болезни хандрил, плохо себя чувствовал, и она не решалась меня оставить, перемаялась, и я ей пообещал, что зимою или весною мы сделаем турне по Уралу и непременно уж посетим родные могилки в Чусовом. Ей ведь только на могилках побывать, и она успокоится.

23 июня 1984 г.,
с. Овсянка
(В. Я. Курбатову)

...О Чусовом ничего не пишу. Лучше поговорить. Очень грустная и сладкая тоска о нём в сердце.

12 октября 1986 г.
(В. Я. Курбатову)

...А мне что уж, куда уж? Более 10 страниц и прочесть не могу. Разламывается голова. Не оправдание, конечно, да что сказать, когда говорить нечего?! Я и не бичую себя особо-то. Из Чусового выбрался, сажу малость отряхнул с себя, продвинулся от полного невежества, злость и тьму военную в себе преодолел за полжизни, пусть не всю и не до конца, а всё ж...

23 ноября 1986 г.,
(В. Я. Курбатову)

...Обнимаю. Пиши почаще и прямо на имя Марьи Семёновны. Сегодня я прочёл в газете, что возле вашего знаменитого города найдена самая северная стоянка древнего человека. Ну никуда от Чусового! Маня посмеялась.

2 декабря 1989 г.,
г. Красноярск
(В. Я. Курбатову)

...Фотки твои из Чусового прелестны, зазывы соблазнительны, может, Бог даст, и съездим когда, а когда? Когда ребята подрастут или вместе с ними.

22 июня 1990 г.,
с. Овсянка
(В. Я. Курбатову)

...Марья Семёновна в связи с приближением своего невесёлого юбилея настаивает уехать из дома на Урал, поклониться родным могилам и чтобы избавиться от гостей, поздравлений и речей.

Если сохранится рейс Красноярск-Пермь, мы непременно полетим на Урал после того, как проведём день поминовения дочери, т.е. числа 20-22 августа будем в Чусовом. Раз ты просил об этом известить, вот и извещаю, может, и ты соберёшься.

13 марта 1991 г.,
г. Красноярск
(В. Я. Курбатову)

...Вспоминаю я родимый и мне город Чусовой, его нравы, дымы, сажу и рабочее житьишко при советской власти, погляжу на Марью свою, подумаю о тебе — индо и руками разведу: откуда чё берётся?!

И мысль моя с веком наравне о том, что писатель заводится в саже, не только утверждается временем и прогрессом, но и углубляется в том смысле, что ценная мысль тоже выкристаллизовывается, как жемчужное зерно, в навозе и отходах металлургической и углесаженной промышленности. Своим фактом существования, пусть и в социологических пределах, чусовляне подтверждают это: вон Щуплецов-то или, как его напарница именует — Щуп, вверх тормашками на лыжах прокатился и чемпионом мира стал! Разве

в Лысьве или даже самой Перми этокое возможно? Не хватает у них почвы, то есть дыма и сажки для выращивания таких талантов и подвижников вроде твоего брата — Леонарда Постникова.

Во, брат, какой заряд бодрости я получил!

Обнимаем, целуем тебя по-чусовляньски — крепко и преданно, я и Марья Семёновна.

3 января 1992 г.,
г. Красноярск
(Е. С. Сапиро)

...Когда уйдёт из «Нового мира» Залыгин, уйду и я, уйду отовсюду, где маячит моя фамилия, как ушёл из всех союзов писателей, ибо ни для каких союзов не гожусь, тем более для союзов, всё более принимающих форму банд или шайки шпаны, исходящих словесным поносом и брызжущих патриотической слюной. Знаю я этот патриотизм, сам его сочинял и тискал на страницах незабываемой газеты «Чусовской рабочий».

29 сентября 1997 г.
(В. Потанину)

...Я вот вместо, чтобы летом отдохнуть, втянулся в работу и заканчиваю повесть под хорошим названием «Весёлый солдат». Она как бы замыкает цикл повестей о послевоенной жизни — «Так хочется жить», «Обертон», «Таёжная повесть» — о сверхтяжёлой жизни нашей с Марией Семёновной, которая совсем у меня рассохлась, но ещё держится ради внучки, хотя из дома уже почти не выходит, да и дома-то чаще лежит. Это она-то, пешком не умеющая ходить, а только бегом!

На неделю съездил на Урал. В Чусовом откупили мой домик и хотят открыть в нём филиал этнографического музея под хорошим названием «Мария». Побывал в мемориале политзаключённых, даже в камере, где страдал Лёня Бородин. Подивился на дела красных, которые снова предлагают народу свои услуги.

30 сентября 1997 г.,
с. Овсянка
(О. М. Хомякову)

...Давление скачет, даже утром бывает высокое, а между всем этим творчеством на неделю съездил на Урал. Сын Андрей и его чусовской дружок встретили меня на машине, да ещё и мигалку по распоряжению губернатора к ней присобачили. Побывал я в мемориале «сталинских жертв», и в избе своей побывал (её отдают под музей), и на кладбище побывал в Чусовом, и в Перми, в Быковке побывал, многих увидал, и приехал совсем усталый (стар ведь, хотя душа и не соглашается. «Душа всё ещё хотела б быть звездой!» — по Тютчеву).

2 октября 1997 г.
(Н. Гашеву)

...Ошеломляюще быструю и перенасыщенную впечатлениями поездку на Урал всё ещё внутренне «не освоил», всё ещё там, среди добрых людей, гор, лесов и остановившейся на каком-то смиренном всплеске жизни.

Господи! Уж не знаешь чему радоваться и о чём горевать. Всё вместе смешалось, и радость, и горе. «Было бы сердце, а печали найдутся», — сказал когда-то Ключевский, и печали в моём сердце всё находят место, всё свертываются там тайным и знобящим комочком. Едем по хребту Урала — по хребту! — а над ним смог непроглядный и указатели: слева — Первоуральск, справа — Сургут и трубы, трубы, трубы. А лесишко не весь высох, болезненно и празднично желтеет, и река Чусовая как-то стыло, неподвижно и жалко перед этим смогом, перед этим осквернённым небом, словно изнасилованная старуха, не течёт, а лежит среди жёлтых трав неподвижною тёмною водою. Какие-то копейки темнеют вдали, какие-то люди роются в земле, извлекая из неё картошку.

Господи! Господи! Смотришь на всё это и понимать или ощущать начинаешь, что вместе со мною, с нами и Россия свой срок доживает...

Прости, пожалуйста, но эти ощущения так и не оставляют меня, слезят моё сердце. Кланяюсь. Виктор Петрович.

3 октября 1997 г.,
г. Красноярск
(В. Я. Курбатову)

...Видел в мастерской у Широкова картину — триптих его ученицы: Леонард, ты и я. Тебя они изобразили, конечно же, архангелом со свято взятым в небо взором. О, святая провинция! Куда от неё деваться! И надо ли деваться? Столичная провинция ещё пошлее и заковыристей.

Обнимаю, В. Астафьев.

3 марта 1998 г.,
г. Красноярск
(Р. Белову)

Дорогой Роберт!

...Не успел я ничего с чусовлянином существенного отправить, а вот письмо это тебе отправляю с Секлетой, она послезавтра уезжает (я тоже отдам письмо на машинку, ибо тоже почерк свой усовершенствовал до крайности, а Маня начинает оживать после болезни, и незагруженной её видеть как-то непривычно).

Значит так, чусовскую серию с Миши начнёте, а продолжите Марьей, а меня чуток помедлите. Кого-нибудь впереди меня высунете, если время не терпит.

Когда напечатается «Весёлый солдат» — май-июнь в «Новом мире» — сегодня я жду звонка, чтобы прочесть по телефону правку в верстке. То сложится книга из трёх повестей: «Так хочется жить», «Обертон» и «Весёлый солдат». Это примерно 25-28 листов — единый цикл. Чтобы полегче вам было с изданием (прямо возрождение какое-то!), гонорара ни мне, ни Марье платить не надо никакого. Кстати, я недавно прочёл повесть Ольховикова — чусовлянина, совсем недурная повесть, хотя и называется «Камень», написанная уже уверенной рукой. Его знают в «Чусовском рабочем», он там прежде работал.

28 мая 1995 г.,
с. Овсянка
(Г. В. Вершинину)

...Газета «Чусовской рабочий», которую я поздравляю со славным юбилеем и желаю, чтоб она «рабочим» и оставалась, а стало быть, в меру средств и возможностей жила или уже точнее — мучилась с этими самыми рабочими, выражала их чаяния (любимое газетное и пробольшевистское слово, затасканное, как рабочая акула), ну проще сказать, помогала им жить, беды преодолевать, была их собеседником и другом по времени и доверительности.

«Чусовской рабочий» — большая любовь моя. Любовь — оттого что здесь я впервые столкнулся с творческим коллективом, который как ни пытались сделать подъярёмным, партийным тяглом, вывёртывался из гужей и порой норовил ускакать в чисто поле.

Но как ускакать? Далеко не ускачешь с путами на ногах, с моралью и установкой идеологической: «Не верь глазам своим, а верь партийной совестью». А у партии там, где совести быть, шерсть выросла, что она с успехом и ныне доказывает.

И всё же нам удавалось делать газету, порой и достойного уровня — уж как там наш «фюрер», Григорий Иванович Пепеляев, изворачивался, как цензоров явных и природой рождённых вокруг пальца обводил, какой характер проявлял, какой крестьянской сметкой обладал — одному ему известно. И если он жив, ему первый мой привет и поздравление.

Из встречи в Концертной студии Останкино, 1979 год*

...Пробовал я учиться и после войны в школе рабочей молодёжи в городе Чусовом на Урале, в Пермской области, где прожил 18 лет. Уже имел своих детей и, работая в горячем цехе, вкалывая кувалдой, я вдруг спохватился, что в детстве недобрал образования и что мне надо учиться, чтобы определить себя как-то в жизни. Очень была хорошая школа. Ко мне там великолепно относились, хотя мне было, кажется, 26 лет, я был в ту пору самый старший в классе. А сел я сразу в восьмой, чтобы сократить как-то это расстояние. Справился с восьмым, ведь уже взрослый был человек, надо было справляться как-то. И только нездоровье потом не позволило мне закончить десятый класс, о чём сожалел не только я, но и учителя, которые меня там учили.

* Астафьев В. П. «Правда — она огромна» // 15 встреч в Останкине / сост. Т. Земскова. — М.: Политиздат. 1989. — С. 7-26.

Из беседы с В. П. Астафьевым*

...В газете у нас народ был непьющий, после нас, позже начался развал. Мы могли в праздники безо всякой водки повеселиться, попеть, подурачиться, поплясать, сходить в тайгу. Удивительная дружность была какая-то... Чтоб чусовляне когда-нибудь бросили тебя в лесу, не могли — на охоте всякое бывало, — никогда, на себе вынесут, последний кусок хлеба разделят. Пусть меня забросают кирпичами, если я скажу против этого народа что-нибудь плохое... Это сейчас среди пролетариев появилось какое-то затаённое существо со своими дачками, машинами, своей психологией, моралью, которое мы породили, мы, мы, мы!

О чусовлянах**

...Курбатов всё подговаривает меня и подбивает мою жену-чусовлянку рвануть на Урал, в городишко, из которого вышли десять членов Союза писателей. Искра, заронённая нами, всё тлеет и тлеет, хотя, может быть, свой пророк так и не появляется, зато сочинитель и разного рода творческий чудак, мастеровой человек, изобретатель диковинных машин, сметливый, лобастый русский мужик, весельчак в металлургической спецовке, рыбак, охотник, выдумщик здесь не переводится.

На слиянии трёх рек***

...Мне бы хотелось поклониться низким поклоном городу Чусовому и чусовлянам. Там столько людей, которые помогли мне и Марии Семёновне и поддержали своим примером в послевоенной жизни.

* Виктор Астафьев: «Сердитый взгляд сквозь годы и расстояния»: беседа с писателем / записал Сергей Казанцев // Урал. следопыт. — 1987. — № 10. — С. 2-9.

** Астафьев В. П. «Жизнь для людей и для Бога»: [о В. Я. Курбатове] // «Жизнь взаимы»: к 70-летию со дня рождения В. Я. Курбатова: библиогр. указ. лит. / сост. Е. Г. Киселева; отв. ред. В. И. Павлова. — Псков : АНО «Лотос», 2009. — С. 4-8.

*** Тупицын С. «На слиянии трёх рек» // Мы — земляки. — 2009. — № 2. — С. 8-17.

...Быть может, у меня было против этого города много всего, но главное, что запомнилось – душевная доброта его людей.

...Интересный народ в Чусовом: могут на улице обидеть и даже хуже можно сказать, но чтобы в тайге не поделились куском хлеба, спичкой, не дотянули тебя, если мотор барахлит или шест поломался, такого не было. Много там осталось людей, с которыми хотелось поздороваться на улице, и я просто испытывал радость от того, что они живут рядом.

Эту фразу вы не прочтёте нигде. Она, практически дословно, взята мной из киноинтервью, сохранившемся в видеотеке ГТРК «Пермь». В. П. Астафьев всегда умел разглядеть людей, заслуживающих добрых слов, и найти эти слова.

Демонстрация на стадионе. Справа здание редакции газеты «Чусовской рабочий»



Книги В. П. Астафьева, изданные в чусовской период жизни писателя

1. До будущей весны

Рассказы. – Молот. кн. изд-во, 1953. – 152 с.: ил.

Содерж.: Гражданский человек; Земляника; Магарыч; Тимкоуль; Дерево без корней; До будущей весны. «До будущей весны» — первая книга В. П. Астафьева. В неё включён самый первый рассказ писателя о войне («Гражданский человек»), а также рассказы о чести и достоинстве рабочего человека («Магарыч»), о двух обездоленных войной семьях, которые обрели любовь и заботу («Земляника»), о чувстве долга и истинной дружбе («Тимкоуль») и другие.

2. Огоньки

Рассказы: для детей сред. шк. возраста / ил. В. В. Каменского. — Молот. кн. изд-во, 1955. – 97 с.: ил.

Содерж.: Васюткино озеро; Приятели; Схватка; Хозяйка лесной избушки; Гирманча находит друзей; Огоньки.

Рассказы Астафьева – это уроки жизни, в которой встречаются душевное тепло и чѣрствость, людская злоба и бесконечная доброта, есть обиды, предательство, дружба, чудеса природы, странности человеческого поведения и всё-всѣ, чем полно детство.

3. Васюткино озеро

Рассказ / ил. Е. Н. Нестерова. — Молот. кн. изд-во, 1956. – 47 с.: ил.

Маленький Васютка, заблудившийся в тайге, не растерялся, сумел выйти к людям и даже нашѣл озеро, богатое рыбой и названное впоследствии его именем.

То же. — Перм. кн. изд-во, 1958. – 47 с.

То же. — М.: Детгиз, 1962. – 94 с.: ил.



4. Дядя Кузя, куры, лиса и кот

Рассказ: [для детей сред. шк. возраста] / ред. Т. А. Шлыкова; худож. В. А. Головин. – Перм. кн. изд-во, 1957. – 32 с.: ил. Первоначальный вариант рассказа «Дядя Кузя – куриный начальник». Автор с юмором повествует о приключениях колхозника, на старости лет взявшегося заводить птицефермой.

5. Тают снега

Роман. — Перм. кн. изд-во, 1958. – 307 с.: ил. Действие романа происходит на Урале в 1953-1954 годах. Роман повествует о том, как трудились в колхозе и на ферме от зари до зари, о радостных и печальных событиях в жизни простых тружеников села.

То же. — Перм. кн. изд-во, 1963. – 326 с.: ил.

6. Тёплый дождь

Рассказы: [для детей мл. шк. возраста] / отв. ред. К. Д. Арон; рис. А. Кадушкина. – М.: Дegtиз, 1958. – 93 с.: ил.

Содерж.: Тёплый дождь; Наследство; Огоньки; Гирманча находит друзей; Васюткино озеро.

Герои книги — любознательный и сметливый Васютка, открывший в тайге неведомое озеро; старый охотник Лукаш и его племянник Федька, который смело вступил в единоборство с медведем; седоусый капитан буксира, приютивший маленького эвенка Гирманчу. Всех их объединяет любовь к природе и людям, умение ценить настоящую дружбу.

То же. — М.: Дegtиз, 1960. – 93 с.: ил.

7. Перевал

Повесть / ред. Т. Раздьяконова; худож. В. Жабский. – Свердловск: кн. изд-во, 1959. – 135 с.: ил.

«Перевал» - повесть о тяжёлом сиротстве мальчика, о суровых и добрых лесосплавицках, пригревших его, о новом и старом в быту и сознании людей 1930-х годов, о суровой красоте сибирской природы.

8. Сибиряк

Рассказ / ред. С. М. Гинц; худож. А. П. Зырянов. — Перм. кн. изд-во, 1959. – 26 с. – Рассказы о советских людях. Сибирский колхозник Матвей Савинцев в годы Великой Отечественной войны служил во взводе связистов. В одном из боёв Савинцеву приходится восстанавливать связь на жестоко обстреливаемом участке. Его смертельно ранит фашистская пуля. Несмотря на это, Савинцев продолжает думать о восстановлении связи. Он гибнет, но смертью своей утверждает жизнь.

9. Зорькина песня

Рассказы для детей сред. и ст. шк. возраста / ред. Т. И. Вершинин; худож. В. С. Измайлов. – Перм. кн. изд-во, 1960. – 115 с.: ил.

Содерж.: Зорькина песня; Гуси в полынье; Рыбачья жилка; Таймень и мышка; Злодейка; За синими горами; На охоте всякое бывает; Щенок со знаменитыми шишками; Наклёпки; Зелёные звёзды; Лежачего не бьют; Большой друг; Сима; На перелёте; Страшная смерть; Бродяга-песец; Запах тальника; Ёлочка; Тропа.

В предисловии В. Астафьев пишет: «Эта книга о природе: о лесах, о реках, животных. Эта книжка о том, без чего человек не может жить. Природа для человека всё: и красота, и жизнь, и любовь, и вдохновение. Но они не существуют сами по себе, они слиты воедино — природа и человек!».

10. Кровь человеческая

Рассказ / Ил. М. Ирусилового. — Свердловск: кн. изд-во, 1960. — 24 с. — Библиотечка одного рассказа.

Рассказ о семейных отношениях отца и сына, о человеческой чести и достоинстве.

11. Сибиряк

Рассказ. — Перм. кн. изд-во, 1960. — 26 с. — (Рассказы о советских людях).

«Сибиряк» — переработанный первый рассказ писателя о войне «Гражданский человек».

12. Стародуб

Повесть и рассказы / ред. В. В. Воловинский; худож. А. Н. Тумбасов. — Перм. кн. изд-во, 1960. — 178 с.: ил.

Содерж.: Стародуб: повесть; Солдат и мать; Живая душа; Глухая просека; Коршун; В страдную пору; Жил на свете Толька; Кровь человеческая; Ария Каварадосси: рассказы. Герои повести и рассказов сборника «Стародуб» — люди нелёгкой судьбы, люди суровые и сильные духом. Каждый своим путём постигает правду и красоту жизни, настойчиво ищет и находит в ней своё место, достойное человека, высшее призвание которого — служить всем людям, учить их доброму, своими делами оставить о себе память будущим поколениям.

13. Дикий лук

Рассказ. — Перм. кн. изд-во, 1961. — 38 с. — (Рассказы о советских людях).

В доме отдыха Генка Гуцин познакомился с Катей. Образ её глубоко запал Генке в душу. Он много и горячо писал Кате, и однажды она решила съездить к нему на Север. О встречах Кати с Генкой, о Генкином характере, его цельности и необузданности, о множестве его недостатков, иные из которых оборачиваются порой достоинствами, о чистоте души этого внешне грубого человека, раскрытой для самых светлых чувств, о том, как сложатся отношения между молодыми людьми, повествует рассказ.

14. Дядя Кузя —

куриный начальник

Рассказ: [для детей мл. шк. возраста] / отв. ред. К. Д. Арон; рис. А. Сурова. — М.: Детгиз, 1961. — 63 с.: ил.

Это увлекательный рассказ о человеке труда. С юмором и доброй улыбкой описывает автор приключения старого колхозника, добровольно взявшегося заведовать птицефермой.

15. Рассказы о любви

Перм. кн. изд-во, 1961. — 57 с. — (Рассказы о советских людях).

«Рассказы о любви» — первоначальный вариант известной повести В. П. Астафьева «Звездопад», где поэзия первого чувства, возникшая на фоне гостеприимного быта, пресекается жутким бытом пересыльного пункта, самым ходом и логикой войны.

16. Солдат и мать

Повесть и рассказы / ред. О. В. Трунова; худож. В. Б. Трубкович. — М.: Совет. Россия, 1961. — 104 с.: ил., портр. — (Короткие повести и рассказы).

Содерж.: Звездопад: повесть; Ария Каварадосси; Кавказец; Шинель без хлястика; Солдат и мать: рассказы. Повесть «Звездопад» и рассказы, включённые в сборник, объединяет тема Великой Отечественной войны. Здесь и робкое первое чувство двух молодых людей, вспыхнувшее в тяжёлые военные годы, и размышления о вечных ценностях жизни, о человеческой доброте, чести, достоинстве, о характере человека, проявившемся в трудных условиях военного времени.



17. Звездопад

Повести и рассказы / худож. С. Куприянов. — М.: Мол. гвардия, 1962. — 336 с.: ил.
Содерж.: Стародуб; Перевал; Звездопад: повести; Солдат и мать; Сибиряк;
Старый да малый; Захарка: рассказы.

В книгу вошли первые повести В. П. Астафьева, написанные им в чусовской период жизни и принесшие широкую известность начинающему писателю.

18. След человека

Рассказы / ред. Т. Раздьяконова; предисл. авт.; худож. В. Бубеничиков. — Свердловск: кн. изд-во, 1962. — 207 с.: ил.

Содерж.: Васюткино озеро; Еловая ветка; Руки жены; Захарка; Запах тальника; Гуси в полынье; Наклёпки; Злодейка; Наследство; Двое в беде; Таймень и мышка; Живая душа; Поросли окопы травой; Дар родной земли; Старая лошадь; И прахом своим; Ах ты, ноченька; Земля просыпается; Сказ, поведанный ручейком; Летняя гроза; Последняя песня; Зелёные звёзды; Утренняя песня; Весенний остров; Самое прекрасное дерево; Раньше здесь звонил колокол; Тропа. В сборник вошли рассказы для детей («Васюткино озеро», «Гуси в полынье», «Злодейка»), военные рассказы («Старая лошадь», «Поросли окопы травой» и др.), а также рассказы о природе («И прахом своим», «Зелёные звёзды» и др.).

Книги и сборники о жизни В. П. Астафьева в Чусовом

Курбатов В. Я. Миг и вечность

Размышления о творчестве В. Астафьева. — Красноярск: кн. изд-во, 1983. — 168 с. Анализируя творческий путь писателя, критик доказывает, что собственный, действительно оригинальный способ миропостижения В. Астафьева, рождающий его удивительные книги, находится в постоянном движении, в эволюции. Книга выпущена к 60-летию писателя.

Корякина-Астафьева М. С.

Знаки жизни

Красноярск: кн. изд-во, 1994. — 384 с. Эта книга — документально-художественное повествование о жизни и творческой деятельности известного русского писателя В. П. Астафьева, о его семье, родственниках и друзьях. В книге подробно описывается чусовской период жизни семьи Астафьевых.

Память огненных лет

Книга о фронтовиках-чусовлянах — читателях библиотек Чусовской централизованной библиотечной системы / Центральная б-ка им. А. С. Пушкина. — Чусовой: РИА «НИКС», 2000. — 44 с.: фото. В книгу, изданную к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, вошли материалы о фронтовиках-читателях библиотек г. Чусового и Чусовского района. Среди них — В. П. Астафьев, который много лет являлся читателем Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина и поддерживал с библиотекой тёплые и дружеские отношения.

Крест бесконечный

В. Астафьев — В. Курбатов: Письма из глубины России / сост., предисл. Г. Сапронова; послесл. Л. Аннинского. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2002. — 512 с. Книга переписки великого русского писателя Виктора Астафьева и выдающегося литературного критика Валентина Курбатова, охватывающая 28 лет их дружбы и сотрудничества. Их письма искренни, чисты и откровенны, в них раздумья и переживания о нашей литературе, культуре в целом, народе-страдальце, жизни, какой она была в последние десятилетия ушедшего века. И часто в своих письмах они вспоминают небольшой уральский городок Чусовой, с которым жизнь связала их навечно.

Маслянка В. Н.

По следам «Весёлого солдата»

В. Н. Маслянка; фото А. В. Швалёва, Ю. Н. Ситнова, В. Н. Маслянки. — Чусовой, 2004. — 168 с.: фото. В книгу включены воспоминания чусовлян, которые были знакомы с В. П. Астафьевым, а также наиболее интересные публикации будущего писателя в газете «Чусовской рабочий».

Стержневой корень

Книга в 2-х частях о родословной писателя В. П. Астафьева и истории его второго рождения / Областной Литературный музей В. П. Астафьева. — Пермь-Чусовой, 2006. — 48 с. В первой части книги представлена родословная В. П. Астафьева, а вторая часть посвящена исследованию истории рождения его первого рассказа «Гражданский человек» и второму рождению самого Виктора Петровича уже как писателя.

Гордость земли Чусовской

Биобиблиографический краеведческий сборник о Почётных гражданах города Чусового / Центральная библиотека им. А. С. Пушкина. — 2-е изд., доп. — Чусовой, 2007. — 75 с.: фото. Среди Почётных граждан города Чусового — знаменитый писатель В. П. Астафьев, проживший в Чусовом 18 лет и написавший здесь свой первый рассказ.

Ростовцев Ю. А.

Страницы из жизни Виктора Астафьева

М.: Энциклопедия сёл и деревень, 2007. — 480 с.: ил. — (Семейный архив). В книге представлены уникальные материалы творческой биографии выдающегося русского писателя В. П. Астафьева. Среди них — около трёхсот неизвестных прежде документов: более двухсот астафьевских писем и автографов на книгах, самая полная и откровенная автобиография, написанная им за год до кончины. В интервью и письмах, приведённых в книге, В. П. Астафьев рассказывает о своей жизни в Чусовом.

Ростовцев Ю. Виктор Астафьев

Юрий Ростовцев. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 319 [9] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1254). Автор книги, известный журналист Юрий Ростовцев, считает, что его книга — всего лишь штрихи к портрету, страницы творческой судьбы писателя. Но ему удалось представить в ней материалы связать в единое целое и проследить основные вехи биографии и творчества Астафьева, чей путь в большую литературу начинался в Чусовом.

Когда гремела война

Чусовская летопись великой войны / сост. А. М. Кардапольцева, М. А. Ухалова, Л. И. Макарова. — Спб: Маматов, 2010. — 544 с.

В книге приведены воспоминания чусовлян о суровых военных годах, фронтовые письма, рассказы об участниках Великой Отечественной войны. Среди героев этой книги — всемирно известный писатель В. П. Астафьев и его жена, писательница М. С. Астафьева-Корякина.

Астафьев и Чусовой

Рекомендательный список литературы / сост. А. М. Кардапольцева, З. В. Тымина, С. А. Каюрина. — 2-е доп. изд. — Чусовой, 2007. — 24 с.: ил.

Не умолкает во мне война...

(Виктор Петрович Астафьев о войне) [Текст] / Центр. б-ка им. А. С. Пушкина. — Чусовой, 2010. — 107 с.

Отсвет нескончаемой жизни.

60-летию начала литературной деятельности Виктора Петровича Астафьева и Памяти писателя посвящается...

Рекомендательный список литературы / сост. А. М. Кардапольцева, З. В. Тымина, М. А. Ухалова. — Чусовой, 2011. — 32 с.: фото.

...Она у меня такая женщина, каких не на всяком меридиане земного шара найдёшь. Редкостного ума, такта, душевности, и готова за меня голову свою отдать и сердце вынуть, если надо. Это не красивые слова, а правда...

В. П. Астафьев

...Мария Семёновна пишет так чудно просто и естественно, и её мир так по-русски обыкновенен, что всяк слышит сквозь текст своё сердце и не ищет посредников...

В. Я. Курбатов

*Зимний день.
Худ. В. Н. Чаплыгин*



Мария Семёновна Астафьева-Корякина

(22.08.1920–16.11.2011)

*Русская писательница,
Почётный гражданин г. Чусового,
член Союза писателей России с 1978 года.*



В. П. и М. С. Астафьевы

Родилась 22 августа 1920 года в Чусовом. Выросла в большой семье, где была пятой из девяти детей. После окончания семилетней школы, в 1933 году, поступила в Лысьвенский механико-металлургический техникум на отделение химии. После третьего курса учёбу пришлось оставить, так как нужно было помогать семье. Работала лаборантом в химлаборатории Чусовского металлургического завода, в поликлинике регистратором, в заводском здравпункте медсестрой. Позже она всё же окончила техникум — заочно.

Когда началась Великая Отечественная война, в городе открылись курсы военных медсестёр. После окончания этих курсов Мария

Семёновна по повестке явилась в госпиталь № 2569, где штат медсестёр уже оказался укомплектован. Её поставили заведовать медицинской канцелярией и назначили комсоргом. Вскоре как секретаря комсомольской организации её вызвали в городской комитет партии и объяснили, что фронту нужны добровольцы, требовалось провести работу среди медсестёр. Не зная, как проводить такую работу, Мария Корякина сначала сама написала заявление с просьбой отправить её добровольцем на фронт, а затем на собрании объявила: все, кто желают, могут написать такое же заявление. Через три дня в госпиталь пришли три повестки, одна из них была на имя Марии Семёновны Корякиной.



Фронтные подруги (М. Корякина в верхнем ряду в центре)

3 марта 1943 года Мария Корякина ушла добровольцем на фронт. Служила в войсках госбезопасности — в военной цензуре. Сначала её часть находилась на Северо-Западном фронте, потом — на Первом Украинском, Закарпатском, Втором Белорусском, в Польше.

Через всю жизнь пронесла Мария Семёновна любовь к книге. Связь её с центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина не прерывалась даже во время войны. На имя М. С. Корякиной из библиотеки на фронт были посланы десятки посылок с книгами. Для бойцов Мария

Семёновна организовывала передвижные библиотеки. Именно книги из чусовской библиотеки и стали поводом для знакомства в 1945 году Марии Корякиной, старшего сержанта почтового отделения, и Виктора Астафьева, направленного в нестроевую часть ст. Станиславчик после лечения в госпиталях. Вот как об этом говорит сама писательница в своей книге «Знаки жизни»: «...спустя много-много лет после войны, уже в Вологде, вдруг получаю письмо-приглашение из чусовской когда-то детской библиотеки, куда мы частенько ходили брать книжки почитать, а потом я писала сама письмо в родную библиотеку уже насчёт того, чтоб нам присылали книги — библиотеку-передвижку — на нашу полевую почту, мол, для того, чтоб и политбеседы проводить, и почитать, когда бывает возможность. Я то письмо писала с Украины, из-под Жмеринки. И книги нам приходили, мы читали, чаще вслух, затем отправляли обратно и снова ждали посылки с книгами... Кстати, это, в общем-то, и свело нас с Виктором, теперь Виктором Петровичем...».*

* Корякина-Астафьева М. С. «Знаки жизни». — Красноярск. кн. изд-во, 1994. — 384 с.

26 октября 1945 года В. П. Астафьев и М. С. Корякина вступили в законный брак, демобилизовались и поехали на родину Марии Семёновны, в уральский город Чусовой.

17 лет прожили супруги Астафьевы в Чусовом. Здесь, в её родных краях, как написала Мария Семёновна в своей книге «Земная память и печаль», они продолжали борьбу, теперь уже под мирным небом. Боролись просто за выживание, за место под солнцем, преодолевая беды, как крутые перевалы. В Чусовом родились их дети — дочери Лидия (1947), Ирина (1948) и сын Андрей (1950). Первая дочка Лидочка умерла в младенчестве от тяжёлой диспепсии. Виктор Петрович, по состоянию здоровья, не мог вернуться к своей специальности составителя поездов и, чтобы прокормить семью, работал слесарем, чернорабочим, грузчиком, плотником. Мария Семёновна работала, занималась плановой работой в местной промышленности, потом была радиожурналистом.

1951 год — начало литературной деятельности В. П. Астафьева. Первые рассказы Виктора Петровича, написанные им на обоях и страницах вахтенного журнала, Мария Семёновна сама печатала на машинке поздними вечерами в редакции газеты «Чусовской рабочий». «С этого всё и началось: он учился сочинительству, я осваивала работу машинистки» («Знаки жизни»). Именно Мария Семёновна первая читала, печатала-перепечатывала произведения Виктора Петровича, успевая при этом вести домашнее хозяйство и заниматься воспитанием детей.



Семья Астафьевых, г. Чусовой, 1955 г.



Мария и Виктор Астафьевы, 1961 г.



- ▲ *Всегда вместе*
- ▶ *Мария Семёновна за работой*

В 1962 году семья Астафьевых переехала в Пермь. Работал Виктор Петрович, в основном, в деревне Быковка Пермской области. «В Быковке... мы прообретались семь лет, как оказалось потом, самых плодотворных в моей работе и самых счастливых в нашей жизни», — отмечает писатель в своей автобиографии. «...Считаю, что в Быковке прошли наши лучшие годы, так много друзей приезжали к нам туда и велись длинные, интересные разговоры», — пишет Мария Семёновна в книге «Знаки жизни».

Именно в Быковке Мария Семёновна однажды, оставшись одна, написала свой первый рассказ «Школьное сочинение». Сначала он был напечатан в газете под названием «Детские годы», позже, доработанный, он превратился в повесть «Ночное дежурство». Она была опубликована в альманахе «Уральский следопыт» в 1966 году (№ 11-12). А в 1968 году эта повесть, дополненная, под названием «Отец» вышла в Перми отдельной книгой.

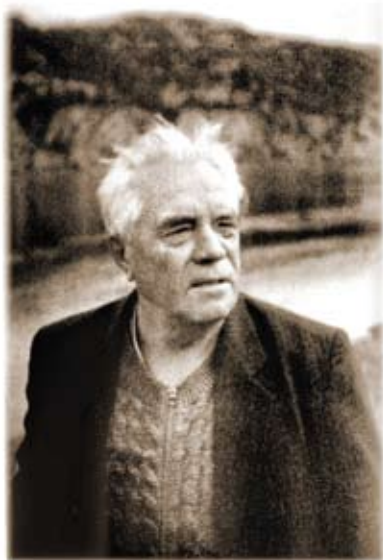
В 1969 году семья Астафьевых переехала в Вологду. В 1978 году Мария Семёновна была принята в члены Союза писателей России. В 1980-м переехали в Красноярск, в Академгородок. В августе 1987 года скоропостижно умерла их дочь Ирина. Виктор Петрович и Мария Семёновна забрали к себе маленьких внуков Витю и Полю.

На протяжении всей жизни Виктора Петровича Мария Семёновна оставалась его первой помощницей и верной спутницей. «...Без неё мне не работать и не существовать...», — написал Астафьев в одном из своих писем. Она была и машинисткой, по семь-четыренадцать раз перепечатававшей книги своего мужа, первым читателем и критиком его произведений, была его секретарём и архивистом... При этом она успевала писать свои рассказы, повести, очерки. «...Её собственная память искала защиты, и тогда стали появляться документальные, мемуарные книги Марии Семёновны, в которых читатель Астафьева узнавал те же факты и порою одних героев в неожиданно новом для себя, иногда уточняющем, иногда противоположном толковании...» (В. Я. Курбатов).

Произведения М. С. Астафьевой-Корякиной печатались в центральных журналах и сборниках. Было издано свыше десятка книг. Мария Семёновна — писатель, признанный и благодарными читателями, и профессиональной критикой. Её книги — это воспоминания о горестях и радостях, трудностях жизни и светлых минутах, выпавших на её долю, на долю её родных и близких.

Почти все книги с автографами Марии Семёновны Астафьевой-Корякиной имеются в библиотеке им. А. С. Пушкина, с работниками которой писательницу много лет связывали тёплые дружеские отношения.

В 1969 году М. С. Астафьева-Корякина подарила библиотеке свою первую книгу «Отец» с автографом: *«Большому, верному и милому другу — чусовской библиотеке им. А. С. Пушкина от преданного читателя и автора в знак вечной памяти о военных днях».*



V. Астафьев

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

*Дорогая мамя!
Здесь, в этом собрании
сочинений моих жизни
же только маме, но в ка
кой-то мере и тебе, что
годами Бог сотворил
сидя рядом с Давыдом
много лет назад тебе пер
вый раз, в 14-15 лет под
влиянием Давыда только ты
и я, и Асия, работавшая
тут же, не жалея сил,
твоя твоя Бог! спасибо!
отца твоего. Астафьев*

Автограф В. П. Астафьева жене, верной подруге, помощнице Марии Семёновне

Затем были новые книги, письма. Вот строки из некоторых:

«Дорогие земляки! Спасибо за то, что не забываете, спасибо за приглашение и хорошие слова...

Поздравляю родную библиотеку с юбилеем, а всех вас — с этим славным праздником...

Посылаю в фонд библиотеки свои воспоминания о поездке на свою милую Родину и уж тысячу раз себе сказала «спасибо» за то, что решилась, что собралась и съездила — дорогая это память уже на всю мне жизнь...



*М. С. Астафьева-Корякина
в ЦБ им. А. С. Пушкина. Чусовой, 1967 г.*

Помогаю Виктору Петровичу в подготовке 15-томного собрания сочинений — работа большая, напряжённая и кропотливая. У меня тоже вышло ещё несколько книг и как только выйдет моя, думаю уж последняя, 15-я книга — родословная — «Земная память и печаль» — вот тогда три-четыре постараюсь вам послать для библиотеки.

А пока — всем вам всего доброго и ещё раз с юбилеем! От Виктора Петровича поклон, привет и наилучшие пожелания.

*Преданно ваши — Астафьевы.
(Февраль, 1997 г.)*



Награды М. С. Астафьевой-Корякиной

А в июне 1998 года Мария Семёновна пишет в библиотеку:

«Милые мои земляки! Неутомимые труженики! Хранители моего второго дома — библиотеки, где я так уютно, часто с тёплой радостью в душе, провела минуты — сдавая прочитанные книги и отобрав те, которые хотелось почитать и тем скрасить и высветлить своё трудное и бедное, но всё равно золотое детство!

Высылаю вам последние вышедшие тома собраний сочинений Виктора Петровича — десятый и одиннадцатый, остальные в работе...



За заслуги перед городом Чусовым. Фото В. Н. Маслянки

Будьте все здоровы, добры друг к другу, и многих-многих вам посетителей — читателей в ваш приветный дом.

*С уважением и давней симпатией к Вам.
Ваша Мар. Сем.».*

*В 2000 году — книга с автографом «Сколько лет, сколько зим»:
«Родной библиотеке имени А. С. Пушкина г. Чусового, в котором родилась,
выросла, пережила муки и радость и была её постоянным посетителем.
С благодарностью — М. С. Астафьева».*

В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина накоплен богатый фонд документов, бережно хранятся письма Марии Семёновны, фотодокументы. В Литературном музее В. П. Астафьева оформлены постоянно действующие выставки, экспозиции, посвящённые Астафьевым, литературному краеведению. Экспозиции, на которых представлены подлинные вещи, документы, фотографии, созданы благодаря поддержке Марии Семёновны, родных, близких, знакомых семьи Астафьевых.

26 июля 2007 года Марии Семёновне Астафьевой-Корякиной присвоено звание «Почётный гражданин Чусовского муниципального района».

Умерла Мария Семёновна 16 ноября 2011 года в Красноярске. Похоронена в с. Овсянка рядом с Виктором Петровичем и дочерью Ириной.

Я не смогла сказать: «Прощай!..»*

в сокращении

Многое в жизни было как во сне.

С тех пор, как я уехала со своей милой родины, стала редко бывать там — постоянно мечтала и надеялась, намечала себе: вот высвобожусь от дел, не терпящих отлагательств, выкрою себе «окошко», соберусь и поеду, непременно поеду. Побываю в городе, где родилась, похожу по улицам и переулкам, где день за днём, год за годом проходило моё детство и всё, с ним связанное, где прошла юность, началась молодость, где познала я муки и радости...



Я убеждала себя: ничего интересного и весёлого меня там не ждёт. Одна печаль воспоминаний, но зато всё, даже земля под ногами — до сердечной тоски родное, незабвенное и неистребимое — всё это моё. Дороже нет!..

В современном понятии чувство это называется ностальгией. Но это определение никак не согласуется с моей тоской, с моим чувством. Моё чувство тоски по родине совсем иное: увижу её во сне — весь день, как блаженная. Воспоминания даже о самой малой малости из того, что с нею связано, так бередят мою душу, что уж и не сидится, и не лежит, тоскливый туман застилает глаза, а сердце то сжимается от озноба, то распирает его до предела и лёгким бывает трудно распрямиться, чтоб перевести дух, выровнять дыхание.

Со временем, особенно после тяжёлых болезней, коих я пережила немало, когда сделалось рискованно загадывать что-либо даже на ближний день, начинаю страдать от всё разрастающегося предчувствия чего-то убийственно-страшного, неотвратимого, такого, чего не хватит моих сил пережить и делается ясно одно: далее откладывать встречу со своей родиной уже нельзя.

Так жила я день за днём, год за годом, то надеялась, то отчаивалась, только чем дальше, тем слабее делались надежды

* Астафьева-Корякина М. С. «Сколько лет, сколько зим»: повести, рассказы, очерки / предисл. В. Курбатова. — Красноярск: Офсет, 2000. — С. 632-653.

и мучительней отчаяние. А дни, недели, месяцы, да и годы пролетают всё стремительней, уже без остановок, как эшелоны в войну, и всё укорачивают, укорачивают мои земные сроки...

И вот однажды...

Был день как день — те же дела и заботы, та же суетность и усталость. И в такой вот обычный день я неожиданно получила письмо от Прасковьи Кузьмовны Исаковой — моей школьной учительницы по истории! Надо ли говорить, с какой изумлённой радостью и волнением я читала и перечитывала его, из такого уже далёкого далёка слышала её голос, её интонацию!

Вот, что она мне написала:

«Уважаемая Мария Семёновна, здравствуйте! Пишет Вам Ваша бывшая учительница железнодорожной школы № 25. Мы, учителя-пенсионеры и бывшие ученики этой школы, решили для учащихся и будущих поколений сделать альбом к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. В альбом поместили фотографии учеников и учителей, бывших на войне, всех, кто погиб, кто вернулся с Победой.

Ваши братья и сёстры — все учились в этой железнодорожной школе. Знаю, что Сергей, Анатолий, Азарий, Валерьян и Ваша сестра Калерия (или Валерия) были на войне. Не пощадила она и Вас, хорошо, что остались в живых.

Мария Семёновна! Если у Вас есть фотографии Ваших братьев и сестёр и с себя тоже, пусть и не военной поры, а более поздние — пошлите для альбома, пожалуйста, — мы копии снимем и вернём, и подтвердите правильность сведений о Ваших братьях и сёстрах — двое погибли, а остальные?

Случайно увидела у знакомых Вашу книгу «Отец», попросила почитать — она мне живо напомнила первые годы моей работы именно в городе Чусовом, в этой железнодорожной школе.

Как Вы себя чувствуете? Конечно, фронтовые годы и всё пережитое постоянно напоминает о себе. Вам большой привет передает Зоя Павловна Дружинина-Завалина — она преподавала в школе русский язык и литературу, помните? Мы иногда видимся с нею, пожалуемся на своё здоровьишко, поговорим, иногда чего и повспоминаем. Из нас, старых учителей школы № 25 остались: она, я да ещё одна учительница, но она намного моложе нас.

Здоровья Вам и Виктору Петровичу, спокойной и благополучной жизни, успехов во всех Ваших делах.

П. Исакова».



Семья Корякиных, г. Чусовой, 1930-е гг. Мария в первом ряду, первая справа

...В пору моего детства существовала замечательная традиция у русских людей — фотографироваться семейно. Наша изба, состоявшая из комнаты и кухни, сделалась тесна для большой нашей семьи, и потому, несмотря на более чем скромный достаток, родители мои начали строить полутораэ-тажный бревенчатый дом. Трудно и представить, как мужественно, самоотверженно и мудро решились они на этот великий подвиг. Я не буду подробно рассказывать о том, что и как происходило, скажу лишь: постройка нового дома моими родителями в теперешнее время, могла бы послужить доказательным уроком самоотверженного и мудрого хозяйствования. Мы, ребятишки, как муравьи, в меру сил, вместе со взрослыми, трудились на строительстве — ни щепки, ни гвоздя не валялось, всё шло в дело: щепка — на растопку, опилки — на подстилку корове, курам ссыпались в большой ящик и осенью ими посыпались гряды, засаженные под зиму морковью и чесноком, гнутые гвозди парни старательно выпрямляли, что-то подавали, бегали, если за чем или за кем посылали, старательно делали всё, что велели.

Когда дом был уже под крышей, осталось подшить карниз, прибить наличники к кухонным окнам, доделать остатние дела внутри, мама пригласила фотографа, обговорив с ним день и час, чтоб все были дома.

Шумно и весело шли приготовления к предстоящему событию. На окна повесили новые филейные шторы, которые мы расшили белыми розами

и резными листьями, а понизу — кисти... На одно окно поставили трёхламповый радиоприёмник, на другое — несколько цветущих домашних цветков в красивеньких кашпо с проносившимися доньшками. Перед окнами на землю положили в два ряда доски, и мы, приодетые, обутые поприличней, выстроились всем большим семейством...

...Когда я получила фотографию, до рези в глазах всматривалась в родные лица, плакала тихими слезами и горевала, что мне уже некому рассказать о моих родителях, о бабушке, Андрее Прохоровиче Логинове — маминотце, которого раскулачили вместе со старшими сыновьями за то, что семья вместе с зятями и снохами была в двадцать два человека, работали до упаду, но ели досыта. Некому было сказать, ткнув пальцем в то или другое родное лицо, мол, смотри-ка, ты-то какой был! А ты! А я?!

Пережив первую удивлённую радость, я ещё раз перечитала письмо школьной учительницы, попыталась представить себе её и Зою Павловну, преподававшую русский язык и литературу. Для меня она являла собою эталон учительницы, и после, взрослая, я мечтала стать учительницей, когда наступит пора готовиться к самостоятельной жизни и работе.

Села и написала ответное письмо Прасковье Кузьмовне, вложила его в бандероль вместе с фотографиями, и для обеих учительниц — по книге «Отец», ибо в этой повести наиболее приближённо описана жизнь нашей семьи, соседей и знакомых, а город описан таким, каким я его помню, знаю, люблю.

Да разве только я?!

Любовь к моей милой родине передалась и детям: дочь до своего последнего дня жизни мечтала побывать в родном городе, собиралась свозить туда своих детей, когда подрастут и смогут всё запомнить и... полюбить, как она... Не сбылась её мечта побывать в Чусовом. Она израсходовала раньше времени свой жизненный резерв, надорвала здоровье и силы и рано ушла из жизни.

А сын не раз говорил, что у него есть голубая мечта — на все случаи жизни — Урал, городок Чусовой — своя маленькая Родина. И когда делается совсем уж неважно (мало ли, бывает), могу, говорит, поехать туда, где всё такое родное!.. И посветлеет на душе. Даже если денег не будет на дорогу, займу, но поеду, и потом весь год буду жить воспоминаниями. Я его даже во сне вижу и если не забудусь, не дотронусь спросонок до головы, тогда сон вспомню до мельчайших подробностей! Проверено!

Об этом сын говорил и в недавний свой приезд.

Я ещё не успела «остыть» от впечатлений о свидании с родиной, как приехал племянник. В первый день разговаривали и вспоминали обо всём сбивчиво, торопливо — хотелось обо всём расспросить, о многом рассказать, а муж на другой день должен был уезжать, и потому разговоры перемежались со сборами. Проводили его, поуспокоились и племянник стал расспрашивать о моей поездке на Урал. Постоит на балконе, покурит и снова ждёт, когда освобожусь и поведу рассказ дальше. А через два дня, вечером вошёл

на кухню и с растерянной радостью сообщил, что к нам гость приехал, — улыбается, то руки потирает, то волосы ерошит и всё прислушивается, ждёт звонка в дверь.

Приехал сын! Обнялись, поздоровались, и я отправилась в кухню собирать на стол. Слышу, как они хлопают друг дружку и громко спрашивают: «Ты как тут оказался?» — «А ты?» — «Надолго?» — «На неделю. А ты?» — «Дней на десять, но уж два прошли».

Сели за стол, поудивлялись чуду: сколько лет не виделись и вот неожиданно-негаданно съехались, встретились! И тут же и сын, и племянник начали расспрашивать, что там и как?! Как Чусовой наш поживает? Они же вместе там выросли. Рассказываю, как ехали, что сначала в Новый город отправились. Но они — ни тот, ни другой — не бывали в Новом городе, они знают, помнят и любят старый, родной, знакомый до каждого закоулка... И сын сразу сказал, мол, это, пожалуй, единственный город, который совсем не изменился! Двухэтажные дома — бараки на Пашийской, как стояли, так и стоят, даже не покосились. И ясли, и тубдиспансер, и горсовет, и клуб металлургов, и кинотеатр «Луч», даже Дом обороны... Только всё какое-то маленькое сделалось. Хотя Дом обороны всё такой же. В нём живут, а тогда, помнишь, в нём тир был, готовили ворошиловских стрелков, боевые учения понарошке проводились, кино показывали, как мы любили туда ходить, а ты, мол, нас ругала, что далеко уходите... Теперь-то смешно насчёт «далеко». А школу нашу деревянную, в которой много татарских ребят училось, — снесли. А церковь, которая была рядом со школой, стоит. И дома «молодых специалистов» стоят, и «третий» магазин, и стадион... Господи, какое всё родное...

«Когда я в последний раз туда приезжал, — вспоминал сын, — даже к лестнице, которая спускается к Подъяловнику, сходил, правда, она теперь другая, но всё равно ступеней сто, не меньше. Да мы же с тобой туда купаться ходили! А когда собрались путешествовать на лодках, тюк с одеждой, плащ-палатку и узлы — почти весь багаж как пустили под откос, как узлы подпрыгивали, покатались, чуть в озеро не влетели! И к усьвенскому мосту сходил, который часто сносило во время ледохода... А Подъяловник весь тогда плавал, помнишь? Мужики снуют на лодках туда-сюда, от дома к дому. В распахнутые дверцы чердаков видать, как хозяева брагу пьют из больших аптечных бутылей, на гармошках играют, песни орут — им всё нипочём — завей горе верёвочкой...».

А народу на крутом берегу соберётся много, одни ахают, другие хочут, которые и в гости напрашиваются. Ледоход же часто случался или в майские праздники, или в Пасху. Как на Прорву рыбачить ходили, вспоминали, на плесо Ивана Яковлевича... Гости мои уж и забыли про меня, уговариваются летом съехаться в Перми, оттуда на электричке в Чусовой, мечтают, что и на Такманаиху сходят, и в Архиповку, может, и до Гребешка или до Майдана...

И долго так, перебивая один другого: «А ты помнишь?», «А ты помнишь?»... И я с облегчением и тихой радостью думала: да разве же я могла сказать своей родине: «Прощай!». Вон и они всё помнят, тоскуют, поехать



▲ У своего дома на ул. Партизанской, 76
▶ Виктор и Мария Астафьевы,
г. Чусовой, первые послевоенные годы
(фотографии из фонда Литературного
музея В. П. Астафьева)

в родные края собираются... И дом наш на Партизанской вспоминают: в нём росли и в детский садик, и в школу ходили, и в «третий» магазин.

А я всё думала про свою поездку на родину, вспоминала недавно пережитое. Когда остановились у родного дома, открыли калитку, сфотографировались у входа в сенки, подивились, как разрослись кусты сирени и черноплодная рябина, посаженная мужем, — молодым тогда хозяином. Грустно... В избу войти не решились — незнакомые люди живут теперь в ней, да и есть ли кто дома? Вспомнила, как он строился, этот наш дом, может, потому и дорогой нам такой, что собственноручно воздвигнутый. В моей растревоженной памяти всё ясней и живей представлялась тогдашняя наша жизнь.

Строительство начали с денег, полученных мною за декретный отпуск. Я, ещё не окрепшая после родов, пошла в недостроенный дом промазывать глиной пазы, но окон ещё не было, гуляли сквозняки, я подхватила воспаление лёгких и слегла. Муж вынужден был заниматься строительством один. Укладывал ли потолочины, приколачивал ли решетник под кровлю и, пока дело ладилось, пел во всю головушку, но если попадал молотком по пальцу или падал вниз молоток или топор — матерился и того громче. Мама в это время вместе с соседками гоняли коров на пастбище мимо отведённой нам усадьбы, мимо постройки. Однажды соседка весело рассказывала, как строится тут мужичонка, пьянчужка, видать, тот ещё! То поёт, то матерится!.. Мама виду не подавала, лишь ниже склонила голову, и уж после рассказала, как глотала слёзы, умолчав о молодом, незадачливом хозяине-строителе — своём зяте, каково ему плотничать без помощников, без денег, кто его всему этому научил? Рос в детдоме, потом война... израненный, от нужды усталый... — кому скажешь? Кто поможет? Одно утешение, что молодые, что война кончилась, потихоньку устроятся, станут жить, как смогут, как сумеют...

Дядя Гриша, известный в городе печной мастер изладил нам русскую печку, да такую дивную, аккуратную! Вместо кирпичей на шесток — плиту

с кружками положил, сбоку вмуровал четырёхугольный пятиведёрный бачок из толстого железа сваренный, внизу медный кран, сверху откидная крышка, чтоб воду наливать, и русская ли печка топится, плита ли — в бачке всегда горячая вода! А он, дядя Гриша, ещё заставил нас натолочь бутылочного стекла и рассыпать его под кирпичи, — дров сожжёшь небольшое беремья, а в печи хоть барана жарь! С той печкой никакая из других, мною виданных, до сих пор в сравнение не идёт. Покрасили мы окна, побелили потолок и стены. Разделили избушку перегородкой да печкой на комнату, спальню и кухню. В комнате поставили стол, списанный и отданный нам из Горпромсоюза, четыре не очень устойчивых стула. К заборке, отделявшей кухню, поместили купленный диван, обтянутый чёрным дерматином, но мы называли его кожаным. В простенок между окнами приспособили на проволочные крепления струганную доску вместо полки и реденько поставили книги — это и составляло наш интерьер. В спальне две железные кровати с мочальными матрацами на досках, на одной мы, на другой спали ребяташки валетом.

Избушка с виду была, конечно, некорыстная, а внутри тёплая и все, кто приходил, удивлялись: мол, такая маленькая с виду и так хорошо внутри...

Зато уж как мы приноравливались к той изнурительной жизни, без содрогания не вспомнить невозможно. Сначала, чтоб не уморить детей, завели козу, но не долго подержали: не оправдала она заверения мужика, продавшего нам её, — пол-литра в день — какая от неё корысть? Продали козу, купили трёх кроликов, клетки смастерили из старых ящиков, в подполье поместили. А они, шустрые и жоркие, быстро порушили клетки, поразбивали банки с грибами да с капустой, вырыли сквозные норы и были таковы!

Погоревали, конечно, но тут наш будущий кум, Саша Ширинкин, принёс нам трёх куриц да петуха, помог крепкий большой ящик приспособить под курятник и он же — кухонный стол. И всё нормально получилось, места всем хватает за столом. Курицы тоже на месте, только вскорости петух начал проявлять странности в поведении, особенно когда семейство усаживалось есть. Ребяташки едят, ногами побалтывают, но как только муж потянется ложкой к чашке, петух тут же выпростает голову между перегородок и закукарекает, что есть мочи. Всем смешно, хозяину не до шуток, возьмёт и трахнет по столу кулаком — ложки подскочат, а петух утянет с урканьем голову обратно, но не надолго, только момент выждать... Дело до того доходило, что ложка в курятник летит, и матюки, как шлепки по кухне разлетаются, и ребяташкам не раз перепало, а то из-за стола, бывало вылетят...

Время идёт.

Муж уже начал потихоньку-помаленьку в литературу входить, сочинительством заниматься стал в свободное время после работы. А ведь пословица гласит, что дом велик, да спать не велит! И как уж он умудрялся так жить и работать — одному ему да Богу известно! А тут: «Папа, убирай свои бумаги, мы рисовать будем...».

Когда у него вышла вторая книжка, мы с доплатой обменяли нашу милую избушку на большую. Но дом оказался старым, мрачным, углы промёрзли, хотя и топили почти сутками напролёт. Летом-то другое дело. Летом в палисаднике черёмухи цветут, в огороде овощи растут. На веранде светло, тепло, солнечно и вид из неё красивейший: видно «стрелку» — слияние трёх рек: Вильвы, Усьвы и Чусовой. Виктор Петрович как-то ранним утром сидел на лавке в углу, подперев подбородок руками, шурился от солнца, смотрел, смотрел, а потом сказал: «Пока буду жив, никогда не забуду эту дивную красоту!.. Никогда... Где бы ни был...».

Сейчас этого дома нет. Сгорел. Да ни мы, ни дети привыкнуть к нему так и не смогли. Сын только вспоминает иногда, как катался на санках, да однажды свалился вниз. Выше, в логу, была сооружена будка, в ней устроен жёлоб и по нему бежал холодный, прозрачный ручей. Оттуда зимой и летом все жители брали воду. Дальше ручей бежал открыто, журчисто, разлиvisto. Почти напротив нашего дома была сооружена плотина с большой трубой внутри, по ней ходили и ездили через лог туда-сюда, а где падала из трубы вода, женщины полоскали бельё. Вот сын не успел «вырулить» и рухнул вниз вместе с санками и угодил на спину нашей соседке, с неё — на корзину с бельём и легко отделался, а пострадавшая соседка с тех пор всё звала его крестником.

Ещё ребята вспоминают, как всякий раз лезли на крышу, то класть шест, заменявший антенну, чтоб смотреть телевизор, а когда надо было топить печь, так чтоб убрать самодельную антенну с трубы. Пожалуй, только это, да как лазили на черёмухи и падали и вспоминают, а вот родной дом помнят, любят, жалеют...

Вскоре я получила письмо и от Зои Павловны, подробное, безмерно для меня дорогое ещё и тем, что она до сих пор помнит мою маму.

Вот что она мне написала:

«Уважаемая Миля! (я буду Вас называть только так, извините!)». — Этому я приятно удивилась: за давностью лет она не забыла, как меня звали в детстве.

Здесь я должна пояснить, почему школьная учительница называет меня Милей. А всё объясняется очень просто. Когда я появилась на свет, мама решила пригласить в крёстные красивую и образованную дочь пожилой соседки, всеми уважаемой, Ульяны Клементьевны Коняевой.

Папа, отдохнув после дежурства, принял стаканчик зелёного вина — в честь прибыли в семействе и за здоровье, пообедал, надел на себя всё выходное и отправился сначала в ЗАГС. Там получил на меня метрическую выпись, написанную красивым почерком и заверенную круглой печатью. Затем зашёл в железнодорожный магазин и выкупил полагающуюся на новорождённую мануфактуру — по десять метров полотна и фланели. Вышел из магазина, поставил возле ноги сумку, убрал документ во внутренний карман, свернул сигарку, закурил и пошёл в контору участка, где работала моя будущая крёстная. Войдя в служебное помещение, снял форменную фуражку с перекрещенными молоточками над лаковым козырьком, пригладил

волосы, сказал: «Доброго здоровья!» и, приблизившись к столу молодой соседки, молвил:

— Серафима Андреевна, баба моя просила тебя к нам зайти.

— Зачем же понадобилась я Пелагее Андреевне? — поинтересовалась она.

— Приди, раз просит. Сделай милость.

После обеда зашла к нам Серафима Андреевна, как всегда хорошо одетая, поздоровалась и, будто не понимая, зачем её позвали, подошла к маме, справилась о здоровье.

А мама того и ждала:

— Серафима Андреевна! Окрести, пожалуйста, не откажи! Дочку бог дал...

— Почему не предупредили? Мне же приготовить всё нужно...

— Да, всё приготовлено. Не откажи, сноси, окрести...

Серафима Андреевна головой повела на младенца, на меня, значит, взглянула, с мамой ласковым взглядом встретилась и тут же спросила настороженно:

— А какое имя дали? Как назвали девочку? Может, Анной или Марией?

Папа взял кiset, спички и вышел из избы, а мама отчего-то виновато призналась, что отец записал Марией, значит, Мария и будет...

— Не пойду крестить! — неожиданно рассердилась Серафима Андреевна, — Марья да Иваны — грибы поганые... — походила по комнате, снова к кровати подошла, подумала.

А мама опять:

— Окрести девчонку, голубушка! Не оставайтесь же ей некрещёной. Сходи, окрести, пожалуйста!..

— Ну, ладно, — милостиво согласилась Серафима Андреевна. — Тогда хоть Милей её зовите. Только не Марией.

Так и пошло: Миля да Миля, и в семье все звали меня Милей. Но не папа! Он всю жизнь, до последнего часу иначе как Марией меня не называл, хоть выпивший, хоть больной — Мария! И всё тут.

Когда мы с мужем вернулись с войны, мама в первые же дни настояла, чтоб мы съездили, навестили мою крёстную и сказала: «Не забудьте поклониться ей в ноги — не переломитесь, а куме будет приятно».

Явились мы к Серафиме Андреевне, замешкались у порога. А она была пронзительна, сразу почувствовала замешательство наше и громко с улыбкой воскликнула, — мол, кума, небось, на колени пасть велела? — обняла нас, поочерёдно расцеловала и велела проходить.

Мы гостили у них три дня, муж крёстной Алексей Ефимович и мой муж быстро, легко сошлись, умно разговаривали, смеялись. Очень хорошо мы тогда у них погостили. На прощание Серафима Андреевна подарила нам два ведра — одно с мукой, другое с картошкой, зелёный чайник, две эмалированные чашки, две тарелки, пару простыней, да пять метров марли. Алексей Ефимович подарил своё ружье.

Серафима Андреевна была человеком удивительным: любила театр и церковь, читала книги, газеты, следила за политикой, иногда с гордостью вспоминала, что в молодости читала романы на французском. А однажды призналась мне, что теперь я стала ей ещё ближе и дороже...

Много они значили в моей и нашей жизни, и я часто их вспоминаю.

«...Была я несказанно рада, Миля, вашей весточке, — продолжала письмо Зоя Павловна. — Книгу тут же принялась читать, несмотря на то, что я теперь почти не читаю из-за потери зрения, вот до чего дожила!

Спасибо Вам большое-пребольшое! Как хорошо, просто и светло пишете о семье, о самой обыденной жизни, о хозяйстве, о том, как жили по соседски. Читать легко и интересно.

Я очень хорошо знала Вашу маму. Она была мудрая женщина. Судя по тому, как она посещала школу, как и о чём беседовала с нами — учителями о своих детях, интересовалась их успеваемостью по разным предметам, деликатно говорила и о недостатках, но и сочувствовала им, мол, по дому приходится помогать, что сделаешь, жалко, да надо, а им и поиграть охота, и вместо нянек часто бывают...

Славная, добрая была Ваша мама, любящая свою семью.

Хочется поближе познакомиться с Вами, узнать, как живут наши писатели, в частности Вы, Ваша семья — писательская. Произведения Виктора Петровича в почёте, как и он сам. Книги его читают с большим интересом, дочери и зятя в восторге от них. Один зять пошёл по моей линии, тоже преподавал в школе русский язык и литературу, теперь и он уже на пенсии.

Извините, Миля, меня за длинное письмо, может, чего не так написала, но мне так хочется с Вами поговорить, и я очень надеюсь уж, если не на встречу, то хотя бы на ответное письмо.

С приветом, Зоя Павловна».

Уже без колебаний и раздумий, с единственной мыслью, что это последний мой шанс, я решила: дальше откладывать поездку на родину уже не могу и начала собираться в дорогу с почти суеверным волнением: только бы ничего не случилось в семье, выдержало бы моё сердце, которое я — горько теперь себе признаюсь — никогда не жалела, не берегла, оно же так много лет служило мне безотказно, с надсадой, но переносило болезни, не подводило меня, и до сих пор ещё часто преодолевает иногда почти невозможное...

Собиралась волнительно, но с расчётом ничего не забыть для дороги: и на жильё там, вплоть до продуктов, поскольку ехали с осиротевшими внуками, чтоб показать им, где родилась и росла их мама, взять подарочки, книги, лекарства, однако ничего и лишнего, чтоб не сдавать в багаж и не терять времени на его получение — у нас в распоряжении всего пять дней. Мысли то беспокойные, то неторопливо-радостные: скоро буду на родной земле, где природа особенная — сразу сливается с памятью. Мой родной город, расположенный на красивейшей реке Чусовой,

именем которой и назван, и прежде был невелик. В нём железнодорожная станция и металлургический завод. Расположен город в низине, и оттого в нём бывало пыльно и дымно, особенно перед ненастьем; однако родина есть родина, и какая бы она ни была, всё равно краше и дороже всех иных мест и земель.

Сейчас за рекой, на горе выстроился Новый город с современными многоэтажными домами. Мне и там побывать надобно, — думала я о предстоящих встречах и разговорах. Мысли текли то печально-



томительные, — редко бываю на родине и это свидание с нею, наверное, уже последнее... Представляла, как молча и горько буду кланяться могилам родителей, нашедших здесь свой последний приют. Поплачу (наверное, не сдержусь) над маленьким холмиком, под которым уже много лет покоится наша первенькая дочка Лидочка, а вина перед нею неизбежно жила в нас все эти годы и так будет, пока мы живы, без вины виноватые, что не смогли её уберечь. Что и говорить, трудно, да и невозможно, наверное, было сотворить чудо... Мы были молоды, радовались тому, что остались живы на войне — не давали себе отчаяться. Однако случались обстоятельства, одолеть которые не всегда хватало сил, они были сильнее — смерть дочки тому свидетельство...

Я благодарю судьбу за то, что рядом со мною был и есть добрый и надёжный человек, мой муж. И ещё — в эти очень трудные

годы нам на нашем жизненном пути встречались, встречаются поныне и сопутствуют добрые, сердечные и преданные люди. Их помощь, их участие, их поддержка словом и делом помогали и помогают нам в жизни и от сознания, что такие люди были и есть, уверенней живётся и работается. Вот и учительницы мои тоже...

Когда дети выросли, у меня стало больше «личного» времени, а Виктору Петровичу уже в ту пору приходилось много читать чужих рукописей. Некоторых из авторов я знала, и потому тоже читала, иногда думала, что так, пожалуй, и я своей левой рукой смогла бы написать. Однажды, когда муж вместе с друзьями (авторами) отправился на охоту, я села и

написала рассказ. Потом несколько раз переписывала его, дописывала. Из него получилась повесть «Отец», которую Вы читали. Я видела и знала постоянную занятость мужа и не докучала своими творениями. Как-то он простудился и велел наклеить ему горчичники. Я всё сделала, села на стул возле кровати и решила — взяла рукопись и прочитала ему вслух.

— А кто это написал? Совсем неплохо... — помолчал, одеваясь, уставился на меня. — Ты что ли? Можно предложить сначала в областную газету...

Спустя недолгое время принёс газету с моим рассказом, положил передо мной и сказал с улыбкой: — Вот, любуйся!

Вот и все мои университеты. Но главное не в этом, а в том, что я, сколько уж лет мы живём — нынче сравняется уже сорок пять! Так вот, всё это время я старалась и стараюсь возвыситься до его ко мне отношения. Он долгое время читал мне вслух всё, что написал и мне хотелось быть такой умной, ска-



зать что-то очень нужное, самое-самое... Когда он говорил, мол, тут ты права, тогда уж не было меня счастливей! А творчество моё — это прежде всего самоутверждение и, главным образом, постоянное желание «наполнять себя» — слушая радио, глядя телепередачи, читая периодику и книги, присутствуя при разговорах, а их в нашем доме бывает много, интересных, необычных, поскольку бывали и бывают, приезжают и приходят к нам интересные люди. Всё это помогает мне «держаться на плаву», быть в курсе дел и событий и не только литературных...

...Мои опасения насчёт того, что мои родные могилы сиротливо «живут» на холодном погосте, оказались напрасными. Добрые люди покрасили пирамидку и оградку, подгнивший крест на папиной могиле прислонили в углу, а могила нашей первой доченьки зеленеет невысоким холмиком под навесом разросшейся берёзы... Я горько каялась, что редко бываю на родине и казнюсь этим постоянно.

Нельзя надолго покидать родителей, нашедших здесь последний и уже вечный приют...

Побывали мы и на «Огоньке», что раскинулся на Арининой горе и где разместился спортивный комплекс, здесь же продолжает полниться памятниками старины этнографический музей и преотличный музей Ермака Тимофеевича! Здесь кузница, часовенка, жилое подворье, журчит, бежит речка Архиповка, которую я множество раз переходила вброд в лёгких лапоточках, когда шли на покос и с покоса, только в другом месте, у Касьяновской будки. В детстве у подножия этой горы мы со взрослыми собирали грузди, валуи, рыжики...



*В гостях у Леонарда Постникова на «Огоньке».
Фото Ю. Н. Ситнова*

Нас гостеприимно принимали, угощали пышными пирогами со свежей капустой, щами, уральскими сдобными плюшками, чай пили с земляникой, ходили, смотрели, слушали Леонарда Дмитриевича Постникова — энтузиаста, радетеля за сохранение истории родного края, и говорили, говорили...

А потом была милая сердцу деревня Быковка! Что говорить, печаль не любит оставлять радость в одиночестве: и тянет туда, и боишься.

Поднимаемся на невысокий берег по тропе, проложенной уже в другом месте. Волнуюсь: боюсь увидеть разоренную, обезображенную родную деревеньку. Скоро вдали, за полем, показалась избушка Паруни, и я заспешила... Стоит себе избушка, как и стояла, на своём утвердившемся месте. Подремонтирована, изгородь в порядке, перед окнами петух драчливый, коза с красивыми рогами, с репьями в шерсти и угрожающим взглядом, да не верещит в ограде поросёнок Путик... Жаль... Всё ушло в прошлое, и уж тут ничего не поделаешь.

А деревня Быковка, к большой моей радости, не загажена, не разорена, только домами поредела. И сразу же на ум пришло

ахматовское: «Я не была здесь лет семьсот, но ничего не изменилось. Всё так же льётся божья милость с непрекаемых высот...».

Навстречу нам бежит молодая женщина, радостно улыбается, сверкает коленками из-под лёгкого платья. Это жена сокурсника нашего сына, которым принадлежит теперь здешнее наше подворье.

Обедали в огороде, где по-прежнему, под раскидистой черёмухой стол, вкопанный ножками в землю, лавки, поблизости, под козырьком-крышей — летняя кухня. Сразу вспомнилось, как хорошо было отдыхать под тенью густой листвы в летнюю жаркую пору. Смотрю кругом: берёзы выросли ровные, стройные, малинник под окнами пристройки разросся, марьины коренья с уже раскрывшимися коробочками-звёздочками в углу, ближе к речке — приосевшая от времени банька. А окрест нескошенные травы так высоки, как рожь!..

...Походили по деревне, побывали в гостях у добрых людей, живших здесь в нашу бытность. «Парунина» дорожка не затерялась, не заросла, так и спускается вниз, к речке, за которой стоит на приволье дом бабушки Даши и живёт в нём теперь её старший сын с семьёй.

В нашем подворье всё так же, только всё состарилось. И в избе почти всё так же, правда, вместо раскладушек, стоят кровати с панцирными сетками, да стол покрыт бархатной скатертью. На стенах несколько небольших пейзажей, написанных и подаренных нам нашими друзьями-художниками, кои часто и подолгу бывали у нас. Только шторка почему-то на одном окне, на остальных — нет, да печь ни разу, видать, небелёная, почерневшая стоит, как паровоз... На сердце тихая печаль.

Долго не могла уснуть. Рано утром вышла в огород, села на скамейку у стола. «На небесах покой и на земле молчание. И всюду тишина...». Смотрю, слушаю, как журчит, перекатывая пёструю гальку, речка Быковка, в которой по-прежнему чистая-пречистая вода. Спуститься бы к ней, да нельзя, выпала сильная роса. А вот и коростель объявился, поскрипел за изгородью и смолк. «Видать, как и я, попрощаться приходил», — подумалось мне.

Ну вот, я выговорилась до дна, как говорится, вспомнила обо всех своих родных и близких, о ком часто думаю. Походила и поехала по родным и другим местам. Воспоминание обо всём этом да тоскливая мысль: не посмотрелась я на свою милую родину... В милой Быковке прошли наши лучшие годы жизни. Как много друзей приезжало к нам туда; велись длинные, интересные разговоры..., какие мы тогда ещё были молодые и иногда отчаянно-весёлые... — всё это будет долго печалить мою душу. И всё-таки хорошо, что я не сказала своей родине: «Прощай!». Осталась и живёт в душе надежда, живёт любовь, неизменная и неистребимая. А печаль от расставания — так она, печаль, действительно, не любит оставлять радость в одиночестве, так было во веки веков, так есть и ныне...

Электровоз*

глава из повести «Отец»

Как-то пришёл к нам Евдоким Кузьмич, отцовский друг, тоже сцепщик, поздоровался и ещё от порога сказал, обращаясь к отцу:

— Всё! Откуковали наши кукушки, Елизарович! Весной, если не раньше, начнут и нашу Луньёвскую ветку электрифицировать! — Кузьмич произнёс это мудрёное слово громко, чётко, с достоинством. — И гляди так осенью помчат по ней электровозы составы длинные, без мала с версту, потому как машины эти сильные и на ходу быстрые!

Отец сидел у окна, на своём обычном месте, и пришивал стельку к валенку.

— Доброго здоровья, Кузьмич! — повернулся он к гостю, отложил валенок на щербатую от гвоздей и ножевых отметин табуретку, стряхнул с коленей пепел. — Присаживайся.

Отец утёр губы ладонью, на тыльной стороне которой отпечатались тёмные косые полосы от дратв, и принялся свёртывать сигарку. Не торопясь закурил, передал кисет с самосадом Кузьмичу, а сам задумчиво и словно печально стал глядеть в окно, на линию, поблёскивающую, как полозьями, стальными рельсами на потемневшем от копоти снегу.

Кузьмич почмокал чуть заметными в рыженькой щетине губами, снял полушубок, пристроил его на гвоздь, одёрнул рубаху и всё так же громко продолжал:

— Дело это большое, Елизарович. Шутка ли — без угля пойдёт машина!.. — Редкие, слежавшиеся под шапкой рыжеватые волосы Кузьмича спадали на изрезанный морщинами лоб. Он то и дело отводил волосы пальцами, сложенными щепоткой, и приглаживал их, как приклеивал, повыше виска. На лбу Кузьмича и на всём его маленьком лице проступали бледные, крупные, как родимые пятна, веснушки, а голубенькие глаза возбуждённо блестели. — А после и автосцепку изладят!

Кузьмич говорил всё громче, заразительней, будто чувствовал, что отец сомневается, и хотел во что бы то ни стало убедить его, заставить поверить:

— И полегчает наша работа, и заживём мы, Елизарович!.. Я видел в Москве такие электровозы. Наш фэдэ против них — кляча, прямо скажу. Машинист в электровозе у окошечка сидит, в чистой одежде, и только кнопочки нажимает. Я вот только думаю: там уж, наверное, ездят не простые машинисты, как на паровозе, а инженеры либо техники? Такой машиной управлять не всякий сможет...

Отец попыхивал большущей сигаркой, поглядывал в окно и молча слушал Кузьмича. А мы, тесно усевшись на кровати, затаив дыхание, ждали, что и отец сейчас начнёт рассказывать про этот электровоз, который осенью,

* Корякина М. «Отец»: повесть. — Перм. кн. изд-во, 1968. — С. 125-137.

а может и раньше, помчится мимо нашего дома, а за ним покатятся сто или больше вагонов.

Отец слушал Кузьмича, тихо улыбался и старался погасить в себе сомнения, запавшие вместе с радостной вестью. Он ласково и тревожно поглядывал на нас, на мать, задержавшуюся у входа в кухню, и молчал.

Отец не видел такого электровоза, о котором рассказывал Кузьмич. Он только очень ждал и очень хотел, чтобы поскорее появились бы и пошли эти электровозы, чтобы скорее автосцепка пришла бы на смену ручной, и тогда им с Кузьмичом не так тяжело будет дежурить смену, составлять и сцеплять составы, кидать форкопы.

И как только солнышко стало греть сильнее, светить ярче и дни стали длиннее, работа на линии закипела вовсю.

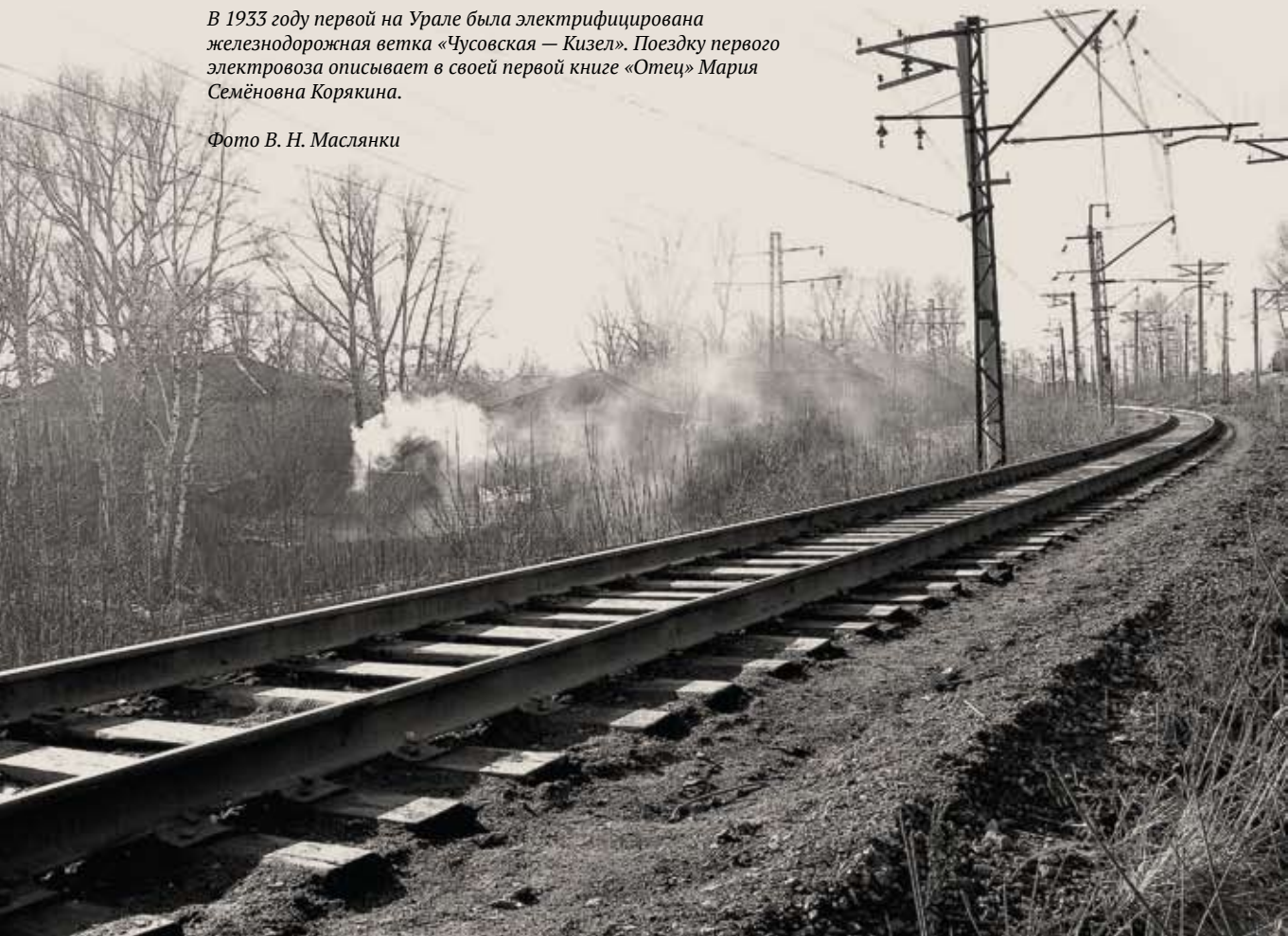
Рабочие подтаскивали сваленные обочь линии новые шпалы, крепко прибивали костылями стальные рельсы, длинной блестящей линейкой с какими-то рамками и делениями на концах тщательно измеряли каждый метр железнодорожного полотна.

А другие рабочие копали ямы, ставили высокие просмоленные столбы. Третьи тянули по ним толстые, тяжёлые провода.

Рабочие работают, солнце греет, дело продвигается. Бровки возле насыпи оголились от снега и зеленеть начали.

В 1933 году первой на Урале была электрифицирована железнодорожная ветка «Чусовская — Кизел». Поездку первого электровоза описывает в своей первой книге «Отец» Мария Семёновна Корякина.

Фото В. Н. Маслянки



Мы прибегали из школы, быстро-быстро делали уроки, управлялись по дому и бежали на улицу, усаживались на новые шпалы или на прогретые солнцем и пересыпанные галькой зелёные бровки. Мы наблюдали за рабочими и даже помогали им: подносили костыли, подавали прокладки — деревянные квадратные планки величиной с тетрадный лист, то в ковше приносили пить. И очень переживали, когда рабочие садились обедать или просто отдыхать и засиживались слишком долго.

Нам так хотелось скорее увидеть электровоз!

И дома разговоры про электровозы заводились всё чаще и чаще. Антон читал о них в книжках и рассказывал отцу. А отец скажет слово-два, а потом слушает, головой согласно покачивает, сидя на своей седухе у окошка, подколочивая обутки.

Был сухой, почти летний день. Отец спал на печке после дежурства и чуть слышно постанывал во сне. Мы расселись за столом, и мать принялась разливать суп. Но пообедать толком так и не смогли. Мать уже направилась к печке, чтобы разбудить отца, как дверь отворилась и в избе появился нарядный шумный Евдоким Кузьмич.

— Здорово живём, Архиповна! А Елизарович где? Спит? — проследил он за взглядом матери. — Буди давай! На митинг надо! Откуковали наши кукушки! Всё! — Кузьмич хлопнул фуражкой, торжественно потряс рыженькой головой и подмигнул нам всем разом: — Электровоз сегодня пускать станут!

Мы от неожиданности открыли рты, потом повскакивали, зашумели, ринулись было на улицу, но мать молча, только взглядом показала на место за столом — еда поставлена, — а сама приблизилась к печке, тронула отца за ногу:

— Отец, проснись! Обедать пора, да и Кузьмич вон тебя спрашивает...

Отец ещё с минуту полежал, потом поднялся, свесив ноги, сел на край печки, утёр губы ладонью и нашёл взглядом Кузьмича:

— Доброго здоровья, Кузьмич. — Отец неторопливо слез с печки, достал валенки, обулся, потом умылся, причесал волосы гребешком и сел за стол. — Подвигайся, Кузьмич, чем богаты...

Мать и Кузьмичу налила супу. Он потёр крупные для его приземистой фигуры руки с коротенькими сносившимися ногтями, подсел к столу и стал проворно хлебать из чашки.

Пока мы ели, мать переоделась в чулане и вышла в коричневом шерстяном платье, в чёрном кашемировом полушалке, смущённая и непривычная. Отец с Кузьмичом поднялись из-за стола и тоже стали собираться. Пока отец переодевался, мать вполголоса обстоятельно наказывала, что и как без неё сделать надо: корову встретить, подоить и самовар когда поставить, картошки начистить.

Мы опять сидели на бровке возле линии и прислушивались, не идёт ли электровоз. По обе стороны линии толпился народ. Люди всё подходили и подходили, и стало уже так многолюдно, будто весь город сюда собрался. Матери крепко держали своих ребятишек, чтобы те ненароком не угодили под электровоз, хотя до этого дня все мы целыми днями играли возле линии, а то и на самой линии. И вот послышался гул, незнакомый, долгожданный, всё нарастающий.

Появился электровоз!

Появился он неожиданно, как из-под земли вырос — тяжёлый, отблёскивающий синей краской, без трубы, без дыма, с замысловатой рогаткой на спине. Спереди на нём большая красная звезда. Над нею огромная фара. Всюду, где только можно, развешаны флажки и плакаты. На электровозе, держась за поручни, стояли люди в железнодорожной форме, что-то выкрикивали и размахивали фуражками. Что они кричали, из-за шума разобрать было невозможно.

Мы и дух ещё не успели перевести, а огромная красивая машина, продавливая рельсы и даже шпалы, уже пронеслась мимо.

Ждали электровоз долго, а прошёл он быстро, как пролетел, огласив округу густой, басовитой, вовсе не похожей на паровозный гудок сиреной.

Люди ещё какое-то время стояли ошеломлённые и растерянные, глядели вслед умчавшемуся чуду. И только потом, будто опомнившись, громко разом заговорили, заахали и медленно, словно сожалея о чём, стали расходиться.

А мы остались. И ещё много ребят осталось возле линии.

Мы ждали, когда электровоз пройдёт обратно. Выбегали на линию и на спор, дёрнет или не дёрнет током, прикладывались ухом к холодным рельсам.

«Появился и исчез! Как в сказке! — почему-то подумалось мне тогда, и тут же припомнилась сказка, страшная и интересная: — Вот мчится лошадиная голова! Лес качается, сучья трещат! Остановилась она и говорит: «Девочка, девочка, полезай ко мне в правое ухо и в левое вылезь!». И вылезла девочка принцессою...».

Слова из сказки я, видно, проговорила вслух, потому что ребята враз перестали возиться и громко захохотали.

— Сама-то ты лошадиная голова! — сквозь смех выкрикнул какой-то незнакомый парнишка и тут же запрыгал и закричал: — Лошадиная голова! Лошадиная голова! Эй, ты, лошадиная голова! — Он подбежал ко мне и дёрнул за волосы.

Я отскочила и закрыла лицо руками, но тут же услышала, что парнишка тот заревел, посмотрела, а он бежит от линии, придерживая штаны с оторвавшейся лямкой. Я догадалась: Генка с Лёнкой дали ему и за лошадиную голову, и за электровоз!

Весь вечер только и говорили о первом электровозе. К нам приходили соседи посидеть, поделиться впечатлениями. Дядя Егор был выпивши. Опёршись руками в широко расставленные колени, он смотрел в пол, крутил головой и всё что-то наговаривал сам себе, разобрать же можно было только «ечмену кладь». Тётя Нюра рассказывала, будто электровоз тот останавливался на каждом разъезде. Путевые рабочие залезали на площадку электровоза и плясали вприсядку, и только после этого невиданная машина шла дальше...

На другой день, в воскресенье, был общегородской праздник. Праздновали День железнодорожника и пуск первого электровоза.

На заборах, на дверях магазинов, на клубе — всюду висели объявления

о том, что на лугах, за рекой, состоится загородное массовое гуляние, будет буфет, будут танцы под духовой оркестр, игры и аттракционы.

С самого утра нарядные железнодорожники парами, семьями, а то и табунами шли и шли в сторону оврага, к переправе через Комасиху, организованной по случаю массового гуляния. Паром, как огромная подсадная утка, прикреплённая к канату, скользил от берега к берегу.

Мы явились на луга, когда веселье там было уже в полном разгаре. Первым делом обошли всю округу, где проходило гуляние.

Буфетные столы густо и напористо осаждали мужики. Потные и довольные, с высоко поднятыми над головами бутылками, один по одному выбирались они из людской гущи на простор, одёргивали выбившиеся рубахи, утирались и направлялись всяк к своей компании.

В стороне на просторной поляне работал затейник, молодой парень с бакенбардами и усиками, в парусиновых брюках и белых туфлях. Он показывал фигуры танца, затем раскидывал руки и кричал: «И-и-и р-р-раз!..».

Шумно и весело было возле аттракционов. Мы едва протиснулись вперёд. Парень с завязанными глазами шёл к шнуру, протянутому меж кустами, тыкал рукой с ножницами, резал пустоту и всё дальше в сторону уходил от цели. Пожилой мужчина задом наперёд шёл по бревну. Чуть в стороне девушка бежала от табуретки к табуретке, черпала ложкой воду из одной тарелки и, пока бежала к другой, в ложке уже было пусто. Мы постояли, но внимания на нас никто не обращал, выбрались из тесного круга и пошли дальше.

Под развесистым осокорем расположились музыканты и почти без перерыва дули в трубы. Грохал барабан. Потные и разгорячённые пары лихо отплясывали краковяк, самозабвенно топтались, выделявая фигуры фокстрота, и вихрем, совсем уж бесшабашно кружились в вальсе. На вытоптанной площадке было тесно. Пары налетали друг на дружку, толкались, наступали на ноги, но разбираться и извиняться некогда: пока играет музыка, надо танцевать.

Музыканты играли так призывно и заразительно, что нам тоже захотелось танцевать. Но кружиться вместе со взрослыми мы не решились, а отбежали за кусты, вслушались в музыку, разделились на пары и начали подражать взрослым. Чего только ни выделявали мы ногами, как ни танцевали, пока не выдохлись! Посидели, посмеялись и отправились гулять по вытоптанной траве.

Представление о времени мы потеряли и чувствовали только, что сильно проголодались. Когда снова подошли к танцевальной площадке, затейник с бакенбардами был уже тут. Он громким голосом объявил прощальный вальс.

Народ потянулся на берег.

Когда мы подбежали к реке, паром только что отчалил. Мы остановились возле мостков и стали ждать. Народ всё подходил и подходил. Берег тяжелел от громкого говора, песен и смеха, гудел и переливался яркими пятнами от нарядной одежды.

Наконец-то паром вернулся к скрипучим мосткам из новых, неструганых и затоптанных досок. Лизка, Танька, я и Галка юркнули под перекладину, устроились в переднем углу, возле каната, и увидели, как народ плотной стеной выстроился подле самой воды и на мостках в ожидании переправы. Люди

тоже не стали ждать, когда паромщик выдернет из скоб перекладину. Одни верхом переваливались через неё, другие нагибались и подлезали снизу.

Скоро перекладина оказалась на полу.

Паромщик силился остановить людской поток, кричал, чтоб не лезли... Но на пароме уже было не пошевелиться. Паромщик поднял тяжёлую струганую жердину, пытался засунуть её концами в скобы. Да где там! Люди всё напирали, увлекали за собой и перекладину, и паромщика. Он не вытерпел, плюнул и бросил жердину. Кто-то ойкнул, заругался: перекладина больно ударила по ногам. Но общий шум заглушил и вскрики, и ругань паромщика.

Нас вовсе притиснули в углу, а люди всё ещё цеплялись, карабкались, тяжело взбирались на паром.

Паромщик, кряжистый, немолодой, с узловатыми жилами на шее, поплевал на руки и несколько раз натужно перехватился по канату. Мужики, оказавшиеся поблизости, стали ему помогать.

Тяжело ударяясь огромным веслом, прикреплённым к стойке, о каменистое дно, паром чуть отчалил от берега и замер на месте.

— Не повезу! Перетонете! И я вместе с вами! Не повезу! — Паромщик с силой начал расталкивать людей, пробираться к борту, будто собрался покинуть паром с оголтелой публикой. — Вон барка как осела! Спрыгивайте, кто с краю! Река ведь, не канава!..

Бабы, посерьёзнев, вытягивали шеи, заглядывали в воду и тоже принимались уговаривать тех, кто с краю, сойти на берег.

Мужики в ответ на это в десяток рук ухватились за канат и под команду «Раз-два, взяли!» заперебирали толстый витой цинк, мешая друг дружке.

Мне послышалась в голосе паромщика не угроза, а тревога. «Пожалуй, и нам надо сойти на берег, — подумала я, но тут же оправдалась перед собой: — Мы же первые зашли на паром. Пусть выходят другие, кто после пришёл».

Паром между тем скрипел, подрагивал и тяжело, будто в глину, врезался в воду, медленно удаляясь от берега. Поплыли! И вот уже стали различимы кусты ивняка, разросшиеся над самой водой. А на пароме вдруг началось движение: все запереступали, затолкались. Ногам сделалось холодно и сыро.

— Вода-а-а-а!..

— То-о-оне-е-ем!..

— А-а-а-а!.. — дикий вопль раскатился по парому.

А вода, как после большого ливня, всё прибывала, поднималась, дошла до щиколоток, до колен, до пояса, нам и того выше. Кругом шум, визг, неразбериха. У мужиков из карманов поплыли коробки с папиросами, спички. Всплывали яркие подошвы. Иные надувались пузырьём, но тут же скручивались, слипались, сковывали движения.

Паром качнуло, и задний его борт начал медленно оседать, проваливаться. Люди волной схлынули в воду, забарахтались, забились, разноголосно, истошно заорали. Они хватались друг за дружку, подминали под себя один другого, стараясь выкарабкаться наверх и уцепиться за настил парома. Но их подминали уже другие. Некоторые выныривали, хватали открытыми ртами воздух, отчаянно и беспомощно колотили по воде руками и ногами. Не все умели плавать,

но и тем, кто умел, выбраться из этой сумятицы было очень трудно. Вода кипела, завихрялась. Один парень подпрыгнул, уцепился за канат руками, подтянулся и, как в тиски, захватив канат ногами, стал медленно пробираться к парому. Хватались и за него, но парень отпинывался.

Облегчившись, паром выровнялся. Вода пошла на убыль. Оказывается, один борт его накренился и просел между старыми сваями, уцелевшими от давно снесённого в половодье моста. А теперь вот выровнялся, сел.

От берега отделилась лодка. Два мужика, налегая на вёсла, рывками гнали лодку вперёд. Лодка ещё не успела пристать к парому, как к ней кинулись люди. Они цеплялись за борта, карабкались из последних сил. Кто половчее да потрезвее, переваливался через борт, плюхался на дно лодки и переводил дух.

Мужики отложили вёсла, стали помогать людям, но скоро поняли, что двоим не управиться, и снова взяли за вёсла. Они старались выровнять лодку и орали бабам и мужикам, лепившимся со всех сторон, чтобы те не отпускались, но вели бы себя спокойно, тогда они доведут лодку до берега. Люди не слушали, лезли, бились, полуживые липли к лодке, как ракушки к затонувшему кораблю. Лодку разворачивало, раскачивало, она всё больше черпала бортами воду и скоро уже вверх дном облегчённо покачивалась невдалеке от натянувшегося каната.

Вопль нёсся с берегов. Люди махали руками, кричали и плакали. Рёв низкой дождевой тучей сгустился над осевшим паромом и, как густой туман, повис над Комасихой.

Паника унималась постепенно. Откуда-то появилось очень много лодок. Они одна за другой без устали сновали по реке, шлепались о борта паромы, принимали людей и без заминки бежали к берегу. Несколько лодок кружили ещё по воде, вылавливали и спасали тех, кого относил течением. Лодочники внимательно всматривались в воду, но людей в воде уже не было. На пароме народу тоже оставалось всё меньше.

Мы так перепугались, что не заметили, как стронулся паром со старых свай, заскользил по воде и уткнулся в сходни.

Лизка взяла Галку и Таньку за руки и повела их по сходням на берег. Я смогла вслед их тоненьким фигуркам в мокрых платьях, тоже порывалась бежать, но пальцы мои все ещё стискивали сырую гранёную скобу, и я никак не могла их расцепить.

Первым делом мы отбежали от людской толчеи, укрылись в ивовых кустах, скинули с себя платья, отжали и развесили. Вылили воду из ботинок и разложили их на солнышке. Полуголые, босиком, мы прыгали, чтобы согреться и поскорее забыть о недавно пережитом страхе.

Платья маленько подсохли. Мы быстренько натянули их на себя, тёплые и мятые, обулись в побелевшие сырые ботинки. Лизка вытащила из кармана четвертинку шляпы от подсолнуха с выеденными семечками, выколукала из середины белую мякоть, которой мы часто натирали ботинки, чтобы блестели, хотела подновить. Но мякоть намокла, раскисла, и Лизка брезгливо закинула её в кусты. Платья на нас смешно топорщились, в ботинках хлюпало, но беспокоило не это, а что скажем дома?

Направились домой, уговорившись заранее ничего не рассказывать.

Переправа больше не работала. Люди нескончаемой цепочкой, похожей на огромную, пёструю гусеницу, тянулись по тому берегу к железнодорожному мосту.

Мать вскрикнула, увидев нас, приложила руки к груди и с благодарностью обратилась к образам. Губы у неё шевелились, пальцы перебирали мелкие оборочки на кофте у ворота, а мы стояли и ждали, когда она заругается или заплачет.

Тётя Нюра Исупова сорвалась с табуретки, стала тормозить то меня, то Галку и всё спрашивала про своих девчонок. Я сказала, что они уж дома сидят, и снова устала матери в спину. Тётя Нюра будто не могла сразу поверить, ещё потрясла меня, но тут же выпустила и бросилась к двери.

— Дошла до бога твоя молитва, Архиповна! — невесело проговорила она на ходу. Тётя Нюра не признавала бога и часто необидно подзуживала мать.

— Я уж молилась тут Николаю-чудотворцу, — будто оправдываясь, тихо заговорила мать, собирая на стол. Голос её срывался от слёз. — Сколько, говорят, народу погинуло...

Стукнула калитка, и в избу вошёл отец. Он прошёл на кухню, звякнул большим медным ковшом о ведро и шумно, большими глотками начал пить. Я слышала, как он опустил ковш в ведро, постоял, ещё раз напился, перевёл дух и только после этого вышел из кухни. У порога он снял грязные сапоги и поставил их в угол, повесил на гвоздь тужурку и устало опустился на седуху.

Галка, как ни в чём не бывало, доедала картофельную шаньгу и припивала молоком. А я с трудом проглотила кусок, отодвинула кружку, устала перед собой в стол и стала ждать, что скажет отец.

Отец молчал.

Я, не поднимая головы, встретилась с его взглядом, вздрогнула и отвернулась. Отец кашлянул, порылся в кармане, достал кисет, но закуривать времени не было.

— Пошто к реке-то лезете? Какие с водой шутки? — спустя время сказал он и снова замолчал. — Я вон с плотами одинова... Думал, не выберусь... А вы малы ведь!..

«Дура я, дура! И чего попёрлась на это гуляние? Дура я, дура!.. Но ведь массовое же! Кто же знал?..».

— Сейчас есть станешь или перед сменой? — спросила у отца мать, прервав мои горькие раскаяния.

— После, — тихо отозвался отец, докурил сигарку, посидел ещё и полез на печку.

...Паровозы тем временем ходить стали вовсе редко. Вместо них могучие электровозы тянули длинные составы.

Постепенно привыкли и к электровозам, привыкли и к тому, что изба наша уже не так мелко и легко подрагивала, как в те времена, когда мимо проходили паровозы, а тонко позвякивала стёклами, судорожно дёргалась, и чудилось нам, будто под полом вздыхала земля.

В. Я. Курбатов

Свеча, зажжённая с двух концов*

После станции Калино я встаю к окну. Скоро поезд повернёт, и я увижу любимую реку, Саламатову гору, а там начнёт открываться и вольно разворачиваться вся чаша долины, где сходятся Вильва, Усьва и Чусовая и где дымно и размеренно живёт сам мой родной город. Мелкие чёрные от сажи домишки Лисьих Гнёзд, Дальнего Востока и Красного посёлка будут сыпаться вниз с окружающих гор, крупнеть, одеваться камнем и постепенно делаться Городом и Загородом.

Река Чусовая, станция Чусовская, город Чусовой — это, может быть, смущает филологов и этнографов (отчего так по-разному?), а для меня — сердце и счастье, слепящее детство в божественной нищете, голоде, коммунальной тесноте, которые осознаются, только когда уже одеты золотым светом воспоминания и только умножают нежность к ушедшему, как всякое миновавшее испытание, так что я даже и не знаю, есть ли детство у сытых и благополучных детей и из чего складываются их воспоминания.

Теперь и здесь ширится за рекой и перетягивает в себя жизнь Новый город. Но он уже никогда не будет моим. Я навсегда останусь в старом, видя в его угасании и забвении и свою старость и радуясь тому, что мы так естественно уходим вместе, всё чаще взглядывая на гору, где лежит под крестами, полумесяцами и звёздами уже отстрадавший своё и окончивший земную дорогу Чусовой наших отцов, да уж и многих сверстников, а то и детей.

Мне тем легче славить этот город и тем легче его помнить, что есть с кем разделить восхищение им и печаль о нём. В нём написал свою первую книгу Виктор Петрович Астафьев. О нём, о довоенном чусовском детстве, таком похожем на моё послевоенное, написала его жена Мария Семёновна Корякина в первой светлейшей своей повести «Отец».

Тут бы сразу и пересказать эту её прекрасную светлую повесть, погреться вместе с нею возле простых радостей и добрых людей, притворившись, что все они живы, что спасительное русское слово сохранило их навсегда такими, какими они были тогда перед великой войной... Но днём я был на месте дома, в котором герои повести были когда-то счастливы и спокойны, измучены и печальны, здоровы и изработаны до последней жилки. Несколько увечных деревьев чернеют там, затиснутые железными гаражами, и на них, кажется, даже летом не садятся птицы. А потом поднялся на Красный посёлок к старому кладбищу, где оградки уже часто вырастают в успевающие постареть берёзы и ели, и где даже внезап-

* Астафьева-Корякина М. С. «Сколько лет, сколько зим»: повести, рассказы, очерки: [предисл. к кн.]. — Красноярск: Офсет, 2000. — С. 3-10.

но вскипевший снежный заряд на мгновение усмирён тишиной последнего человеческого приюта, и там поклонился тени тех, о ком вчера читал в повести с любовью, улыбкой и верой, что можно остановить время.

Ветер рвал полотнище мокрого снега, слепя и загораживая город внизу и как-то одушевлённо грозя зачеркнуть бывшее, да и настоящее, одним этим торжествующим кладбищем, подавить давний свет злой силой и изгладить из памяти сияние жизни. Но я уже знал, что подойдёт вечер, я вернусь в избу, предложенную мне добрыми людьми, истоплю печь, открою так по-особенному читающуюся здесь повесть, и опять не будет ни мёртвых деревьев среди гаражей, ни тесной ограды, заключившей уже так многих родных Марии Семёновны, а опять встанет в повести пораньше мать, сядет за свою вечернюю сапожную работу отец, зашумит «войско» их детей, придёт добрейший аптекарь Серафим, соберётся замуж богатая Руфочка и всё опять оживёт и наполнится радостью всё примиряющего детства.



И ещё я пойму, что ничего не надо пересказывать и толковать, когда книга перед глазами читателя и он волен войти в неё сразу, минуя это предвещающее слово. Что скорее всего и сделает. И я пишу не для того, чтобы удержать его и принудить глядеть моими глазами. Мария Семёновна пишет так чудно просто и естественно, и её мир так по-русски обыкновенен, что всяк слышит сквозь текст своё сердце и не ищет посредников. Скорее, я надеюсь таким образом выговорить зажжённую книгой печаль и свет своего воспоминания. И, может быть, понять причину неотступного чувства присутствия кого-то третьего между читателем и книгой. И не знаю, для меня ли одного или и для других читателей тоже, но я с первой книги Марии Семёновны, которая была подписана одной её девичьей фамилией — Корякина (так потом были подписаны почти все её книги) до последней — драматической, а временами и трагической автобиографии «Знаки жизни», справедливо помеченной при выходе и фамилией мужа — Астафьева-Корякина, всё время чувствовал за спиной дыхание Виктора Петровича.

Вполне может быть, что это действительно у меня одного оттого, что я получал и впервые читал её книги в их общем доме. А все-таки и не только от этого. О, как это будет интересно грядущему исследователю — ловить тайные переключки сюжетов и судеб, и сколько он откроет дорогого для русской литературы, да и просто для понимания тайны творчества. Но что-то видно уже и сейчас до дальнего загляда.

«Отец» родился, когда уже вышли все лучшие светлейшие главы «Последнего поклона», которые она перепечатывала не по разу (как всё у Виктора Петровича во все годы), которые боготворила, у которых нечаянно, без всякой мысли об этом, училась чистоте любящей памяти. И однажды своя семья собралась в ней сама собой так живо, так спасительно, так необходимо душе, что осталось «только записать», только пробиться сквозь сопротивление слова к простой правде памяти, не повредить это чудо воскрешения.



М. С. и В. П. Астафьевы, 1984 г.

И как же верна была интонация! Наш бедный Чусовой с его словно чуть выцветшей, припорошенной сажей, обесцвеченной жизнью был написан почти без красок, как фотография из старого сундука, но именно эта бедность и была правдой. Да и характеры были спокойны и просты, каковы они обычно на городской окраине, куда словно сама судьба относит всё здоровое и негромко целостное, что обычно зовётся «фоном» жизни и что по существу составляет её крепкую сердцевину.

Писать этот мир необычайно трудно, если не сталкивать в нарочитую героину позднего Кочетова, в метафизические пропасти Платонова или иронию Сологуба.

Мария Семёновна как будто сознательно ушла от художественных тонкостей, доверившись любящему сердцу, и это послушание правде сделало повесть сразу родной русскому читателю, так что она спокойно входила потом в разные издания и везде была у места.

Самой желанной, конечно, была тогда при рождении первой книги похвала Виктора Петровича. Очевидно, ему дороже всего было именно то, что в ней не было и тени подражания, а вполне своя мера свободы и любви. Вот разве улыбка была его. Я слушаю, как обсуждают девчонки беременевшую Руфочку из неведомого им состоятельного мира и вижу, как посмеивается Виктор Петрович: «Я никогда замуж не пойду! Я думала замуж — это хорошо. А он, оказывается, какой страшно-ой, замуж-то, ноги тонкие, лицо синее, брюхо большое... Ходит и ревёт-от». Он бы тоже не удержался. И всюду как улыбка, так он, его смешливая, цепкая к радости память. Ну и то ещё, наверное, проступает, что сам-то Виктор Петрович после войны, когда они приедут в Чусовой с Марией Семёновной, будет заниматься именно тем делом и именно на той станции, где работал до этого её отец — поневоле что-то накладывалось и сквозило. Но опять не поэзией, не искусством, а тоскующей правдой.

...И там, на кладбище, под кипящим снежным зарядом перед смиренным крестом всё поневоле вспоминалась повесть и всё думалось — что это был за мир, что за люди, умевшие всё перемогать без жалобы, с неизменным светом, как сам этот ненаглядный отец героини с его присказкой «иной раз подумаю — дак хоть не живи, а опять раздумаюсь — дак хоть заживись»? Куда они делись — целая страна с отчётливым лицом, так не похожим на «до революции», но таким русски-старинным, что дети этой страны легче, чем мы, узнали бы себя в детях Аксакова и Короленко, Гарина и Толстого?.. Писательница не спрашивает об этом. Это спрашивает наша нежность и сентиментальность при чтении, наше вдруг осознавшее себя сиротство, словно так же ушла, растворилась в безумии мира и наша семья, наш род и дом.

И как ей самой хотелось набиться в этом свете, подольше удержать его, не пустить на страницы властно подступающую войну. Но остановить уже было ничего нельзя, и она вышла из повести торопясь, скороговоркой эпилога, чтобы не успеть потерять тепла, не выстудить уже обжитого читателем дома.

Для страшных страниц истории этой реальной, уже не загороженной даже малым вымыслом, не защищённой художеством семьи она найдёт другое время, когда будет побольше сил и горше, нестерпимее станет своя судьба. А пока школа повести была так хороша и первый опыт так удачен и внутренне ладен, что Мария Семёновна уже без страха пускалась в сюжетную, уверенно порывающую с прямой памятью прозу художественного воображения, входила в свою писательскую дорогу.

И там, в этой прозе, в малых повестях, больших и малых рассказах («Пешком с войны», «Анфиса», «Был день», «Надежда горькая, как дым») царила всё та же доверчивая простота рассказа в самом его житейском понимании. Так старые деревенские женщины могут сказать: если бы списать мою жизнь, получилась бы такая книга (и Горький, действительно, в свой час велел списывать эти жизни, чтобы не западала землёй самая сердцевина жизни). Так человек горячечно шепчет в купе нечаянному соседу всё, что не всегда может сказать священнику. И опять это были русские характеры и русская жизнь — то есть, через край беды, горя и одиночества. Но нигде ни автор, ни герои не ищут жалости и не ожесточаются, потому что по существу и не знают иной реальности. Да и знали бы, не ожесточились.

Как вспомню, как после войны мы с мамой и братом приехали к отцу в Чусовой и как жили в одной барачной комнатке в Доме холостых метров на восемь да ещё с хозяином, пустившим нас из милости, никаким усилием ума не могу нас там разместить. Вши не от грязи, а от нищеты, окно на уборную во дворе, а вспомню то первое лето, и вижу только, как висит высоко в чистой синеве над домом бумажный змей на целых двух



Портрет М. С. Корякиной.
Худ. А. Л. Набатов

катушках и летят к нему «телеграммы» по нитке. А беда — так куда от неё, она у всех, она просто порядок жизни.

И герои, а чаще героини рассказов Марии Семёновны — хорошие ученицы своих терпеливых матерей, спокойно, а временами даже весело делают страшную работу жизни, как какая-нибудь Настька из «Сколько лет, сколько зим» или бедная Тоня из «Пешком с войны». Может, они по книжкам и кино знали о другой нарядной жизни, но эта была — их, и они ни на кого её не перекладывали. Все они чем-то похожи друг на друга, как похожи в разных концах России фотографии в общих рамках по стенам деревенских изб — наши «фаюмские портреты», наша святая археология, наша чёрно-белая история.

И я уже не могу представить, как это будут читать молодые современные читатели, вскормленные кондитерской телевизионной нежитью под зазывные приглашения «оттягиваться со вкусом» и «жить без боли».

Как жестока была жизнь, как страшна! Эти дикие драки на базарах, эти амнистии к дню рождения товарища Сталина, когда каждую ночь кого-то раздевали, а то и убивали, эта злая барачная нагота откровенного, не стыдящегося себя быта, эти ежедневные телеги и полуторки, влекущиеся на кладбище. Но сквозь всю эту обиходную тьму — спокойный необманчивый свет незыблемой надежды и никуда не девшейся системы координат, когда зло знает, что оно зло и не переодевается добром. И когда я сегодня вдруг, стесняясь себя, плачу над рассказом «Был день» о девочке, вопреки очевидности после похоронки годами ждавшей отца с войны и дождавшейся, и тотчас узнавшей его в толпе на перроне, я слышу в себе эту тогдашнюю закваску, когда и своё, и чужое горе уже не достигают сердца — столько его перевидали, а радость всё ещё подкашивает и не даёт удержать слёз. Это эхо того миропонимания, того внутреннего добра, ожидающегося в душе своего неизбежного часа.

Вопреки общему сегодняшнему иронизму, скажу даже, что мы не воспринимали как неправду ни «Сказание о земле Сибирской», ни «Кубанских казаков», потому что занимали нас в них не недостаток и не обманное благополучие, не лозунги и морали парторгов и председателей (мы их и не слышали), а любящее сердце, чистота ожидания и неколебимость веры в добро.

Эта вера держит и все тогдашние, уже далекие от Урала, от живой памяти сочинения Марии Семёновны (они жили тогда с Виктором Петровичем после Перми в Вологде и уже собирались в Красноярск). Поглядеть бы хронологически, что писал в эти годы Виктор Петрович, — тоже непременно проступила бы параллель. И тут больше было «чужого», «общего» — рассказов и повестей высокого достоинства и чистой пробы, но тоже как будто над своим сердцем и над собственной судьбой, которая обоим давала передышку перед могучим, сбивающим читателя и переламывающим устоявшуюся в читательском сознании общую их писательскую репутацию рывком последних лет, когда у обоих выходили переглядывающиеся сюжетами и героями горькие, а часто и жестокие книги.

Один из последних документальных фильмов об Астафьеве назывался «Жизнь на миру», как, впрочем, называлось и предисловие ко второму, увы, незавершённом собранию его сочинений в «Молодой гвардии». Это и вообще-то черта русской прозы и русского быта — жить на миру: мы и без специальных исследований, кажется, всё знаем о Толстом или Горьком, Пришвине или Розанове из одних их безутайных сочинений. А уж Виктор Петрович и вовсе в родной традиции статья особая. «Последний поклон», «Ода русскому огороду», «Царь-рыба», «Так хочется жить», «Весёлый солдат» — он сразу знал, что нет материала ближе и неисчерпаемее, чем собственная растворённая в драматической истории Родины жизнь. Всякий из нас — сын человеческий и носит в себе весь мир, да только Бог бережёт от осознания этого, чтобы человек не упал посередине житейской реки, как святой Христофор, переносивший через реку жизни младенца — смысл мира. А если ты живёшь не один, то жди, что на миру окажутся и все твои близкие, как первая и самая верная часть этого «мира».

Большой художник — это воронка властная и с годами захватывает в своё вращение не только мелочь учеников, подражателей, приживал, но и близкие таланты. Мария Семёновна в пути жизни медленно отсекала свою жизнь, как бы постепенно теряла нажитые не с ним привычки, черты характера, родные воспоминания, художественные привязанности в то время, как он властно вбирал в творчество всю их общую жизнь, её семью, её предание, увиденные им с сестрой часто смущающей её сторо-

ны. Её собственная память искала защиты, и тогда стали появляться документальные, мемуарные книги Марии Семёновны, в которых читатель Астафьева узнавал те же факты и порою одних героев в неожиданно новом для себя, иногда уточняющем, иногда противоположном толковании.

Мария Семёновна всегда утверждала: «Я пишу простых людей», и это было правдой. Она и писала, и пишет их просто и естественно, живо и верно сохраняя интонацию повседневности, счастливо умея перевести в слово бедность дня, не повредив его внутренней поэзии. Но и Виктор Петрович пишет тех же людей, а мы почти не узнаём их, потому что они тотчас становятся его зеркалом и выглядят всегда крупнее, ярче, сочнее, оживляются воображением и страстью и начинают жить властными законами художественного пространства, уже не подвластные себе. Жизнь, оставаясь частной и повседневной, неожиданно напрягается и прорывает оболочку дня, наливаясь силой и яростью и обнаруживая скрытый в ней эпос и тугие романские пружины. Он извлекает в характере не бывшее, но могущее быть, достраивая жизнь до художественного произведения, до духовного преображения. Не всегда светлого. Когда темнеет время и с ним душа особенно страдающего от зла мира художника, его проза темнеет вместе с ним, краски мрачнеют, рисунок подсыхает и теряет тонкость отделки, являются крупные плоскости обобщений. И когда это касается близких людей, Мария Семёновна, побуждаемая самим законом охранения жизни и правды, как она её знает, берёт в руки перо и, умоляя: «Верьте мне, люди», пишет «как оно было», как бы затагивая зияния, оставленные художником, и возвращая миру его прежнюю цельность, его право на бедную, не обогащённую, не тронутую властью художника жизнь.

Можно только догадываться, как временами ей было больно, а то и страшно, но она сама была писатель и знала, какой ценой даётся и берётся право на свидетельствование. Мария Корякина всё более уступала Корякиной-Астафьевой, а в последнее время и Астафьевой-Корякиной. Это была не произвольная перемена имени на обложке. Это была эволюция сознания и дара, эволюция призванности.

Она снова вернулась к семье, к Чусовому, вдруг спасительно возвратившему двух её ещё живых учительниц, чтобы можно было на минуту перешагнуть пропасть возраста и опять всей полнотой сердца оказаться ТАМ, где все живы, где смерть ещё только простое слово без содержания. Она была рада и этому краткому самообману, зная, что за это мимолётное счастье придётся пережить все последующие смерти сначала и войти в нынешний день как будто с другого конца. И мы могли вспомнить её уже давнюю книгу об отце, всю эту родную нам семью и вот теперь увидеть, как она была рассеяна и расточена войной и судьбой. И могли понять из этого смятенного, очень личного, почти забывающего прозу «письма с родины», почему она назвала своё сочинение «Я не могла сказать: «Прощай!..». Сказать так — значило бы оборвать пуповину с землёй, которая родила её для жизни и для писательской судьбы, для всего лучшего, что спасало

её в труднейшие годы и что навсегда определило главную тайну её дара.

Она вновь выбирала простую правду обыденной жизни, снова отказывалась от услуг воображения и побеждала любовью. Она, сама того не ведая, просто по строю сердца возвращала этому чувству права гражданства в литературе, которая уже тогда всё настойчивее устремлялась к самоценному ремеслу, высокому профессионализму, опыту и знанию, школе и мастерству — к добродетелям важным и необходимым, но напрасным, если в фундаменте творения не лежит эта самая любовь. Оказалось, что мы уже успели соскучиться по такому способу художественного существования как по своему утраченному утру. И я помню, как после выхода сборника воспоминаний о Николае Рубцове мне со всех сторон советовали поглядеть главу, написанную Корякиной-Астафьевой. Ничего поэтического не было в этих воспоминаниях, напротив, они были как будто беднее всех, и мы чаще видели беспокойного юношу, живущего «бокком», с неловкостью, которая проговаривалась то нежностью и доверчивостью, то другой стороной доверчивости — пьянством и вызовом. Его было жалко, от него уставали и одновременно хотели его защитить — эта двойственность действительно очень хорошо была написана Марией Семёновной. А стихи у поэта рождались где-то «за страницей», за бытом, как и всегда бывает в этих случаях.

Она тоже уставала от его вызовов, но любящим сердцем догадывалась о самом главном, что «слабым его делали стихи — всю силу, всю волю, всю боль и страсть он отдавал стихам». Это сказано не только о нём. Это сказано о Есенине, о Прасолове, о Передерееве — о всех светлых мучениках требовательной русской музыки. И так же чудно верно и глубоко и тоже как будто обо всех них поняла она, говоря, что со смертью поэта «не он один ушёл из жизни, а много поэтов прекрасных внешне и духовно, добрых, мудрых, сложных, наивных, нежных...». Да и разве поэтов только? Погибая, поэт уносит с собой и нас, целый мир наших мыслей и чувств, которые народная душа поручила выразить именно ему. И оттого смерть лучших поэтов оставляет такое острое чувство сиротства и недоговорённости, словно и нас лишили речи, и каких-то важнейших слов мы уже не скажем вовеки.

Мария Семёновна переживала эту утрату, может быть, острее других, потому что она давно любит и знает поэзию, как немногие из нынешних прозаиков, и пользуется всяким случаем ввести в текст хоть строфу, если уж нельзя процитировать стихотворение целиком. И дело не в знании и не в щёгольстве этим знанием, а во влечении к чуду выражения, к тайне кратчайшего сопряжения слова и чувства. Её книги сквозят стихами, и каждое из них — драгоценный камень в простой и оттого особенно подчёркивающей глубину камня оправе. Целомудрие удерживает её от передачи особенно горьких или «не по чину» тонких переживаний, и тогда она спокойно ставит стихотворение, не разбирая великих и малых, а ценя только уместную близость строфы в том или ином контексте.

Это было так естественно в воспоминаниях о Рубцове, но это точно и, положим, в «Тёте Тасе» — прекрасном памятнике чистой душе, истратившей себя на чужие радости и чужое счастье, как и многие терпеливицы и труженицы её прозы, как мать Марии Семёновны, да и сама она. Когда при страшной её занятости книги-то писать? А вот у матери своей, такой близкой нам по «Отцу» и научилась — встанет пораньше да ляжет попозже и, глядишь, день-то и растянет: и на кухню хватит, и на внуков, и на архив Виктора Петровича и его рукописи, и на своё слово. Особенно когда в нём нужда, когда благодарная память просит. Так Тётя Тася уже приходила в повести «Отец», и мы успели полюбить её там, а потом, особенно после повести Астафьева «Весёлый солдат», запросилась в книгу снова и пришла со всем грузом последних лет, которые ещё не брезжили там, в первой книге, но всё такая же светлая и словно сплошным летом проживавшая, поперёк всех бед. И наконец отошла под светлый плач Марии Семёновны, нашедшей для своей печали чистое слово вологодского поэта Н. В. Дружининского:

Умерла моя милая бабушка скоро,
Не успела последний доткать половик.
Что дала она миру? Нелегко мне ответить...
Я губами к платку её молча приник.
Умерла моя бабушка. Нету на свете.
Не успела последний доткать половик...

Но кажется, больше всего стихов в последней, самой горькой и трудной книге Марии Семёновны — «Знаки жизни», которая, если бы не спасительная сила русской поэзии, может быть, и не была бы договорена до конца — столько сошлось в ней страшной исповедности, столько страдания, столько незаживающей боли. В ней, как в старом, много выдавшем зеркале, кажется, отразились и все предшествующие книги, и все прежние герои, так что временами мы невольно оглядывались: Господи, мы это знаем, не сразу умея вспомнить, откуда, не умея вызвать необходимую цитату из прежних лет.

Но как всё посуровело и потемнело! Жизнь до срока утаивает связи событий, и человек живёт «вперёд», не слишком оглядываясь, и тем одолевает труд жизни. Но преклонные лета, кажется, для того и даются человеку, чтобы он мог однажды со страшной яркостью увидеть неумолимую стройность цепи своей «случайной» жизни и хорошо, если не с опозданием, понять Господний урок, скрытый в этой цепи. Начатая последним счастливым предвоенным вальсом всё в том же Чусовом (вечная горькая и счастливая её судьба), книга медленно наливается тьмой, по мере того как тянется, затягивается узел судьбы, как пересекает её жизнь смерть дочери, родителей, братьев, сестёр, второй дочери. Иногда думаешь, зачем эта подробность, это переглядывание самых малых событий, которые мы уже помним и по повестям Виктора Петровича «Так хочется жить» и «Весёлый солдат»? Зачем это подробное описание всего вплоть до того, что шила за жизнь в тех или иных драматических обстоятельствах, это перечисление оборок и вытачек, пока

не поймёшь, что подробность — это защита, это тайная молитва, это отведение глаз судьбы, чтобы не поглядеть в самую глубину, не услышать невыносимое «Поднимите мне веки». Это подробность, равная молчаливым слезам. Ну и не одно это, конечно.



*В музее семьи Астафьевых
(выставочный центр, г. Красноярск, 2008 г.).
Фото В. Н. Маслянки*

И здесь много смешного — чувство юмора всегда хранило её и она всегда держала его наготове. И здесь есть молодые мгновения счастья и редкие часы покоя, но чаще, настойчивее, неотступней это «знаки жизни», скрученной в ожидании со стиснутым сердцем — в родной семье, в чужой — настоящей русской жизни, в которой воздаяние за вольные и невольные свои и чужие ошибки следует скоро, потому что христианское сознание входит в нас с молоком матери равно в «партийных» и «простых» и не пускает нас пожить «без оглядки».

К тому же это была жизнь не просто двух русских людей в тяжкой бедности послевоенных лет, завязывающаяся так тяжело, что потом не выровняешь и достатком. Это была жизнь русских художников, которые знали значение каждого слова и лучше других знали грозную силу и требовательность этого слова. Здесь

почти ничего не говорится о книгах ни своих, ни Виктора Петровича, но зато отлично передано, из какого «материала» они строятся, из какого горя растут и какую жизнь преображают.

И при этом — тоже горькая тайна книги — ты понимаешь, что она писана не одной волей писательницы, а словно в ответ на просьбу самой жизни: для чего она была так трудна, как впрочем, пишутся и все настоящие книги. В самой-то жизни, в самое мгновение беды человеку «не до того» — он бьётся, защищаясь и преодолевая горе, ища выхода из нужды, а в воспоминаниях горе входит в общий порядок вещей, обретает сюжет, передевается в слово и, пока передевается, не то что светлеет, а делается переносимым.

Само слово таящейся в нём всеобщностью, «плотью» времени, своей долгой исторической отстоявшейся жизнью как будто спешит разделить «частное» на всех, и скоро как будто совсем личная исповедная книга на-

чинает выполнять для читателя вовсе вроде не предполагаемую писателем спасительную роль, потому что она прибавляет человеческому слову милосердной полноты, новой живой глубины. И опять понимаешь, что слово прирастает не игрой, как бы эффектно ни оборачивали его крепкие молодцы модернисты, а только настоящим счастьем и настоящим страданием.

Так это было с золотыми светлыми молодыми книгами Виктора Петровича, так было с его омрачёнными, порой мстительно сгущающими зло жизни, стягивающими это зло в жестокий, не дающий человеку увернуться фокус — «Печальным детективом», «Людочкой», «Весёлым солдатом». Так это и в горьком зеркале книги Марии Семёновны (или в печальном «подстрочнике»? — потому что они списаны с одних и тех же событий?).

Само слово таящейся в нём всеобщностью, «плотью» времени, своей долгой исторической отстоявшейся жизнью как будто спешит разделить «частное» на всех, и скоро как будто совсем личная исповедная книга начинает выполнять для читателя вовсе вроде не предполагаемую писателем спасительную роль, потому что она прибавляет человеческому слову милосердной полноты, новой живой глубины. И опять понимаешь, что слово прирастает не игрой, как бы эффектно ни оборачивали его крепкие молодцы модернисты, а только настоящим счастьем и настоящим страданием.

Перед нами, кажется, первый в русской литературе опыт не последующего комментария жизни художника, как в дневниках или мемуарах Софьи Андреевны Толстой, Анны Григорьевны Достоевской или Валерии Дмитриевны Пришвиной (уж и не знаю, надо ли оговариваться, что дело не в «калибре» и не в степени соизмеримости призываемых мною примеров), а опыт параллельного художественного существования и трагического преображения одной реальности.

Они глядят с двух сторон одним сердцем, и жизнь наливается светом и тьмой, земной плотностью и такой объёмной подлинностью, что сама уже кажется не отражением, а отдельной самостоятельной реальностью, растворённой в нашем сердце как часть нашего домашнего предания и нашей судьбы.

Старость не стыдится сентиментальности, ей не надо притворяться «крутой» и властной, и я с любовью склоняюсь перед отвагой двух русских художников, проживших перед нами с исповедной доверчивостью, не утаив ни благородного, ни тёмного дня и чувства, чтобы и мы не стыдились своей немислимой жизни и верили, что и нам будет успокоение и небесное прощение.

Книги М. С. Астафьевой-Корякиной

1. Отец

Повесть. — Перм. кн. изд-во, 1968. — 163 с. Это автобиографическая повесть о детстве писательницы. Будучи взрослой, она сумела передать мироощущение девочки-подростка из довоенного уральского городка Чусового. Яркими получились образы родителей, родственников, знакомых, самого времени и места.

Правдивость жизнеописаний, лиричность, простота и ясность изложения делают повесть трогательной и запоминающейся.

2. Отец. Данька Елохов

Повести. — Вологда: Сев-Зап. кн. изд-во, 1971. — 240 с.: ил.

Эта книга доброй памяти — о самых близких людях, отце и матери и тех, кто окружал героиню в детстве — подругах, приятелях, соседях по улочке маленького города Чусового. Книга о жизни совсем нелёгкой, но давшей девочке первые и незабываемые уроки трудолюбия, скромности, доброжелательности, умения от всей души радоваться самым обычным и вроде бы незатейливым вещам...

3. Анфиса

Повесть, рассказы. — М.: Современник, 1974. — 192 с. — (Новинки «Современника»).

В период жизни М. С. Корякиной в Вологде вышла эта книга. Писательница показала глубокие чувства, сильные характеры простого человека. Открытое сердце писательницы дарит людям тепло и доброту через невыдуманные истории реальных людей. Вошедшие в книгу произведения отличаются лиризм повествования, глубина психологических характеристик, хороший слог.

4. Сколько лет, сколько зим

Рассказы. — Красноярск: кн. изд-во, 1981. — 302 с.: ил.

Рассказы М.С. Корякиной — непрдуманые, жизненные истории простых людей, полные и светлой грусти, и искромётного юмора, и безаветной любви к людям.

5. Пешком с войны

Рассказы, повести. — М.: Современник, 1982. — 335 с. — (Новинки «Современника»). Книга М. С. Корякиной читается с интересом и остро переживается. Писательница чувствует сердцем женский мир и передаёт его мудрым, добрым словом, раскрывая женскую творческую силу и милосердие, которое от непереносимых страданий становится глубже и сострадательнее.

6. Шум далёких поездов

Повести, рассказы. — Красноярск: кн. изд-во, 1984. — 264 с.

Произведения М.С. Корякиной документально-мемуарные. Герои повестей и рассказов — знакомые автору люди, кровно связанные с землёй и родной природой труженики. Писательница передала характеры своих героев, «не утаив ни благородного, ни тёмного», что сделало её книги жизненно правдивыми.

7. Липа вековая

Повести, рассказы, миниатюры. — М.: Современник, 1987. — 347 с.: ил. — (Новинки «Современника»).

Книга открывает перед читателями обыденную жизнь людей 30-80-х годов XX столетия. Картины хорошего и плохого явственно ощущаются звеньями причинно-следственной связи жизненных явлений. Композиция произведений, передача мельчайших подробностей происходящего делают книгу воспитывающей человечность.

8. Отец

Повесть. — М.: Дет. лит., 1988. — 224 с.: ил. Переиздание автобиографической повести о детстве писательницы.



9. Надежда горькая, как дым

Рассказы / предисл. Л. Васильевой. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 253 с.: ил.
Автор просто и естественно раскрывает женский народный характер. Её бесхитростные рассказы о женской судьбе можно назвать «учебником жизни». Искреннее сочувствие и уважение вызывают героини М. С. Корякиной.

10. Нужны трёхцветные кошки

Повесть, рассказы. — Красноярск: кн. изд-во, 1991. — 272 с.: ил.
Книга может оказаться интересной юному и взрослому читателю. Она учит любви к труду, природе, уважению к людям. Самим словом книга формирует желание и умение быть добрым, справедливым.

11. Знаки жизни

Красноярск: кн. изд-во, 1994. — 384 с.
Книга — повествование о жизни семьи М. С. Корякиной и В. П. Астафьева, известных писателей. Страницы книги полны светлой грусти. Главы книги: Урал, Вологда, Сибирь. Большая жизнь представлена «отрезками времени», «прожитыми и пережитыми» за 48 лет. Военная юность, любовь, непростая судьба жены выдающегося человека, «муки и радости». Много страниц книги посвящены городу Чусовому и чусовлянам.

12. Земная память и печаль

Красноярск: Енисейский благовест, 1996. — 128 с.
Это произведение — родословная семьи писательницы. Удивительная книга о том, как надо любить своих родных и близких и помнить самое хорошее о них. Ценность содержания и небольшой тираж (тысяча экземпляров) сделали книгу библиографической редкостью.

13. Свёкор

Маленькая повесть. — Красноярск: Енисейский меридиан, 1998. — 63 с. — (Литературные встречи в русской провинции).

Эта книга открыла серию «Литературные встречи в русской провинции» — совместный красноярский проект общественного движения «Честь и Родина» и Издательского дома «Енисейский меридиан».

С большой теплотой рассказала писательница о своём свёкре, человеке непростой судьбы, «кудеснике и куролеснике, выпивохе и плясуне» Петре Павловиче Астафьеве. Перед читателем предстаёт образ человека с удивительно «лёгкой натурой», которого не сломили никакие жизненные огорчения и переживания.

14. Сколько лет, сколько зим

Повести, рассказы, очерки / предисл. В. Курбатова. — Красноярск: Офсет, 2000. — 768 с. В книгу вошли повести: «Отец», «Пешком с войны», «Знаки жизни». Произведения автора — это живой рассказ о тех, чьи чувства и поступки, как знак глубокой благодарности этим людям, писательница сохранила в слове. Она запечатлела и образ провинциальной русской женщины с нелёгкой судьбой и открытым сердцем, и образ верного спутника жизни Виктора Петровича Астафьева.

Все произведения отличаются «объёмной подлинностью» и «исповедной доверчивостью».

Книги и сборники о М. С. Астафьевой-Корякиной

1. Сибирячки

Очерки о женщинах, которые наравне с мужчинами обживали необъятные сибирские просторы: [в сборник включена статья «М. С. Астафьева-Корякина» (с.42-47)]. — Красноярск: Горница, 2001.

2. Мишланова Л. В. Самостоянье

Очерки о людях науки и культуры Пермского края: [в сборник включены три статьи о М. С. Астафьевой-Корякиной «Самостоянье» — с. 188-193; «Жена» — с. 194-198; «Живём шутя, а умрём взаправду» — с. 199-201.] / Л. В. Мишланова — Пермь: Пушка, 2006. — 319 с.

3. Земная память и печаль

Мария Семёновна Астафьева-Корякина: рекомендательный список литературы / сост. З. В. Тымина, Н. Н. Морозова — Чусовой, 2008. — 11 с.: ил. — (Круг чтения для молодёжи).

4. Душа хранит

90-летию со дня рождения Марии Семёновны Астафьевой-Корякиной посвящается...: биографический краеведческий сборник / сост. А. М. Кардапольцева, З. В. Тымина. — Чусовой, 2010. — 31 с., ил.

...Надо заметить, что критик Курбатов является другом нашего дома, потому что происходит он всё из того же города Чусового... Человек блистательно образованный, глубоко порядочный и умный, он символизирует собой истину: не место красит человека, даже всё наоборот, и в городе Чусовом выросши, ежели Бог тебе ума дал и ты «над собой неустанно работал и работаешь», — не завалиешься под провинциальной творческой скамейкой...

В. П. Астафьев

*Здесь русский дух...
Худ В. Н. Чаплыгин*



Валентин Яковлевич Курбатов

(р. 29.09.1939)

*Русский писатель, литературовед, литературный критик,
Почётный гражданин г. Чусового,
член Союза журналистов СССР с 1971 года,
член Союза писателей России с 1978 года.*



Родился 29 сентября 1939 года в г. Салаван Ульяновской области.

В 1947 году приехал в г. Чусовой Пермской области. Здесь учился в школе №9, где стал писать в школьных рукописных журналах. Занимался в самодеятельности клуба металлургов.

По окончании школы В. Я. Курбатов работал столяром на комбинате производственных предприятий треста №3 Губахтяжстрой.

В 1959 году был призван в армию. Служил на Северном флоте радиотелеграфистом, наборщиком в типографии, библиотекарем корабельной библиотеки. К этому времени относятся первые заметки В. Я. Курбатова, напечатанные в мурманской газете «Комсомолец Заполярья».

В 1964 году после демобилизации приехал в г. Псков по приглашению своего флотского товарища. Сначала работал грузчиком на чулочной фабрике. Затем начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра». С 1965 года был корреспондентом областной молодёжной газеты «Молодой ленинец». Он писал рецензии на книги, фильмы, спектакли.

В 1972 году В. Я. Курбатов заочно окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведение.

Публикации В. Я. Курбатова печатаются в журналах: «Москва», «Наш современник», «Урал», «Иностранная литература», «Север», в газетах: «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета» и др.

В 1978 году Валентина Курбатова принимают в Союз писателей. С этого времени он, профессиональный литератор, не проходит мимо культурной жизни, старается фиксировать и откликаться на неё в своём творчестве.

В. Я. Курбатов — автор 25 книг, среди которых есть книги, посвящённые творчеству писателей — В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, М. М. Пришвина, А. С. Пушкина, художников — А. А. Агина, Е. Н. Широкова, Ю. И. Селивёрстова.

Он написал более шестидесяти предисловий к произведениям классиков русской литературы — В. П. Астафьева, Б. Ш. Окуджавы, М. М. Пришвина, В. Г. Распутина, В. Быкова, Д. Дудинцева, В. А. Каверина и др.

В. Я. Курбатов является автором более пятисот статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

В. Я. Курбатов — лауреат премий газет «Литературная газета», «Литературная Россия», журналов «Смена», «Литературное обозрение», «Урал», «Москва», «Наш современник», «Дружба народов».

В 1998 году Валентину Яковлевичу присуждена Всероссийская литературная премия им. Л. Н. Толстого. В этом же году В. Я. Курбатов стал членом Академии Русской современной словесности.

Дважды — в 1999 и 2004 годах — стал лауреатом премии Администрации Псковской области в области литературы.

2001 год — лауреат премии имени А. Прокофьева «Ладога».

2003 год — В. Я. Курбатов награждён медалью Пушкина за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

2004 год — лауреат премии Союза журналистов России за очерки, опубликованные в альманахе «Общество и здоровье».

2005 год — Международная литературная премия «Время Русь собирать».

2007 год — лауреат литературной премии П. П. Бажова.

В 2008 году стал лауреатом Горьковской литературной премии в номинации «Мои университеты» за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности.

За большой вклад в развитие культуры Псковской области, создание ряда литературно-критических работ В. Я. Курбатов занесён в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова».

В 2010 году Валентин Курбатов стал лауреатом Новой Пушкинской премии в номинации «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру».

Член редколлегии журналов «Литературная учёба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редакционного совета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва».

С 1994 по 1999 г. — секретарь Союза писателей России.

С 1999 года — член правления Союза писателей России и Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов.

С 2006 года член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

14 января 2011 года председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Александр Гольшев вручил В. Я. Курбатову Почётную грамоту Министерства культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры» и Почётный знак от имени губернатора Иркутской области за огромный вклад в развитие духовного культурного просвещения иркутян.

В. Я. Курбатов входил в жюри премии Аполлона Григорьева, Большое жюри премии «Национальный бестселлер». Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Является Почётным профессором Красноярского университета им. В. П. Астафьева, обладателем премии губернатора Иркутской области за цикл «Литературных вечеров» в академическом театре.

Живёт в Пскове.

Валентин Яковлевич не прерывает связи со своей малой родиной. Многие очерки, публикации В. Я. Курбатова посвящены городу Чусовому и замечательным чусовлянам-землякам: В. П. Астафьеву, М. С. Астафьевой-Корякиной, М. Д. Голубкову, Л. Д. Постникову, С. Щуплецову. Валентин Яковлевич является активным участником чусовских творческих встреч, открытий памятных знаков, презентаций книг. В 2004 году ему была вручена медаль «За заслуги перед городом».

21 июля 2005 года В. Я. Курбатову присвоено звание Почётного гражданина города Чусового Пермского края.



В этнографическом парке истории реки Чусовой.
Фото В. Н. Маслянки



Легендарный Леонард Дмитриевич Постников — основатель спортивной школы олимпийского резерва «Огонёк». Фото Ю. Н. Ситнова

И не напрасно в мире жить*

Это была молния! Ну, и, конечно, японцы постарались снять и смонтировать достойно. Сергей словно взрывался на трамплинах в стремительной смене фигур — в сальто и шпагатах, в «геликоптерах» и «бабочках». И приземлялся на специально истерзанный склон «могула» легко и беспечно, словно ноги его в «свободной подвеске» летели сами по себе и о них можно было не думать. Никакого иного слова, кроме — «фантастика», на ум прийти не могло. Это определение вырывалось само собой и всё равно не выражало настоящего смятения от увиденного. Это был восторг, потрясение, ослепление чудом!

В кадре на сложнейшей альпийской трассе летал мальчик, юноша из дымного городка Чусового на Среднем Урале, ещё не ведая, что через несколько недель после этих съёмок в тех же Альпах его мотоцикл на страшной скорости вонзится во встречную машину, шедшую без огней, и его не станет — стремительнее, чем в мгновение. Россия потеряет олимпийского чемпиона по фристайлу Сергея Шуплецова, и эта вестьшибёт с ног его молодую жену, его родителей и, может быть, более других — высокого, внешне спокойного человека, который сделал всё, чтобы этот уральский мальчик сбылся, стал чудом, легендой и самой великой его гордостью — независимого, крепкого духом и телом, а тут зашатавшегося Леонарда Дмитриевича Постникова.

Вот сразу трудности и начинаются — я не знаю, как представить Леонарда Дмитриевича. Тут бы пригодились безотказные приёмы советского очерка с воспоминаниями о «бедном детстве» героя, о «начале трудовой биографии», о смелых замыслах и бюрократических помехах, которые в конце концов счастливо преодолеваются, да только уж как-то неловко: кто же теперь так пишет — засмеют. А между тем уж и не поймешь, кто

* Смена. — 1997. — №7. — С. 23-27.



*Л. Д. Постников — основатель этнографического парка истории реки Чусовая.
Фото В. Н. Маслянки*

тут на кого (или что на что) оглядывается — очерки ли на судьбу или судьба цитирует очерки, но многое и вправду было по безжалостному трафарету: детство, обыкновенное, на Урале — в заводской среде, и обыкновенная же юность. Судьба начинается со следующей страницы.

В 1954 году после физкультурного факультета Пермского педагогического института молодой Постников принял детскую спортивную школу в городе Чусовом. Мне тем легче её вспомнить, что я тогда учился в ней и до сих пор храню диплом 1955 года «за технику метания диска». Построенная незадолго перед революцией и чем только с той поры не бывшая, она делилась пополам, и через стенку, пока мы осваивали тонкости лёгкой атлетики, наши одноклассницы (тогда музыка была девичьим занятием) учились фортепиано и скрипке. Рядом дымила невзрачная баня. А душа-то директора просила гимнастики, плавания.

Но, слава Богу, в Чусовом были горы, а у Л. Д. Постникова — энергия, и он решился на небывалое: закрыл все отделения, кроме слалома и плавания, и начал строить специализированную горнолыжную школу. Если учесть, что таких школ в стране не было, легко представить, какие разговоры пошли по городским и районным коридорам и как на всё это глядело местное просвещение. Это уж теперь у нас воображение осмелело и мы что хочешь



Здание спортивной и музыкальной школы.
1950-е гг.



Середина 1980-х гг. Фото Ю. Н. Ситнова

представим, а народ постарше ещё помнит, чего стоили вызовы к районному начальству и чем они кончались для смельчаков.

Он-то уж это знал, жизнь сразу начала учить. И когда особенно прижимало, и руководство слеталось «решать», он с собакой забирался повыше по реке Чусовой и не торопясь сплавлялся оттуда на байдарке, укрепляя душу красотой великой реки и покоем «безначальственного» мира, и, поди, думать не думал, каково повернутся в его судьбе эти плаванья. Так грозу и пересиживал.

Да и то: камни на Чусовой звались «бойцы», чего-нибудь это да значило, чему-то да учило и без того не очень уступчивую душу. Однажды в письме он смеялся: «В пионерах не был, хотя красный галстук мне очень нравился, особенно на нашей пионервожатой. Но в ту пору в моде была шпанская одежда из «Путёвки в жизнь», и когда мне популярно объяснили, что «селёд-ку» (галстук) носят только «фраера», я его и не надел.

Комсомол сразу учуял, а от партии Бог спас. Когда уж нашли мне двоих порученцев — хороших, в общем, мужиков: один Герой Соцтруда Гриша Петухов, другой — Иван Сергеевич Бородкин — пенсионер, строитель (работал с Корбюзье на здании Центросоюза на Мясницкой). Так вот, я спохватился и благополучно запил, так что теперь за меня могли поручиться только алкаши славного города Чусового».

Приём тоже очень русский и против начальства порой помогает... К этой поре он уж построил кое-что. И слава пошла. И дети никогда не подводили. Ни свои, ни школьные. Сын стал потом тренером горнолыжной сборной Олимпиады-88, дочь — чемпионкой Союза по санному спорту. А всего «топором да долотом», почти «вручную», без техники и средств, в школе сумели приготовить восемь десятков мастеров спорта, пять — международного класса, четырёх чемпионов мира. И незабываемого Серёжу Щуплецова. Всё — в городе с напёрсток.

Не зря над входом в школу висел девиз «Каждый ребёнок гениален. Наша задача — развить его гениальность». И подписан девиз был (в те годы!) не Макаренко и не Крупской, а... Чарли Чаплиным. И это было правдой — Постников знал, что талант вспыхивает внезапно, часто там, где никто не ждал, поэтому брал в школу всех, без унижающего детей «отбора», без злой сортировки. Жизнь сама разберётся. И умел хвалить каждого и беречь детское достоинство. Когда теперь видишь, сколько блестящих спортсменов оказалось в городе «на душу населения», поневоле понимаешь правоту школьного девиза. И, значит, найдись в городе педагог той же страсти в другой области, другие дети раскрыли бы и свои иные дарования. Так с печалью прозреваешь, что мир слаб, жесток, пошл или потребительски ненасытен не оттого, что такова природа человека, а оттого, что в мире мало великих учителей, которые слышали бы в ребёнке растущую душу.

И уже по девизу школы было видно, что одним спортом дело не кончится. Внутри первой «главы» биографии героя скоро пошла проступать другая. Она проступала, как при фотографическом проявлении или как на рассвете медленно раздвигается и обретает очертания мир. Блестяще одарённый от природы, с хорошим поэтическим и музыкальным слухом, с любовью к игре смыслов, со страстью к человеческой свободе. Постников и сам строился непрерывно, словно с каждым годом и делом светлела и «обретала очертания» его собственная душа.

Когда-то я вычитал у М. Метерлинка удивительное: «... всё, что с нами случается, бывает по природе таким же, как мы сами... никогда героический случай не представлялся тому, что уже в течение многих лет не был молчаливым, безвестным героем... на всех путях случая вы встретите только самого себя. Если этим вечером отправится в дорогу Иуда, он обрящет Иуду и найдёт случай для измены, но если дверь откроет Сократ, он встретит на пороге дома спящего Сократа, а также случай быть мудрым».

Талантливый человек не останется долго один. Главный корпус его школы будет строить «партийный рекомендатель», коллега Ш. Э. Корбюзье с чудными рассказами и о самом архитектурном маэстро, и о Леже с Арагоном, а «золотым сторожем» «Огонька» (так потом станет называться школа) устроится пенсионер и фронтовик Иван Павлович Лобанов, который, как скоро окажется, в юности хороводился с футуристом Василием Каменским. И вот уж, как они, бывало, сойдутся все трое, так и пойдёт «соревнование». Один Маяковского вспоминает, другой Каменского, третий читает Луговского... Стихи чередой... Леонард Дмитриевич знает их без счёта, а при нужде мгновенно импровизирует — прежде с озорством, теперь всё больше с горечью. Когда мы подружимся в последние годы, я часто буду находить рвущие письмо пополам строки — страшный дневник потемневшей «улицы»: «Спокойно всё в Отечестве моём. Лежат спокойно трупы в Белом доме...» — куда деться сердцу от такого спокойствия? — «А в Чусовом ни гроз, ни ветра, но таким, как ты, в подкову не согнутым, отсчитывает сердца метроном терпения жестокие минуты».

Чусовой литературный

Но это потом, а тогда он слушал, слушал, да и дослушался опять до небывалого — решил в «Огоньке» музей реки Чусовой завести. Мало уж стало того, что он детей по ней летом возил, что самые сложные повороты санной трассы именами главных «бойцов» назвал [Шайтан, Боярин, Разбойник], чтобы они в детской душе укладывались. Нет, музея захотелось.

Опять, конечно, вроде случайно решил — наткнулся в деревне на чудную часовню, уже проданную дачнику на дрова, и стало её жалко. Не зря плавал по родной реке и не зря по сторонам смотрел — потянуло остановить всё, как было. С годами нарабаталась техника, как «выклянчить» у сельсовета, как привезти, а вначале намучался. Ну, а начал и разохотился — явились и кузницы, и бани, и лавки, и крестьянские дома.

Вдруг в сузившемся и бесцветном мире увиделось, как прекрасен был быт русского человека и как стремительно он уходит — дети могут не понять и не почувствовать, и надо настичь, удержать, привить их к родной лозе.

*Храм Георгия Победоносца в этнографическом парке истории реки Чусовой.
Фото Н. В. Постникова*



А там родился и музей Ермака. Вот уж кому он отдал сил без счёта! И какой вызвал к жизни писанный художником П. Ф. Шардаковым цикл картин о Ермаковом походе. Вышла настоящая живописная хроника с оглядкой на классическую традицию русской иконы, на летописные иллюстрации — со всей России сбегаются глядеть. Киношники повадились снимать и музей, и «деревню», обещая к концу съёмок то и это, но кончая одним и тем же, — пожалуй и бери, но плати валюту: хваткий народ!

Когда музей покреп, директор и тренеров потянул в единомышленники, побуждая и их знать историю похода, генеалогию Строгановых, судьбу В. И. Чапаева и книги ходившего тут по путям пешком А. С. Грина (и памятник ему беломраморный поставил перед детским клубом «Алый парус»: резкий, мужественный, по стати чем-то с самим директором схожий — не единственный ли в стране?).

Прямо беда — всё хочется помянуть, а гляжу, что на «ведомости» сбиваюсь, на «опись имущества», хотя и трети не перечислил. Ну, уж о последнем скажу, и всё: самым дорогим детищем стала в конце концов ермаковская сверстница — Георгиевская церковь, которую (один остов её!) он нашёл и обустроил с такой любовью, что только молись и радуйся — и крестили в ней, и венчали, и в каждом письме было о ней словцо или карточка, или стихотворение: «В этом страшном побоище брат на брата, как водится, носит камень за пазухой, а топор за спиной. Что ж, за душу раскольничью в светлом храме помолимся, если вера поругана на Руси сатаной...».

И именно она — сердце живое — сгорела в мгновение (так была суха!) от недосмотра рабочего. Сгорел рядом и крест, напоминающий об ушедшем под воды Камского моря Нижнем Чусовском Городке, откуда Ермак Тимофеевич выходил в свой великий поход. Остался только страшный валун, закованный в колючую проволоку — памятник последним политическим лагерным зонам под Чусовым. Не хотел забывать Постников и эту страшную историю: последних мужественных людей, веривших в совестливое будущее родной России и за то добываемых по лагерям. Со стены изолятора 38-й зоны, где оно было процарапано гвоздём на бетоне (сколько понадобилось часов?), перебралось на камень стихотворение зека Л. Тимофеева, такое родное храму и особенно слышное у него:

Заблудилась душа моя в звёздах,
Закричал я во сне и проснулся.
Поздно жизнь мне менять, но не поздно
Лба холодным распятым коснуться,
Обратить свои очи к востоку,
Вспомнить восемь стихов от Матфея
И предаться слезам и восторгу,
Перед словом Господним немея.

Настойчивость музы, благосклонность её к этим местам и к Постникову станет ясна, если вспомнить, что этот небольшой город оказался урожайным на писателей. Не только прохожих, вроде Каменского или Грина,

но и своих, родившихся или подолгу живавших здесь. Их вышел, пожалуй, десяток во главе с первенственным и всесветным В. П. Астафьевым, с которым, конечно, у Леонарда Дмитриевича главная переписка и главные свидания. Сойдутся, наговорятся, настроят планов — и Виктор Петрович в Сибирь, а Леонард Дмитриевич за новые идеи. Я даже по самому виду писем после таких визитов угадываю нетерпение Постникова: «Планы у меня если не генеральские, то на уровне старшины роты: надо сделать любыми путями — где выпросить, где достать, где украсть — дом Астафьева и его коллег (теперь уж построен и стоит — В. К.), мельницу, карусель для гуляний, трактир. И хорошо бы ещё такой «курьёз», как колхозная контора, пока не забыли, что это такое». И из конверта — наброски, эскизы, фотографии...

А уж Виктору Петровичу отряжаются «соблазны» и заманивания, чтобы снова приезжал — и всё опять в игре рифм, в счастливой свободе, хотя чуть не каждое письмо упоминает о перекрёстном огне «недругов больших и махоньких»:

Виктор Петрович! Мария Семёновна!
Как на духу вам клянусь:
речка Архиповка здесь не заплёвана
и не затоптана Русь.
Хариус в яминах прячется стаями,
ива с ольхою сплелись.
В нашу Церквушку народ неприкаянный
прёт, бестолково крестясь...
Виктор Петрович! Мария Семёновна!
Ну их: и «этих», и «тех»!
Речка Архиповка пляшет «семёновной»,
пляшет сквозь слёзы и смех.

Слёзы и смех не для рифмы. Ничего не давалось легко. Материнская Чусовая часто видела, как плывёт стареющий годами, но всё нетерпеливый человек, поглядывая налево и направо, — значит, «пересиживает» очередное гонение, врачует душу, набирается сил на новое дело.

Начальство набегало потешиться, банькой побаловаться, похвалиться перед заезжими гостями чужим, словно своим. Он не выходил гнуть-ся и дураков звал дураками. Кончилось тем, что остался на «музейном» берегу Архиповки: спорт — славу его и гордость, дело жизни отняли недавно с мстительной нечистотой, не простили норова. От этого, от музейных забот — всё надо делать через силу, как в стане врагов, словно не родную историю спасает, а мешает всем жить, — в письмах нет-нет и прорвётся: «А не послать ли всё...», но это нынче, кажется, припев всех русских музейщиков, родных наших дон-кихотов.

Приедешь: сидит у камина гуча-гучей, не подступись. Молчит, думает. Не суйся — никто не поможет. Внук Никита говорит: «Что-то у тебя, дед, дрова горят потухловато». «А это у меня дела идут «потухловато». Помолчит, по-



*Писатели и поэты — гости Л. Д. Постникова
(Ю. А. Беликов, В. Я. Курбатов, Р. П. Белов, Р. А. Мамонтов).
Фото В. Н. Маслянки*

молчит, обойдёт своё хозяйство, насвистывая, засунув руки в карманы, долгий, сутулый, вернётся к себе или в «трактире» присядет за фортепьяно и выколочивает из него что-нибудь боевое, «чапаевское»... А утром вышел в сугроб, окатился ледяной водой из колодца, и опять — вперёд!

Заложена новая церковь, монтируется мельница, чертится проект памятника Серёже Шуплецову («надо ребятишек держать примером, легендой. Они вон и сейчас — тройное сальто с двумя пируэтами норовят завернуть — хлоп на склон, утерли сопли и дальше — им образец подавай»). Готовится к перевозке «скворечник» Виктора Петровича Астафьева — домишко, который он срубил в Чусовом после войны и который хотят сейчас утащить на Архиповку. И опять: достать, выпросить, уговорить...

Как много, оказывается, может один человек! Как бесконечна может быть жизнь и как бессильны перед ней, казалось, уже раздавившие Родину ложь и пошлость!

Заслуженный работник культуры, Почётный гражданин города Чусового (как хотелось, чтобы читатель сам догадался, что друзья, конечно, зовут его Леонардо) Леонард Дмитриевич Постников выходит на работу...

Дома, в истории*

Почему с годами мы всё чаще вспоминаем города детства? Сколько иронического сказано уже по поводу таких воспоминаний — пора бы и не проговариваться, чтобы не вызывать улыбок живущей только вперёд молодости. А вот приходит время, и человек, даже и зная о возможных улыбках насмешников — на миру ли, у себя ли среди домашних, — начинает всё настойчивее вспоминать, что за люди жили в годы его детства, и что за дома стояли там и там, и чем были знамениты.

Я и прежде думал об этом, а оказавшись этим летом на Урале, в городе Чусовом, где прожил с первых послевоенных лет до конца пятидесятых, кажется, начал лучше понимать истоки этого всеобщего и, по-моему, никак не смешного недуга. Тайна тут, похоже, проста, и состоит она в том, что с годами человек всё явственнее осознаёт или даже до знания улавливает сердцем движение истории в своей судьбе. История впервые вдруг узнаётся как частность, из школьного предмета становится фактом простой единичной жизни. Напрямую она, конечно, для себя историей не называется, но разве в имени дело? — может, как раз и лучше, что это «общественное» чувство вдруг открывается в такой интимной домашности, в такой осязаемой простоте.

Ведь вот я бывал в Чусовом почти ежегодно и никогда не думал писать о нём. О чём, казалось, писать? — всё родное, обычное, простое. Памятников никаких нет, кроме обычных гипсовых садовых и уличных архитектур, расходящихся по разрядке, архитектурных чудес — тоже. Так что же теперь-то?

Может быть, зрение обострилось оттого, что приехали мы в Чусовой с родившимся здесь перед войной пермским прозаиком Михаилом Голубковым. Он, посмеиваясь, припоминал здоровый крепкий быт Лисьих Гнёзд (районы тогда в городе держались на особицу, и кроме Лисьих Гнёзд были Углежжение, Дальний Восток и даже неожиданным китайским эхом — Чунжино). А поскольку мы сверстники, то я не мог уступить Михаилу преимуществ своей Больничной горы, и выходило, что мы подстёгивали друг друга в этих окликаниях послевоенных лет. Улицы Больничной горы тогда только-только начали обстраиваться каменными домами.

Город, набитый ссыльными немцами, татарами, бессарабами, жил тяжело, маялся по баракам, скоро растил кладбище и завод и вот только-только с окончанием войны стал находить время думать о жилье для своего бесправного народа. Мои отец и мать работали как раз на этих первых домах, и я после школы бегал помогать им (ума было надо немного — всех механизмов лопата да носилки), и теперь я гляжу на улицу Ленина с особенной любовью, потому что в её старомодных теперь домах есть капля моего труда. С крыши одного из этих домов мы высматривали потом с ребятами первый

* Пульс-89: лит. — худож. изд. / сост. Р. Белов. — Перм. кн. изд-во, 1989. — С. 208-214.

спутник и уверяли друг друга, что видели его. Но всё это было только нашими домашними частностями, к которым неловко припрягать высокое слово «история». И если оно все-таки явилось в воображении и потом неотступно росло, то причиной тому была бедная экспозиция Чусовского народного музея, как-то неожиданно скорректировавшая мои детские воспоминания.

Я глядел старые фотографии неузнаваемого, почти не известного мне города, вылавливая знакомые уголки и названия с острым волнением: значит, вот как это было тогда, когда я уже видел это, но не думал, как не думают о прошедшем дети. Вот, значит, почему слободу у завода звали Французской: на общей фотографии одной из первых заводских административных зданий глядят из окошек паспарту усатые однообразные крепьши — Вердье, Ренье, Гильомон, Нортон — Камское акционерное общество предлагало французам сотрудничество в освоении щедрого и расточительного Урала. В доме этого Нортон потом помещался клуб металлургов, и мы с ребятами играли там в драматическом кружке, чтобы позже самозабвенно танцевать вечерами полузапретного «Мишку-Мишку» и слушать заезжих мастеров гавайской гитары. Я заглянул потом в этот клуб, ставший сейчас Домом пионеров. Теперь им руководит Роман Шпигель, и это тоже

Улица Ленина в 1950-е годы



стало неожиданным приветом прошедшего, потому что Роман — вылитый отец, известный некогда всему Чусовому Эдвард Шпигель, чьи скрипка и баян были известны старому и малому по танцам и пикникам, по выборам и самодеятельным концертам, и воспеты позднее Виктором Петровичем Астафьевым, которого судьба, поведив по миру, завела и в Чусовой. Эдвард руководил школьными спевками, и я до сих пор помню его назидание разевать рот на ширину ладони во вдохновенном припеве песни «Москва — Пекин», там где «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас!».

Теперь я стоял на сцене нашего бывшего клуба, где помнил, кажется, каждую половицу, перед неизменным с сороковых годов маленьким залом, и с ужасом чувствовал, как время вкрадчиво и нагло демонстрирует передо мной свою непостижимую относительность — здесь не переменялось ни щепки, словно время затекло в этот зал и стоит, позабытое, и там за стенами на соседнем стадионе ещё прыгают с парашютной вышки воротившиеся домой с войны ладные парни под любовным взглядом своих девушек, и гипсовый Сталин ещё белеет на центральной площади у горсовета призраком власти и вечности. Я постарался поскорее уйти, чтобы не дать разрастись тоске, всегда являющейся с такими метафизическими впечатлениями.

Можно было спуститься от дома Нортонa вниз, к заводу, и в сутолоке смены, толкотне машин и автобусов, в громаде заводоуправления, в сломанной (конечно!) электронике часов уже не найти следов той жизни, которая теперь так и будет желтеть только на фотографиях... Литые ворота с вензелем акционерного общества (КАО) были слишком красивы для грязной улицы, по которой между сменами паслись на обочине или при ограде Ксеньевской церкви козы, поджидая намаившихся хозяев. На других фотографиях неузнаваемо раскидывалось Углежжение. Завод долго работал на древесном угле, который обжигали тут же, и штабеля его тянулись без края. После войны, когда мы бегали там, уголь уже не жгли, хотя печи ещё стояли, затаиваясь травой, и возле них слабо пахло смолой, тёплым деревом, дётгем. На оставшихся чурках ещё ходили старые газогенераторные полуторки.

Сколько каждый из нас перевидел фотографий в музеях — скользнёшь, и мимо! — но тут всё мнилось важным, своим, и хоть до тебя совершившимся, а словно и в тебе, и надо было только напрячь память, и эти западающие в бесцветность времени, словно туманом или забвением затаивающиеся лики наполнялись жизнью, и каждого можно было вспомнить по имени. В бедных витринах готовились выступить против Колчака красноармейцы, синеглазники звали на смычку города и деревни и возносили задорный плакат «Не будь глуп, ходи в клуб!», задувались новые домны. Но всё это было в общем со всею страной, а ново и поразительно было то, что красноармейцы собирались выступать с базарной площади, которую я застал почти такой же, только шла на ней тогда другая жизнь — кипела после войны бойкая нищая торговля, пели жалостно-героические песни калеки, пронырливая шпана играла в пристенок и глядела, где что плохо лежит, и, конечно, был тут непрременный продавец счастья. Я уже не помню, была ли у него шарманка, но что морская свинка тащила билетики судьбы — это уж так и было. И оттого, что бойцы с фотографии стояли на этой знакомой пло-

щади, они казались тоже неуловимо знакомыми — только надо было глядеть, глядеть...

Да, наверное, и были знакомы, потому что когда я читал фамилии на коллективных снимках, снятых во время военных митингов или рабочих праздников, первых заседаний партийных или комсомольских ячеек, проводов на фронт или закладок новых цехов, то все Котлечковы, Курушины, Пермяковы, Полуэктовы, Радыгины, Серебровы были отцы тех, с кем мы или учились, или пропадали на реке и в лесу. С Пермяковым мы зиму не выходили с катка, а с Серебровым учились, и я с робостью входил в его дом и побаивался его строгого отца, который воевал тут с отрядами белочехов, а потом был главным бухгалтером завода и теперь глядит с музейной фотографии и оказывается на ней моложе, чем я сейчас.

Я не могу оторваться от фотографии, где чувовские женщины на нашей станции уже в другую войну ждут эшелона с ранеными — так тревожно-спокойны их лица, так напряжённо ровен взгляд (эти носилки и костыли могут понадобиться их мужу или отцу, которого привезут в этом эшелоне).

Подпись внизу говорит, что начальником головного госпиталя в ту пору был капитан медицинской службы А. А. Колчанов, и мне делается зло и стыдно, что с его сыном Вадимом мы больше думали о запретной джазовой терминологии и о том, где достать «корочки на микропоре», потому что ходили в стilyагах, чем о том, чтобы поспрашивать его отца, как это было тогда. Теперь я иными глазами гляжу на родной вокзал и очень радуюсь его консерватизму — тому, что всё гремит и устрашает засиженный мухами «Девятый вал», и тому, что Ленин всё беседует с Горьким на холсте полузабытого Сварога, и тому, что кипятилок с войны исправно ждёт на перроне торопливого проезжего с котелком или чайником и я могу попить им сына и надолго остановиться с кружкой, внезапно потеряв мысли...

Теперь уже нет и следа первой школы, построенной в 1898 году (на её месте стоит райком партии), а я хорошо помню тёплые доски её крыльца (тогда школа делилась надвое и в половине была музыкальная, а в другой — спортивная, и как они



Вид на стадион «Металлург», 1956 г.

Оказалось, что сто лет, которые прожил Чусовой, — это возраст одного сердца, а история — это дорогие страницы автобиографии, для каждого разные, но вместе составляющие большую и при неизбежной горечи трудных лет прекрасную судьбу маленького рабочего русского города, каких не счесть по родной земле.

ладили — не знаю) — и мы часто почему-то именно на крыльце читали последние известия с корейского фронта. Теперь эту школу, может, и помню-то я один, потому что для чусовлян она давно переехала на уютную Архиповку и стала школой олимпийского резерва со всеми неизбежными роскошествами Олимпийской деревни — романтической архитектурой, диким камнем каминов, уютом холлов. Эти «деревни» везде одинаковы — в Прибалтике



Кинотеатр «Луч»

и Карпатах, Теберде и Домбае — и их «интернациональность» скорее грустна, чем отрадна. И когда бы и в Чусовом она только таковой и была, я бы и помнить не стал, чтобы не затмевать детского воспоминания и не обижать невыгодным сравнением пацанов на щербатых досках старого крыльца. Но в том-то и радость, что ещё в 1954 году вручавший нам в старой школе разные дипломы Леонард Дмитриевич Постников (и мне перепал диплом второй степени за технику

метания диска — вот чем занимались — техникой!), построивший новую «деревню», сейчас помнит главное — что спортсмен сходит с дистанции, а человек остаётся. И к обычным сооружениям «Огонька» прибавились те, которые надо было и уметь построить без гроша, и уметь отстоять, потому что они не выполняли прямых олимпийских функций. Теперь на базе есть музей Грина, потому что Александр Степанович исходил эти места юношей, и музей Ермака, восславившего своим походом ненаглядную Чусовую, и свежены из доживающих окрестных деревень церковь и часовня, сельская лавка и кузница, пожарная каланча и ещё крепкий ладный крестьянский двор, в котором даже и лошадь завели, чтобы ребята умели и травы для неё накосить, и запрячь, и другую простую работу сделать. Исподволь выросла на базе хорошая уральская деревня, и ученики и тренеры теперь должны знать родную историю с достаточной глубиной, потому что в зачёты входят не только профессиональные тонкости фристайла и натурбана, слалома-гиганта и скоростного спуска, но и «Камни реки Чусовой», и «Генеалогическое древо Строгановых» и «Уральский поход Пугачёва».

Вероятно, ребята, как и мы в своё время, пропускают многие уроки мимо ушей и не узнают истории в лицо, потому что она приходит в слишком родном повседневном платье, но она уже живёт в них так же естественно, как этот ельник по угору, как идущая рядом на Пашию железнодорожная ветка (по её шпалам и шёл «мимо базы» Грин), как звонкая, переливчатая Архиповка, бегущая к Чусовой. Придёт час, и они при слове Родина внезапно вспомнят, как я Больничную гору, этот туман после ливня, лошадь, выглядывающую из конюшни на детские голоса, закатный свет на крыше каланчи и долго меркнувший звук колокола над музейной часовней, и Ермака и Пугачёва, которые тут живее, чем в иных местах, и тоже отчётливо поймут, что история — это дом человека, его день и быт.

В один из дней той поездки мы стояли с Голубковым на угоре над далеко уходящей в леса и предгорья Усьвой, и он справедливо говорил, что этот угор вон для того пацана будет потом не менее важен, чем Бобришный угор для Александра Яшина или Веркольский откос — для Фёдора Абрамова, и Архиповка для ребят с «Огонька» будет сродни астафьевской Мане. Это чувство Родины как милой реки, привычного леса, избеганной «до дыр» улицы пробуждается скорее, и покинувший родные места человек узнаёт саднящую тоску воспоминаний быстрее, чем «домосед». Но настоящее, подлинное, могущественное чувство Родины как опоры, силы и самостоянья всегда, наверное, поражает как прозрение именно в тот час, когда прошедшее вскипает в крови, и ты чувствуешь его движение близко, как стук своего сердца, когда ты узнаёшь, что живёшь не в невозвратно уходящих буднях, а у себя в истории, как в тёмном родном доме.

Я навещал тогда на Красном посёлке и могилу своего отца. Кладбище раскинулось над городом, и одинаковые ограды синели как незабудки. Здесь лежит уже почти вся бригада, с которой отец строил этот город в войну и после неё, и здесь, в старой части, где уже широко разрослись деревья, лежат Пермяковы, Чудиновы, Полуэктовы, Радыгины, которых хорошо увидеть молодыми на пожелтевших, но всё хранящих жизнь и свет миновавшего времени фотографиях в народном музее.

Оказалось, что сто лет, которые прожил Чусовой, — это возраст одного сердца, а история — это дорогие страницы автобиографии, для каждого разные, но вместе составляющие большую и при неизбежной горечи трудных лет прекрасную судьбу маленького рабочего русского города, каких не счесть по родной земле.



К Астафьеву, в Быковку*

Я ещё только собирался в Чусовой, а уж добрые люди, к кому я собирался, сказали, что сразу поедем в астафьевскую Быковку. Я было засомневался. Хватит ли сил – приеду поздним вечером, намаюсь в поезде за двое-то суток от Пскова, а уж ранним утром опять в поезд и обратно к Перми. Но пока ещё и в окно глядел на Каму, Сылву, на родную тайгу в её октябрьской, теперь уже навсегда пушкинской красоте («уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей...») — как это у него спокойно рядом: нагие, а вот ещё и последние листы), уже знал, что теперь пусть хоть наводнение и землетрясение, а поеду.

И был рад, что решился! Конечно, проспал (куда денешь разницу во времени и усталость?), летел к электричке, перемахивая ступени, держась за сердце, подныривая под товарный состав на соседнем пути, чтобы успеть вскочить в первый вагон. Успел! И сердце не разорвалось. Оно ещё было нужно, чтобы прожить этот день с Виктором Петровичем.

И как же он был прекрасен — этот день!

На воде (мои спутники, знававшие Виктора Петровича, чусовляне Владимир Маслянка и Альмира Кардапольцева, лысьвенец Геннадий Вершинин сняли для переправы через Сылву моторную лодку) ещё было холодно и неприятно. И небо ещё было стылое. А уж как вышли на Быковскую тропу, потеплело. И даже посветлело от лиственниц, озаряющих сырой и как будто брошенный лес, каким он всегда кажется поздней осенью. Тропинка была запущена, но неумоима. И через какой-нибудь час ходу в безопасной крапиве в рост, рубиновых стеклянных шиповниках, изумрудных хвощах и седых кипреях, мы уже увидели пасеку (вряд ли ту, на которой заправлял астафьевский знакомец Толя-пасечник — спросить было не у кого) и живописный (отчасти поневоле из-за бедных пристроек) дом с верандой, застеклённой так щедро, что хотелось думать, что это мастерская кого-то из пермских живописцев.

Но хозяином оказался бывший тренер по баскетболу Анатолий Алексеевич Борисов. Правда, до него здесь действительно жили художники. Он успел похвалиться, что вон там, на горе, жил Астафьев, и видно было, как ему не хочется нас отпускать. И он торопил нас обратно, обещая «сварить кипятку в мундире».

И мы по новому мосту устремились через Быковку, отметив в стороне и старый мост в три бревна с перильцем в жердь.

А первым нас встречал на холме крест, ставленный здесь некогда Геннадием Вершининым в память о спалённой (не со зла, а от обычной скуки) избе Виктора Петровича. Чья-то добрая рука окопала крест и посадила астры, но это не утешило. За бывшей избой ещё сияла любимая Виктором

* Чусовской рабочий. — 2008. — 19 ноября.



*Астафьевская капля. На месте дома Астафьевых в д. Быковке (Пермский край).
Фото В. Н. Маслянки*

Петровичем лиственница, но само пожарище уже затянулось кустами, кипреем, и его почти «не прочитаешь». И я бы, пожалуй, мимо прошёл, но товарищи мои всё здесь знали и торопились показать баньку Виктора Петровича, такую маленькую, что в ней и Марья Семёновна разогнуться не могла, не то что Виктор Петрович.

Хотя какая уж банька — реденькая крыша рассыпалась, взялась мхом, дверей давно нет. Но гвозди держат её ещё ручные, «домашние», кованые — старая матушка. И верно, вёснами так же заливаются за ней помнящие Виктора Петровича соловьи, печальась без благодарного слушателя, и привычно дёргает в травах коростель в надежде, что ему ещё перепадёт фраза-другая в письмах Виктора Петровича к Александру Николаевичу Макарову.

Письма эти сейчас (они изданы Геннадием Сапроновым в книге «Твердь и посох») — настоящий памятник Быковке. И по ним можно узнать и тихие осенние леса, и жизнь реки, и зимние звёзды, на которые он выходил смотреть, когда приезжал, скажем, в январе 1967 года и день за днём писал своему другу одно долгое письмо (оказии всё равно не было — не пошлешь). Как вообще обстоятельны и старинно подробны были письма обоих! Ну, Виктор-то Петрович понятно. Синие вечера долги, керосину хватает (не было тогда электричества, а теперь есть да светить некому), поневоле всех местных ряб-

чиков помянешь, кого убил и кого упустил, и всех хариусов, и всякого, кого в окно увидишь — бабу Дашу, Паруню. Но и Александр Николаевич в Москве тоже бумаги и времени не жалел — так они любили своё дело и друг друга.

Оно, конечно, когда Марья Семёновна рядом хлопочет или папа Пётр Павлович вздыхает, письма покороचे, а так — рассказ и рассказ. Как долгое письмо 29 июня 1967 года, в котором Виктор Петрович подробно вспоминает, как «вырос в писателя», как беспризорничал в Игарке и «лез из кожи» навстречу благодарному вниманию Игнатия Рождественского и как сочинил своё первое «Васюткино озеро». И я только вздохну, увидев, что и письмо к нему Александра Николаевича мечено тем же 29 июня 1967 года — так они любяще бились навстречу друг другу сердцем. И опять, как при первом чтении, особенно остро переживу здесь его последнее письмо Макарову



Экспедиция в Быковку (дача Астафьевых в Пермском крае). М. Воронова, А. Кардапольцева, Ю. Воронов, В. Курбатов, В. Маслянка. Фото Г. В. Вершинина

23 ноября 1967 года, в котором он напишет, как в три дня вышла у него из-под пера «Пастушка». Не ел, не спал и очнулся только с последней точкой в выстывшей избе и с ликующим криком: «Гр-р-роми захватчиков, ребята!» — полетел затоплять. Но Александр Николаевич уже не прочтёт этого письма, когда завтра Виктор Петрович приедет в Пермь, на столе его будет ждать телеграмма о смерти друга, и она собьёт его ещё горевшее «Пастушкой» сердце влёт...

Покопались мы, конечно, и на пожарище, утащив с собой какие-то оплавленные пожаром пузырьки из-под лекарств, немедленно решив, что Виктора Петровича, хотя он предпочитал тогда лечиться, чем лечатся все русские мужики. Прихватили флакончики из-под духов (а это уж, конечно, Марьи Семёновны, хотя она тоже, пожалуй, только улыбнулась бы духам при тогдашнем-то быте). Стала бы она тащить такие пустяки в неподъёмном рюкзаке, где каждый сантиметр был рассчитан на питание Виктору Петровичу, детям, себе. Но нам хотелось забыть, что кто-то жил здесь до Виктора Петровича и после него и считать всякую находку счастьем.

А уж у креста вертелась в ногах молодого охотника молодая же лайка — чистый порох! Ни секунды на месте! Счастливое детство гнало её узнать всех и всему обрадоваться. Как было тотчас не вспомнить соседа Виктора Петровича охотника Лёньку и астафьевского Спирьку, который разрывался от любви ко всем так, что от этой любви надо было спасаться бегством.

Но нас ждали племянник Паруни Юрий Воронов с женой Мариной, и мы торопились по «улице 25 октября», как извещал «спёртый» в городе и «для смеху» повешенный на пустой избе указатель. На двери избы компьютерный листок жёстким шрифтом предупреждал: «Господа, просим ничего тут не трогать, иначе из-под земли достанем и ноги повыдергаем». «Господа»

чувствовали авторитетность угрозы, и оставленный на зиму дом стоял не тронутый. А жилых-то изб, кажется, только и было, что новый дом Вороновых, приехавших из-за нас, да мужика, который, наверно ещё парнем, спас здесь чуть не утонувшую Марию Семёновну (мы его не видели).

Ну, конечно, попиروвали малость. Как иначе — «за встречу!» да за Виктора Петровича! Покололи дрова для молодечества и даже поиграли в городки, что привёз с собой предусмотрительный Вершинин («Чё это в деревне и без городков?»). Никто не вышел посмотреть на нашу забаву. Некому было. И уже не верилось что при Викторе Петровиче здесь было шестнадцать домов.

Живи, матушка! Ухватывайся за память о Викторе Петровиче, за русское слово, как прежде за землю и держись, а мы ещё будем слетаться к тебе за любовью и светом.

Навестили мы с Вороновыми и место Паруниной избы. Помните рассказ Виктора Петровича об этой великой в своей незаметности русской женщине из тех, которые, как писал Виктор Петрович, «всем должны, а им — никто», как распутинская Анна из «Последнего срока», как солженицынская Матрёна из «Матрёнина двора». Да и раньше — не от века ли? — они держали русскую землю, как ещё в XIX веке потрясая и европейского читателя тургеневская Лукерья из рассказа «Живы мощи». Может быть, потому и умирает Быковка и померли другие несчётные русские деревни, что они только и держались в последнее время трудом, любовью и совестью этих мучениц, знать не знавших, что они мученицы. Поклонились ей от себя и Виктора Петровича. Вспомнили, что и она была Воронова и деревня на старых картах звалась Вороново. И то, что обживают сейчас здесь Юрий и Марина Вороновы — радость и ободрение. Они ещё молоды, привезут сюда своих детей. Те привьются и, глядишь, «улица 25 октября» и впрямь станет улицей, и Виктор Петрович поживёт здесь в благодарной памяти. И власти пермские не забудут этой деревни, где родились светлейшие книги нашей литературы, где написаны не одна «Пастушка», а и «Монах в новых штанах» и «Где-то гремит война», и «Синие сумерки», и «Кража», и «Сашка Лебедев» и незабвенный рассказ «Ясным ли днём», и несчётные затеси, которые одни стоят того, чтобы воскресить избу, где явились они на спасение русского сердца и русского слова.

...Осенний день короток и мы, поклонившись кресту и пепелищу, кивнув пригорюнившейся и тоже словно хватающейся за нас «взглядом» бане, перебравшись старым мостком через речку Быковку, ещё провожаемся за деревню с Вороновыми, с Анатолием Борисовым, так и не отведав его «кипятка в мундире». И с поворота тропы, отобнимавшись, машем, машем новым знакомым, закатной Быковке, вершине астафьевской лиственницы, которая, привстав на цыпочки, тоже глядит на нас на дорожку и уже родному небу над ней.

Живи, матушка! Ухватывайся за память о Викторе Петровиче, за русское слово, как прежде за землю и держись, а мы ещё будем слетаться к тебе за любовью и светом.

У «Третьего»

Вот уж подлинно — правду знает только Бог, а все наши биографии и автобиографии, даже и просто перечисляющие даты и факты, — только сочинения большей или меньшей достоверности (мы и в перечислении фактов знаем, какой опустить, а какой подчеркнуть).

Я думаю об этом, вспоминая пору своего знакомства с Виктором Петровичем Астафьевым.

Старые чусовляне, кто поближе к бывшим интеллигентным кругам и кто знал молодых Астафьевых (в чусовские годы они сами первые хмыкнули бы над словами об «интеллигентных кругах») могли прочитать впоследствии книги Виктора Петровича и его жены Марии Семёновны и увидеть, как различен их взгляд на одно и то же чусовское событие. Будто и не в одной семье и даже не в одни годы жили они там. А коли они, эти старые астафьевские товарищи, пустятся сами вспоминать, то у них выйдет и во все третье. И они по русской привычке легко укорят писателей в неправде, как укорял, бывало, Астафьева во всём сомневающийся Толстиков, знавший Виктора Петровича не одно десятилетие.

Что поделаешь — у всех разное зрение, и мы всегда видим мир с одного своего места. Со «своего места» вижу его и я. И тоже посмеиваюсь над нашей домашней мифологией. Так Виктор Петрович долго представлял меня, когда нам случалось бывать в гостях вместе, человеком, который «родился в Чусовом, как и моя Маня». И как я ни упирался и ни напоминал, что в Чусовом жил только с 1947 года, а родился и начальное детство провёл в ульяновской деревне, Виктор Петрович легко выбрасывал «эти пустяки» из головы, потому что ему милее было представлять, что мы с его «Маней» из одного города и «завелись в саже». Как и любимый им пермский писатель Миша Голубков (Царство ему Небесное).

С Мишей мы познакомились поздно, года за два до его кончины, но в Чусовом побывать вместе успели, походили по его «Лисицам», которые мне были тогда совершенно неведомы, как слишком дальняя от моей Больничной горы «земля». Покупались на Усьвинской Прорве, которую оба, оказывается, любили — только ходили к ней с разных сторон — он из своих «Лисиков», а я из-за Вильвенского (никто не говорил из-за «моста», просто из-за Вильвенского — и всё).

Миша был весёлым смешливым человеком, хорошим лесником, умелым охотником и близким Астафьеву даже и самим «устройством» дара писателя. Они дружили и во всякий приезд Виктора Петровича в Пермь и Чусовой, непременно виделись. Да и останавливался Виктор Петрович часто именно у Голубковых.

Мы и с Виктором Петровичем познакомились поздно, когда ему уже было 50 лет, и я сам решил заняться писательством профессионально и оставил редакцию Псковской молодёжной газеты, где работал до этого,

что считалось прямым безумием, потому что в Пскове ни тогда не было, ни теперь нет ни издательства, ни журналов, где можно было бы перебиться разной мелкой работой.

В Пскове в ту пору (это был 1974 год) жил замечательный русский прозаик, прекрасный лирик Юрий Николаевич Куранов. И вот его-то Виктор Петрович и пригласил в Вологду, где он тогда жил, на своё 50-летие. А уж Куранов меня — чтобы вместе поглядеть Вологду. Ну, заодно и с Виктором Петровичем познакомиться, раз уж мы жили когда-то в одном Чусовом. К стыду своему я почти ничего из Астафьева на ту пору не читал, гоняясь больше, по недостатку образования, за тонкостями Европы и выхватывая из самиздата русскую философию: Л. Карсавина и Л. Шестова, о. Павла Флоренского и о. Сергия Булгакова (читал, что попадалось, и читал как попало). Конспектировал Ницше и Ясперса, насматривал по галереям и музеям живопись, над которой недавно (из своего «передвижничества») смеялся, метался по театральным премьерам. Жизнь была бедна, но не была унижительна, как сейчас — как-то хватало нищих моих денег доехать и до Ленинграда, и до Москвы. Для того и с работы ушёл, чтобы больше читать и видеть. Ну, и старая архитектура ещё была предметом общего увлечения, и Вологду надо было видеть.

Поехали. А Астафьева чего было читать, если он у нас в 9-й школе выступал после выхода бедной маленькой книжки «До будущей весны», вышедшей в Молотовском издательстве в 1953 году. Я сбежать с его выступления тогда не сбежал — слишком плотно перекрыли выходы учителя, но и слышать ничего не слышал. Знаем мы этих, чусовских писателей, читывали в «Чусовском рабочем», как того же Толстикова или Реутова.

Вероятно, это в русской провинции не переменится никогда. Ты можешь печататься в Москве, Питере, хоть в Париже, но свои только хмыкнут и решат, что или в Москве и Париже дураки, или это они «для экзотики» тебя печатают. А чего может написать человек, которого ты каждый день видишь в очереди за хлебом или с удочкой за Вильвенским?

А что он в Пермь переехал, а потом в Вологду, так мало ли как жизнь складывается. Я вон и сам в Пскове. А дар-то у него всё равно Чусовской. При этом я почему думал так о его даре и не смотрел в зеркало — сам-то откуда?

И вот Виктор Петрович здороваётся на вокзале с Курановым, а смотрит почему-то на меня. Или мне кажется, что смотрит, потому что один глаз у него после войны не видит, и никак не узнаешь без привычки, куда он смотрит. Да нет, оказывает-

ся, точно на меня, потому что вдруг говорит: «А не тебя ли это (я уже было ошетинился на «тебя» — мы, чусовские, гордые) я видел лет двадцать пять назад в Чусовом у третьего (тоже ведь никто не говорил «у магазина», а «у третьего» — и всё), собирающим летом с ребятишками окурки у железной дороги?».



В. П. Астафьев и В. Я. Курбатов

Это сбilo меня влёт. Как? Узнать в тридцатипятилетнем человеке с бородой и очками десятилетнего мальчишку из другой жизни, тем более что я в детстве был мучительно мал и вырос только на флоте?

Мне не терпелось в гостиницу. Бог с нею, с Вологодой, с архитектурой и древностями (потом посмотрю) — надо было немедленно прочесть что-нибудь у этого памятливого человека. Что-нибудь небольшое, чтобы скорее. Рассказ какой-нибудь. Куранов смеялся моему нетерпению, но, и сам уже волнуясь, выбирал рассказ. Ему хотелось «попасть», чтобы «не подвести» Астафьева и удержать во мне это смятение. И он протянул мне рассказ «Ясным ли днём»...

Те, кто читал его, поймут меня, а кто нет — тому не расскажешь. Я не знал, что делать. Была ночь, Куранов спал, а во мне всё плакало и искало выхода. Надо было с кем-то разделить восторг и горе, счастье и печаль, кото-

рые при настоящем искусстве ходят рядом. Я не мог дожидаться утра, чтобы лететь к Астафьевым. Но что я мог сказать, какие слова найти, когда уже шумели гости, когда всё кипело, хлопотало, и всем было не до меня? К тому же фанаберия-то фанаберией, но никуда не делась и неизживаемая деревенская стеснительность. Я только попросил прощения за то, что не изжил в себе чусовского школьника, недоверчивого к дару человека с соседней улицы и поблагодарил за урок. А надо было бы встать на колени и как ни сентиментально и не литературно это прозвучит, поцеловать руку, написавшую этот рассказ. Может быть, это было бы смешно и похоже на деревенскую цитату из рыцарского романа, но если бы мы умели делать это, у нас было бы больше хороших писателей. И они не кончали бы так плохо, как кончают прекрасные поэты и прозаики светлейшего русского дара, которых вовремя не обняли с благодарными искренними слезами. Всё мы защищаемся от волнения нашей дурной, ложной сдержанностью, которая к тому же часто принимает юридские формы.

Художник, расточающий сердце, нуждается в восстановлении сил. И не для того ли в старые годы люди и читали свои сочинения в близком кругу, чтобы услышать одобрение и подкрепиться им в любви к лучшему. Вспомните, как Пушкин по возвращении из Михайловской ссылки читал в Москве своего «Бориса» и что происходило со слушателями. Они, к счастью, ещё не научились нашей «сдержанности», и не скрывали слёз, и обнимались и в этот час были братья, гордые Россией и её искусством.

Но, видно, умный Виктор Петрович этот мой задавленный порыв увидел, как увидел того мальчика «у третьего». И через месяц я уже ехал к нему в вологодскую деревню Сиблу, чтобы закрепить наше четвертьвековое мгновенное знакомство.

Я добирался до районного Харовска на перекладных, устал, замёрз (был конец мая) и всё ускорял, ускорял шаг от дороги к деревне, предчувствуя чай и тепло.

Но дверь была на замке...

А тут ещё внезапно сорвался крупный дождь, как в старом простодушном кино, где, если герой попадал в душевную переделку, немедленно начиналась гроза или метель, чтобы возбудить сострадание зрителя.

Нашёлся и зритель. От соседней избы семенила ко мне маленькая старушка.

— К Петровичу приехал? Ах, горемыка. А он с Семёновной искренно собрался и уехал. В Вологду, говорит, надо. Не знаю — на день, на два. Искренно, говорит.

Что, думаю, за «искренность» такая — договориться и уехать? Впрочем, я и сам виноват — прямо-то дня не назвал. А про «искренно» уж потом по журчанию Анны Константиновны (как звали старушку) догадался, что это у неё «экстренно» так звучит и понимается.

— Петровича-то давно видел? На-ка вот погляди.

Из-за зеркала была бережно извлечена серая харовская газета месячной давности, извещавшая о юбилее писателя.

— Ничего, муштина самостоятельный. Смешливый только больно. Ну, да и я и сама смешливая. Это ничего. А Семёновна уж хозяйка так хозяйка. Всё чё-то копошится, копошится в огороде. Редьку какую-то сажает. Не пробовал? Мне давали — маненька такая, на редьку похожа на вкус-то. Чё только её тогда такую маненьку растить? А то ещё салат. Мне тоже давали. Это уж прямо смех: трава-травой... Поди вон её за баней рви траву-то. Чё под неё землю занимать? Но заботлива — ничё не скажешь.

Ночевать, однако, разговорчивая бабка Анна меня у себя не оставила («деушка я — чё скажут в деревне?»). И отвела меня к механизатору Петру, где тоже из-за зеркала немедленно была извлечена харовская газета и явлен «Петрович». А наутро и вовсе хватил снег. Хорош конец мая!

Я приуныл. Деревня, ещё вчера радовавшая, пока спешил от дороги, непривычной для среднерусского взгляда высотой и добротностью северных изб и высоким своим полётом над петлявшей внизу речкой Кубеной, разом сделалась неуютна и мала (три-четыре крепких избы, развалины

посреди деревни да дальние, даже на взгляд тоскливые, коровники). Всё показалось брошенным, доживающим. Чего он искал тут? За что ухватывался?

Слава Богу, к вечеру Виктор Петрович и Марья Семёновна приехали.

И уж тут и чай, и «чай», и разговоры про Чусовой. Кажется, он помнил всех и в лицо, и по имени и на Больничной горе, и на Красном посёлке — так и сыпались Ардашевы, Фаттаховы, Полуэктовы. Даже из моих сверстников кого-то помнил — Черепенина, Коровина, Пермякова. Заметные были ребята: белые кашне, фиксы, «лихая мода — наш тиран» тогда оглядывалась на воровские авторитеты.

А потом — самое желанное: чтение последнего из написанного. Печка дышала теплом, рисованный на ней московским товарищем Виктора Петровича художником «Советского писателя» Евгением Капустиним роскошный петух неслышно драл горло, ночь глядела в окно плотная, как ставни. А он всё-таки ещё накинуд фуфайчонку — берёт проткнутые чусовскими молодцами лёгкие (так тогда реагировали на газетную критику — теперь, впрочем, предпочитают взрывать и стрелять).

Как страшно потом рассказывала об этом Марья Семеновна: «Воздух попал в лёгкие, и всё в нём распухло до страшной маски. Щёки, веки — всё скрипело под пальцами, как крахмал или снег. И он всё просил зеркало, а я «забывала». А вечерами меня поджидали у больницы эти молодцы: «Посадят, ты тоже долго не наживёшь». И потом следовательно: «Что помните? Какие были разговоры?» «Не помню, говорю, не было никаких». Страшно вспомнить.

Вот он и прикашливал, и кутался — хоть в тепле. И читал. Это была одна из лучших глав медленно собиравшегося «Последнего поклона» — «Гори, гори ясно!». И бабушка Катерина Петровна, научившая внука не давать слабину перед сверстниками, сокрушённо глядела на выбитое, научившимся внуком стекло: «Вот дак шабаркнул! Вот дак научила на свою голову!». И девочка всё утешала мальчика в болезни, и звенели, звенели в деревенской закатной тишине навсегда незабываемые детские бессмертные голоса: «Гори, гори ясно!»...

Днём мы рыбачили на Кубене. И пока шли, Виктор Петрович всё спрашивал: а это какой цветок? А это? И, радуясь моему неведению, с наслаждением называл. А к вечеру сидели у дома, и он окликал мужиков, идущих с работы (где-то всё-таки работали):

— Редиськи не хошь? (видно, уже про «редиску» знали все).

— Нет, — отвечал бойкий мужик, повисая на заборе, — я лучше у Таньки «висек» возьму («виськи» были неожиданные вологодские «Виски-74» в домашнем деревенском ларьке).

— Дак чё — виськи-то слаще что ли?

— Их жевать не надо, — радостно улыбался беззубый мужик. А на другой день сажали маленькие кедры, присланные ему из Красноярского питомника, с милой родины. Он надеялся перенести свою сибирскую родину под окно вологодской избы.

Живы ли они? Жива ли сама Сибла? — Бог весть. Прошло столько лет. И каких лет! Целые республики поумирали и целые города. Как устоять деревне в полдесятка изб?

Я потом вспомню её только ещё раз. Спустия двадцать лет, когда Виктору Петровичу будет уже семьдесят, когда слава его будет огромна и драматична. Когда все, кто был с ним дружен прежде, в пору его великих «Последнего поклона», «Оды русскому огороду», «Пастуха и пастушки», уже отвернулись от него, смущённые злой тяжестью «Печального детектива», мрачных рассказов и затесей, первых книг трагического романа «Прокляты и убиты». И более всего — подписанных им общественных писем и срывающихся интервью.

Я вспомню, что он переехал именно в Вологду, когда жизнь в Перми стала для него тесна и зла, единственно потому, что там жил близкий ему каждым словом каждой своей книгой Василий Иванович Белов. И вот с Беловым и Сиблой и был связан один из эпизодов, который однажды много лет спустя, уже в Сибири, в какой-то горький час рассказывал Виктор Петрович и который вспомнился мне в дни его шумного, но одностороннего 70-летнего юбилея.

— Ну, ты Сиблу мою видел. Когда-то, конечно, деревня была молодецом. Я не говорил тебе, что нашёл там в сундуке молитвенник, том «Четых Миней», «Историю государства Российского» в приложении к журналу «Сельский вестник». На бумаге, конечно на паршивой, но ведь не на выставку делали. Вообще там мужики прежде грамотные были. Севооборот знали. При их супеси без знания и малого хлеба не возьмёшь. И тракторишки бы им мелкие при их-то полях, уж они бы развернулись! А то мы везде «Кировцы», а они тут как слоны на девку! Ну, а уж что потом стало, ты видел.

— Мне и работалось там тяжело. Всё через силу. Бывали минуты, когда я сам от себя прятал ружьё, которое в Чусовом спасало мое удалое семейство от голода. Боялся греха. И вот ведь чуткость Васькина! Чуть меня прижмёт, и я на ружьё начинаю поглядывать, прибежит какая-ни-то скотница с фермы: «Виктор Петрович, вас там к телефону зовут» (был у них там телефонишко).

Иду, нехотя — кого там ещё? А это Васька. Он недалеко в Тимонихе жил. И он оттуда:

— Ну, чего? Пишешь? А мне всё надоело. Уйду к чёрту в механизаторы.



Разговор по душам.
Фото В. Н. Маслянки

Проклятая работа! Все слова растерял. Ничего в башке нет!

Ну, уж тут мне его надо утешать. Не до себя. И пока его ободряешь, глядишь, и себя ободрил.

А через неделю опять белый свет не мил. И уж, глядишь, опять скотница пылит: «Вас там Василий Иванович из Тимонихи спрашивает». Читали — знают.

Хватаю трубку, всегда перемазанную в навозе:

— Ну что? Из механизаторов звонишь?

— А-а, брось, какие механизаторы! Вот послушай. И читает какую-нибудь свою бухтину, на которые был большой мастер. Мёртвый рассмеётся. А уж меня рассмешить — много не надо. И как он знал эти мои страшные часы?

Не потому ли и от Василия Ивановича через сто лет, уже в пору их тяжёлого расхождения однажды после того, как Василий Иванович съездил во время Пушкинского праздника в Печеры, исповедовался и причастился там, я услышал при нашем прощании у вагона: «Если бы Витька позвал, я бы наверно, пешком пошёл в Красноярск!».

Я написал об этом в дни семидесятилетия Виктора Петровича в «Общей газете». Эх, и попало мне от обоих! Виктор Петрович утверждал, что никогда не бегал ни по каким скотным дворам, а Василий Иванович, что не только пешком, а и на самолете даром бы не полетел.

Ну что ж, значит мне померещилось... Я же говорил, что все биографии и автобиографии есть только творчество писавшего их, а правду знает один Бог.

С тех счастливых дней 1974 года в Сибле, мы виделись через год, а когда Виктор Петрович вернулся на родину в Красноярск, то и каждый год Виктор Петрович рекомендовал меня в Союз писателей, упирая в рекомендации на бедные чусовские годы, как на мою главную заслугу перед литературой. Это уж у него всегда так — к кому расположен, у того и «ботинчошки никуда, и пальтишонко насквозь». Вроде как: возьмите, ребята, много не съест, а доброе дело сделаете. Мне было бы интересно взглянуть в тот час на «ребят» из приёмной комиссии, потому что вторая рекомендация была от Павла Григорьевича Антокольского («Здравствуй, Павел Григорьич, древнерусский еврей!» — как приветствовал его в стихах Ярослав Смеляков), и там речь шла о «европейской школе», о работах по Рильке и Верлену. А Семён Степанович Гейченко, великий директор Пушкинского заповедника сворачивал в рекомендации на пушкинскую «почвенность» и классическую традицию. Всё это было написано о трёх разных людях разного возраста и воспитания, которые не высидели бы в одном помещении и десяти минут. И это опять про биографии и Господне знание.

Это было начало. И оно, в общем, было далеко от Чусового. Но для себя я отчего-то всё зову это начало «У третьего». И при всяком приезде в Чусовой, при всех переменах бедного «третьего», благодарно кланяюсь ему.

Литературные премии и награды

1976 г. — премия еженедельника «Литературная Россия».

1979 г. — премия журнала «Литературное обозрение» за статью об искусствоведке и реставраторе Савелии Ямщикове.

1992 г. — премия журнала «Наш современник»; премия еженедельника «Литературная газета».

1994 г. — премия журнала «Москва» за годовой цикл критических публикаций; премия журнала «Смена» за статью «20 лет без Шукшина».

1998 г. — Всероссийская литературная премия имени Л. Н. Толстого; премия журнала «Дружба народов».

1999 г. — премия Администрации Псковской области за книгу «Юрий Селивёрстов: судьба мысли и мысль судьбы».

2001 г. — премия имени А. Прокофьева «Ладога».

2003 г. — медаль Пушкина за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

2004 г. — премия Администрации Псковской области за книгу «Перед вечером, или Жизнь на полях»; премия Союза журналистов России за очерки, опубликованные в альманахе «Общество и здоровье».

2005 г. — Международная литературная премия «Время Русь собирать».

2007 г. — литературная премия имени П. П. Бажова за книгу «Долги наши. Валентин Распутин: чтение через годы».

2008 г. — Горьковская литературная премия в номинации «Мои университеты» за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности.

2010 г. — Новая Пушкинская премия.



*Мысли о главном...
Фото В. Н. Маслянки*

В. Я. Курбатов лауреат премий газет «Литературная газета» (1987 г.), «Литературная Россия» (1976 г., 1997 г.), журналов «Смена» (1980 г.), «Урал», «Наш современник» (1992 г.), «Дружба народов» (1998 г.).

В. Я. Курбатов о Чусовом

Отрывки из писем В. Я. Курбатова В. П. Астафьеву*

18 августа 1974 г.,
г. Псков

Дорогие Виктор Петрович и Мария Семёновна!

Я приезжал к Вам с Юрием Николаевичем Курановым в прекрасные дни Вашего пятидесятилетия, Виктор Петрович, и мы с Вами на бегу несколькими словами обмолвились о Чусовом, в котором я провёл детство и отрочество на Больничной горе, на Переездной.

А сейчас я воротился оттуда, из ослепительной чусовской осени, которой, кажется, никогда не видал там прежде. Словно в укор за долгое отсутствие осень мучила меня красотой во все дни гостевания. И лица встречаемых были странно знакомы, но окликнуть не находилось мужества, потому что не мог припомнить ни имени, ни связи своей с ними. Как в заспанном к утру сне — и помнится как будто, а сказать нельзя.

От этого всего саднило сердце, и я каждый день уходил всё дальше и дальше по Чусовой, Усьве, Вильве, Архиповке.

Гребешок, куда мы так любили ходить с ребятами, угланами, совсем не переменялся, только отполировался его «стол» на вершине да появилась рядом просека — тянут через Чусовую нефте- или газопровод. Река вовсе обмелела, лес грудится у быков, по берегам, на отмелях...

* «Крест бесконечный». В. П. Астафьев — В. Я. Курбатов: Письма из глубины России: 1974-2001 / сост. Г. Сапронов; послесл. Л. Аннинского. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2002. — 512 с.

29 апреля 1980 г.,
г. Псков

...В последний день перед отъездом из Чусового вскрылись реки, и я исходил всю Колапиху, а потом подался на Гребешок и находился за день так, как в Пскове не нахаживался и в месяцы. Немного пофотографировал, погляжу, что выйдет, и pošлю Вам.

Ледоход был бедноват и не потому, я думаю, что лёд тонок, а потому, что прежде-то всё величие ледохода ещё от леса зависело и оттого, что лес защищал берега и лёд креп и мужал до слоновьей толщины, и оттого, что остатки молевого сплава влеклись рекою, громоздя заторы, ставя лёд на попа, тесня его к гаваням. А теперь вода свободна, лёд лёгок и летит хоть скоро, но почти бесшумно.

Вообще на этот раз мне было хорошо в Чусовом...

21 сентября 1997 г.,
г. Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Теперь Вы, поди, только-только из Чусового, поглядели на свой домишко за чудной оградой и уж, поди, сказали, что коли оно бы тогда так было, та и не поехал бы никуда — куда от такого нарядного забора побежишь. Правда, тогда добрые жители Партизанской улицы и Красного посёлка много чего успели бы проделать с таким забором и его хозяином, так что он сам бы ночью этот забор скovyрнул и во вторсырьё отнёс, чтобы не маяться. Музей — дело такое. Им бы всю тогдашнюю бедность сохранить, а они вот чудесами украшают. Всё добра хочется, красоты.

Ну и ладно! Главное — память есть и хорошо! Сегодня, чтобы всё безобразия происходящего перетянуть, памяти много не надо. Надеюсь, что Леонард Дмитриевич хоть что-то снимал, и я хоть таким образом разделю с вами эту поездку, раз уж нам не суждено оказаться в Чусовом вместе...

В. Г. Распутин

Были люди в наше время!*

Валентин Курбатов опять «между прочим» собирает завидный урожай с участка, который не требовал особенного ухода и располагался в дальнем углу его писательского хозяйства, куда хозяин навещался только от случая к случаю. Но счастливая рука у этого хозяина: что ни воткнёт в едва разрыхленную почву, непременно вымахает «овощ» на загляденье. Сначала «с обочины» вышла переписка с Виктором Астафьевым: два близких по духу человека, следуя старинному правилу дружеского общения, просто писали друг другу, не могли не писать обо всём, что происходило в литературе и жизни накануне и в продолжение трагических событий 1980-1990-х годов. Цену они себе, разумеется, знали, но едва ли придавали большое значение своей переписке и уж, конечно, не думали о книге. Но не могли не замечать они как люди чувствительные и внимательные ко всему, что происходит вокруг, что остаются в числе последних, кто в электронный век не отказался от писательской ручки как орудия своего производства (а Виктор Петрович так и от чернил до последнего дня не отказался) и не изменил дружескому общению с помощью почтового конверта. Наступают времена окончательного и великого прощания с окружавшими человека, и в особенности творческого человека, мелочами быта, орудиями профессионального труда, предметами личного уюта, — всего того, что необъяснимо поднимает настроение и располагает к работе. Ах, как много великие люди зависели от мелочей! Это же были атомы и молекулы их творческого естества, «рычажки», запускающие в действие мозговой аппарат, едва уловимые сигналы поощрения или, напротив, тревоги. Нет, не будь во все предшествующие века и до самого последнего времени у писателя этого царства пустяков, не было бы и литературы, которой мы гордимся и которая ни в какое сравнение не идёт с продукцией, как из доменной печи, добываемой из компьютера.

Двадцать восемь лет продолжалась переписка между Виктором Астафьевым и Валентином Курбатовым. Осенью 2001 года Виктора Петровича не стало. И тогда высмотрелось, что письма-то эти имеют не один только частный, но и общественный интерес, что личного в них меньше, чем общезначимого, да и личное в те буйные годы у людей такого ранга не спрячешь. Можно было, конечно, не торопиться с публикацией, чтобы дать остыть некоторым горячим высказываниям и некоторым убеждениям дать отстояться во времени, да само время сейчас и подгоняет, уплотняясь и напрягаясь как никогда; годы, будто волны

* «Жизнь взаимы»: к 70-летию со дня рождения В. Я. Курбатова : библиогр. указ. лит. / сост. Е. Г. Киселёва; отв. ред. В. И. Павлова. — Псков : АНО «Лотос», 2009. — С. 16-21.



Презентация книг (слева направо: художник С. Элоян, редактор А. Ф. Гремичская, автор В. Я. Курбатов, издатель Г. К. Сапронов). Фото из фонда Литературного музея В. П. Астафьева

в бурю, с нахлестом перемахивают друг через друга без всякой последовательности, так что и не сказать, где сегодня и где завтра. Поэтому можно понять Валентина Яковлевича, поспешившего, казалось бы, с публикацией переписки: быстро меняются не только вкусы и нравы, но и всё больше во внешнюю жизнь переходит человек.

И вот теперь «Подорожник» из того же разряда «между делом», «между прочим». Происхождением — из легкомысленного занятия брать у известных людей автографы. Альбомному этому жанру сотни, как не тысячи, лет, бессчётное число девичьих душ провели оставленные на их страницах посвящения и памятки сквозь всю жизнь в нежных и отрадных чувствованиях. Тоже недурная служба, и тоже исчезающая. Как не отдать ей дань, как не всмотреться внимательней, что это за страсть такая была, что ею не гнушались ни Пушкин, ни Лермонтов, ни многие иные из великих, и нельзя ли повернуть её на современный лад и с её помощью сказать об именитых больше и с такого боку, откуда к ним не принято подходить.

В «Подорожнике» среди многих иных личностей оказался со своим автографом и я. В его воспоминаниях о первых наших встречах двадцатилетней давности не упомянут один эпизод, который мне теперь вспомнился. Несколько дней в ту пору мы с Курбатовым прожили у меня на даче неподалёку от Байкала. Гость мой, встретив в хозяине не слишком болтливую человека

(он не преминул это немногословие, свойственное многим сибирякам, превратить в каменное молчание), заскучал. Не книжки же читать ехал он за тридевять земель! Но вот вижу: откопал он на свалке старый детский велосипед с одним колесом и давай мараковать, как бы на нём покататься. А далеко ли укаатишь на одном колесе?! А не отступается: то под переднее крыло это колесо, то под заднее... А оно всё одно. Смотрел-смотрел я на его мучения и полез на чердак, где в хламе валялось ещё одно колесо, вдвое больше первого и с выбитыми наполовину спицами. «Вот, — говорю, — оно могло бы быть вторым, но вторым ему не быть, они совершенно разного формата, их в одну тележку впрячь невозможно».

Ах, как много великие люди зависели от мелочей! Это же были атомы и молекулы их творческого естества, «рычажки», запускающие в действие мозговой аппарат, едва уловимые сигналы поощрения или, напротив, тревоги. Нет, не будь во все предшествующие века и до самого последнего времени у писателя этого царства пустяков, не было бы и литературы, которой мы гордимся и которая ни в какое сравнение не идёт с продукцией, как из доменной печи, добываемой из компьютера.

Полдня провозился мой гость и поставил-таки велосипед на два колеса. Получилось нечто вроде цирковой забавы. Но она покатила. И даже прокатила недалеко своего конструктора.

Так и с альбомом-«подорожником». Подарили Валентину Яковлевичу не записную книжку и не книгу для записей, а что-то среднее, аккуратное, со вкусом сделанное, как раз под руку, под мелкий его почерк. Не для критических статей, это было бы грубо, а для сердечного, для чего-нибудь такого, что неторопливо можно продолжать всю жизнь. Хоть альбом заводи! Но если только альбом для автографов — мало веса, разноразной, кто в лес, кто по дрова. Вот тогда-то, должно быть, и вспомнил Валентин Яковлевич велосипед на двух неодинаковых колёсах, сохраняющий способность к движению. Малое колесо — это функция автографа: каждый из избранников вписывает в блокнот собственноручно что ему заблагорассудится, а большое колесо, несущее основную нагрузку, — портрет автографиста, подробный рассказ о встрече с ним — или со слов героя или автора, или дневниковые записи последнего. Жанр, нигде и никогда, кажется, не существовавший, достаточно вольный, но и достаточно слаженный, органичный, увлекательный.

Катится-катится колесо по дороге жизни, встретится интересный человек — остановка. Десятки и десятки встреч с громкими и заслуженными именами, прославленными людьми искусства, большей части которых уже нет в живых. С одними, как с Семёном Гейченко, Виктором Астафьевым, Виктором Конечким, долгая дружба, бессонные ночи за разговорами, зна-

ние друг друга до буковки, пронзительно-точное чутьё к русскому слову, перенесённое в «Подорожник». С другими, как с Георгием Свиридовым, встреча случилась единственная, но столь полная, столь богатая, будто продолжалась она дни и дни. Великий композитор велик здесь во всём своём богатырском размахе. Одновременно с радостью и болью читаешь разговор с Валерием Гаврилиным — такой чистоты человека, кажется, и не бывало в искусстве. И светлого, пронизательного, истинного чародея музыки. А встречи с Анастасией Ивановной Цветаевой, Валентином Берестовым, Арсением Тарковским, Давидом Самойловым, Ярославом Головановым и многими-многими другими. И в каждой встрече — знакомый и словно бы незнакомый человек, нигде более в таких подробностях и такой ипостаси не бывавший, многое в себе сберёгший только для «Подорожника».

Продолжались эти записи почти тридцать лет, и всё «между прочим», в промежутках между важными делами и серьёзными книгами.

Вот что ещё удивительно. Валентин Яковлевич завёл себе этот спутник-«подорожник» ещё в молодые годы. Чтобы заполнить его даже вполовину, надо было рассчитывать на долгую жизнь. Ведь для каждой встречи требовался счастливый случай и удачное стечение обстоятельств, а такое каждый день не выпадает. Рядом с его «Подорожником» повесть или рассказ — раз плюнуть, знай, сиди себе спокойненько на одном месте и тяни слова, как рыбку, из омота, где они водятся. И то оторопь берёт: хватит ли дней твоих, чтобы успеть поставить точку? В таких случаях мы боимся заглядывать далеко и продвигаемся вперёд с постоянной оглядкой. А Валентин Яковлевич без сомнения запрашивает: «Мне потребуется на эту работу лет тридцать!» и получает их. В этом шутовском вроде бы замечании есть доля мистической правды: если дело твоё правое и чистое и начал ты его с уверенностью в своих силах — быть и его окончанию.

Прост и величав «Подорожник». Последовав дорогой автора, уже не можешь ни остановиться, ни уклониться в сторонку — так увлекают и завораживают эти встречи, так много в них глубокого, нового, питающего... Валентин Яковлевич словно бы угадал время... Хотя чего и угадывать, если он жил в нём! Ему посчастливилось, что ходил он по российским дорогам именно в это время. Сейчас подобный «Подорожник» уже не создать. Не те дороги, не тот народ селится подле них. А правильней сказать: не селится, а проезжает на скоростных машинах.

Книги В. Я. Курбатова

1. Виктор Астафьев. —
Новосибирск
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. — 71 с. — (Лит. портреты).
2. А. А. Агин
Л.: Художник РСФСР, 1979. — 48 с.: ил. — (Массовая библиотечка по искусству).
3. Миг и вечность:
Размышления о творчестве
В. Астафьева
Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1983. — 150, [18] с.: ил.
Анализируя творческий путь писателя, критик доказывает, что собственный, действительно, оригинальный способ миропостижения В. П. Астафьева, рождающий его удивительные книги, находится в постоянном движении, в эволюции. Заветные темы В. П. Астафьева не исчерпаны, они ждут своего продолжения, новых поворотов и оттенков. Книга вышла к 60-летию В. П. Астафьева.
4. Михаил Пришвин:
Очерк творчества
М.: Сов. писатель, 1986. — 223 с. — Библиогр.: с. 220-223.
5. Евгений Широков:
Портрет на фоне портрета
Пермь: Перм. кн. изд-во, 1987. — 33, [3] с., 19 л.: ил.
6. Валентин Распутин:
личность и творчество
М.: Сов. писатель, 1992. — 172. — Библиогр.: с. 170-173.
7. Домовой: Семён
Степанович Гейченко
Письма и разговоры / ред. В. А. Сапогов. — Псков: ПОИПКРО, 1996. — 55 с.: фото. — (Пушкинский урок).
В коротком предисловии автор книжки представляет читателям своего главного героя: «Семён Степанович Гейченко с 1945 по 1993 год — бессменный директор Пушкинского заповедника в Михайловском, первый среди музейных работников Герой Социалистического Труда, автор несколько раз переиздаваемой и всё не могущей утолить спроса книги «У Лукоморья», драгоценного альбома «Пушкиногорье» и доброй учительной книги «Завет внуку», инициатор Всесоюзных, а потом Всероссийских Пушкинских праздников, настоящая музейная легенда, гордость русской культуры, душа Пушкинского Михайловского, добрый «Домовой», который подлинно без двух лет столетия хранил «селенье, лес и дикий садик поэта», сделал Пушкинский заповедник одним из лучших, если не сказать лучшим музеем страны. Остальное — в этой книжке...».

8. Юрий Селивёрстов:

Судьба мысли и мысль судьбы
Псков: ОТЧИЗНА, 1997. — 146 с.: ил. —
(Псковский край к 200-летию А. С. Пушкина).

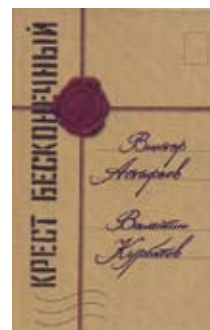
9. День недели

Сборник статей. — Псков: Самиздат,
1999. — 169 с.

10. Домовой

Семён Степанович Гейченко: письма
и разговоры, записанные адресатом
писем Валентином Курбатовым в разные
михайловские годы в фотографиях Виктора
Ахломова, снятых в те же годы. — Тверь:
Русская Провинция, 2000. — 79 с.: фот.
То же. — Псков: Псковская областная
типография, 2002. — 79 с.: фот.

12. Художник Евгений Широков
Альбом. — Пермь: Курсив, 2001. — 160 с.: ил.
Альбом с репродукциями картин известного
художника Евгения Широкова и его
воспоминаниями об истории их создания.
В предисловии Валентин Курбатов пишет:
«История русского искусства уже не мыслима
без вклада Евгения Николаевича Широкова,
где каждое отдельное слово, может быть, и
негромко, но где всё вместе — речь, в которой
ничего неопределённого и расплывчатого, где
всё неотменно ЕСТЬ».



13. Крест бесконечный

Виктор Астафьев — Валентин Курбатов: Письма из глубины России / сост. Г. Сапронов. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2002. — 512 с. — Указ. имён: с. 489-509. Книга переписки великого русского писателя Виктора Астафьева и выдающегося литературного критика Валентина Курбатова, охватывающая 28 лет их дружбы и сотрудничества — может быть, последний русский эпистолярный роман о жизни двух тружеников отечественной культуры, написанный движением сердца каждого. Их письма искренни, чисты и откровенны, в них раздумья и переживания о нашей литературе, культуре в целом, народе-страдальце, жизни, какой она была в последние десятилетия ушедшего века. **То же.** — 2-е изд. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2002. — 525 с.

15. Перед вечером, или Жизнь на полях

Псков: Псковская областная типография, 2003. — 582 с.: ил. — (1100 лет Пскову). «Перед вечером» — книга нечаянная и неизбежная. Она родилась из забот дня, а оказалась портретом времени и беспокойной мысли последних двух десятилетий. Закат большого литературного стиля и наступление исторического беспамятства, возвращение религиозной философии и нетерпение молодого религиозного сознания, нарочитое изгнание традиции «новыми европейцами» и духовное становление русского самосознания — в зеркале книги это отразилось так же горячо, как и в переменчивом потоке общественной жизни России конца XX-го — начала XXI-го века.

16. Восхождение к истокам

Альбом-путешествие. — М.: Синергия, 2004. — 431 с.: ил + 1 CD-ROM. — (Библиотека паломника).

17. Подорожник: Встречи в пути, или Нечаянная история литературы в автографах попутчиков

Предисл. В. Г. Распутин — Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. — 350 с.: ил. В книге представлены автографы известнейших людей России — писателей,

поэтов, деятелей культуры и искусства и воспоминания автора о встречах с этими людьми. Валентин Распутин в предисловии пишет: «Прост и величав «Подорожник». Последовав дорогой автора, уже не можешь ни остановиться, ни уклониться в сторонку — так увлекают и завораживают эти встречи, так много в них глубокого, нового, питающего...».

18. Уходящие острова

Александр Борцаговский — Валентин Курбатов: Эпистолярные беседы в контексте времени и судьбы / сост. Г. Сапронов. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. — 567 с. — Указ. имен: с. 544-566.

В книге представлена четверть века непрерывных эпистолярных бесед с известным писателем, драматургом, сценаристом, критиком Александром Борцаговским. Эти разговоры предельно откровенны, в них раздумья о нашей литературе, культуре в целом, жизни, какой она была в последние десятилетия прошедшего века. Они не обходят в своей переписке неудобных углов, что-то в их беседах звучит болезненно и жёстко. Как пишет сам Валентин Курбатов, это «трудно в переписке с близким тебе человеком, где всякое слово больно, но именно для человечности отношений и неизбежно. Было бы странно из дня сегодняшнего переписывать день минувший. Извиняться в примечаниях — значит отменять время, которое растёт вместе с нашей жизнью».

19. Александр Пушкин:

Продолжение следует...

Михайловская Пушкиниана: вып. 39 / Гос. мемор. ист.-лит. и природ.-ландшафт. музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». — М. — Пушкинские Горы, 2006. — 272 с.

Книга составлена из написанных в разное время статей и рецензий о великом русском поэте и его творчестве, о разных литературоведческих и театральные прочтениях пушкинских произведений, о продолжении и преломлении пушкинских традиций в русском искусстве. Героями книги вслед за Пушкиным становятся Толстой и Достоевский, Бунин и Мандельштам, Шукшин и Шклярковский, другие поэты и прозаики XIX и XX веков, а также Пушкинский заповедник и его люди. Издание рассчитано на думающих читателей.

20. Долги наши. Валентин

Распутин: чтение сквозь годы

Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. — 293, [1] с. — Библиогр. в примеч.: с. 289-293.

Книга представляет собой опыт чтения *Распутина* в разные годы в контексте русской общественной и религиозной мысли. Героями книги являются произведения выдающегося писателя, ставшие духовной историей, памятью и судом русской жизни последних десятилетий. Книга рассчитана на читателя, который не утратил сердца и любви к навсегда уходящей земной традиции великой литературы.

21. Наше небесное Отечество: записки православного путешественника

Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. — 263 с. — На авантюре: Этим летом в Иркутске. Литературные вечера.

Книга, неожиданная для русского литератора. Но вполне естественная, если вспомнить, что литераторы бывают ещё и просто православными людьми, прихожанами своих храмов, которые хотя и стоят в этих храмах равно в Пскове, Иркутске, Москве, Рязани или Петербурге, не раздваиваясь, сохраняя полноту знания перед глубиной веры.

Книга рождена из нескольких поездок по земле древней Византии, где явственнее всего слышно, что религия и цивилизация плодотворны и перспективны только во взаимном слышании и диалоге. Оглядываясь назад, книга устремляется вперёд и надеется быть хорошим интеллектуальным путеводителем по ожидающей нас земле великого детства и высокой зрелости нашей веры.

22. Юрий Селивёрстов:

портрет на фоне времени

Иркутск: Издатель Сапронов, 2008. — 195, [2] с.: ил., фот.

Книга рассказывает о жизни и творчестве замечательного книжного графика Юрия Ивановича Селивёрстова (1940-1990 гг.) и одновременно является наиболее полной публикацией работ художника.

23. Записки русского

путешественника

Спб.: Амфора, 2009. — 318 с. — (АМФОРА TRAVEL).

24. Нечаянный портрет. Время в зеркале одного дневника

Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. — 432 с. Дневниковые записи 1970-90-х годов — прямое свидетельство: «так было». Автор пишет: «Это дневник провинциального человека в столице», удивлённого новизной впечатлений, ищущего осмысления, а чаще только радующегося знакомству с великими и просто другими людьми, изумляющими отличностью взгляда на то, что ты видишь и знаешь... Не было тут честолюбия. Было счастье встречи и желание поделиться ею с друзьями, с самим собой (ведь непременно скоро забудешь, а разогнёшь дневник — и благодарно вспомнишь и их, и себя той поры)».

Отдельными главами в книгу вошли записи о встречах с В. П. Астафьевым, В. Г. Распутиным, В. Конечким, С. С. Гейченко, о кинофестивалях «Золотой витязь» 1998, 1999 и 2001 гг.

25. Турция. В поисках древних святынь

СПб.: Амфора, 2011. — 318 с. — (Серия «Книга в дорогу»).

Необычный взгляд на главные туристические маршруты Турции. Автор заново открывает древнейшие города малой Азии с их уникальной многовековой историей. Античные руины и христианские храмы, места мифологические и земли, где жили Апостол и святые.

...Течёт и сияет меж гор река Усьва, о которой он не успел написать главную книгу, витает его душа над нею, над седым Уралом, сияет не изречённое о них золотое слово, но память моя и слеза его друзей, жены и дочери — с ним, с этим замечательным человеком, моим послушным, трудолюбивым учеником.

В. П. Астафьев

Скоро весна.

Худ. В. Н. Чаплыгин



Михаил Дмитриевич Голубков

(20.11.1937–14.12.1988)

*Русский писатель,
член Союза писателей России
с 1975 года.*

Родился 20 ноября 1937 года в г. Чусовом. С детских лет Михаил полюбил природу. Свои чувства он отражал в школьных сочинениях на вольную тему (их часто зачитывали всему классу), а потом и в рассказах. Нравнодушие к природе с тех давних пор стало сутью его гражданской позиции в жизни и творчестве. После окончания средней школы №11 учился в политехническом институте города Перми, работал токарем, электрослесарем. Преподавал математику, физику, черчение, физкультуру в посёлке Селянка Чусовского района. Работал техником-лесоустроителем.



Он исходил многие леса Урала, Дальнего Востока, где встречался с самыми разными людьми, которые впоследствии стали прототипами героев его рассказов и повестей.



Знакомство, а в дальнейшем дружба с Виктором Петровичем Астафьевым оказали большое влияние на творчество Михаила Голубкова. «Много читал Миша, догоняя культуру, внутренне наполнялся, совершенствовался. Учился творческому ремеслу в зрелом возрасте, от книги к книге крепчала его рука», — так писал о своём ученике В. П. Астафьев.

Долгие годы связывала творческая дружба Михаила Голубкова с В. Я. Курбатовым. «Миша Голубков был светом и праздником — здоровый, земной, лесной, уж больно заманчиво пишет он о природе», — вспоминал известный литературный критик, писатель, публицист.

Как писатель, Михаил Голубков начал свою литературную деятельность с книги рассказов «Деревенские новости». Она вышла в 1969 году в Пермском книжном издательстве. Позже были изданы повести и рассказы: «Родные и близкие», «У речки, у студёной», «Где дом мой», «Просека», «Крайняя изба», «Лога» и другие. Главной линией в творчестве писателя стали непростые отношения современного человека с природой. Эти отношения автор считал мерилom нравственности и духовности личности.

Как писатель, Голубков работал с большим увлечением и очень продуктивно, глубоко исследуя характеры персонажей и обстоятельства, в которых они раскрывались. Это был писатель широкого диапазона, которого интересовали жизнь, проблемы и города, и деревни. Но своеобразием творчества Голубкова можно назвать то, что в ряду немногих он тогда выступал яростным заступником природы, протестовал, буквально бунтовал против варварского, истребительного к ней отношения. Он был искателем правды и защитником души человека и, как писатель, делал всё, чтобы облагородить её, ведь именно качество души человека определяет его отношение и к собратьям своим, и к природе, например, повесть «По совместительству».

Из-за жестокой болезни жизнь Михаила Дмитриевича оборвалась в самом расцвете творчества, в 51 год, он умер 14 декабря 1988 года. Успел издать двенадцать книг, повестей и рассказов. И многие произведения Голубкова посвящены проблемам защиты и сохранения природы, обитателей леса.

Миниатюры*

Земное родство

Выбор

Сажу в тихий пасмурный день на краю поля, привалившись спиной к телу соломенной скирды. Передо мной, по полукруглой лесной опушке, стоят уже заалевшие и зардевшиеся листом осинки, стоят скромно и терпеливо потупив глаза, будто девицы на смотринах, будто невесты на выданье. Ни одна веточка, ни один листик на них не ворохнётся. Кого они ждут, кто к ним летит, из близка ли, из далёка ли? И долго ли им ждать придётся?

И вдруг одна из осинок занялась, затрепетала, счастливо вздохнув и озарив игрой своей листвы всё вокруг: и серое, скучное небо, и чёрную сырую пашню, и рядом стоящих, но не таких счастливых подруг.

Но почему, почему именно с ней заиграл, зашептался невесть откуда взявшийся ветерок? Почему именно её заметил и выделил, ведь рядом томятся в ожидании более привлекательные, более стройные и красивые?

Извечный и безответный вопрос любви на земле.

Украшившая жизнь

Холодным сырым вечером поздней осени наблюдал за каплей на кончике берёзового прутика. Капля на моих глазах выросла, созрела, покрасовалась своими блестящими, с серебристым отливом, боками и должна была вот-вот оторваться, упасть, покинуть этот бранный, краткий, так, должно быть, и не понятый для неё мир. Но что-то долго не отпадала.

Пригляделся повнимательнее, тронул каплю, а это уже и не капля совсем, а твёрдая, прикипевшая к прутику льдинка, лишь слегка затуманенная вечерней стылостью.

Переход капли в льдинку — это как смерть, неслышная и незаметная, достойная и кроткая кончина, украсившая жизнь.

* Голубков М. Д. «Пойду глухаря добуду»: повесть, рассказы, миниатюры. — Перм. кн. изд-во, 1991. — С. 195-277.

Счастье

Солнечный, сияющий день начала марта. Лес уже начисто обдут февральскими ветрами, но сейчас он весь ослепительно белый, ночью ударил крепкий морозец и сплошь обрядил его в мохнатое, пышное кружево. Глубокая, насыщенная небесная синева и яркая белизна снега и инея повсюду! И кроткое, младенчески радостное, будто только что народившееся солнце! Ничего больше нет кругом.

И вдруг, ни с того ни с сего, как говорится, из ясного-то синего небушка — снег. Да такой танцующий, такой игривый! Это подул ветерок и бросил на тебя с лесной опушки, с высокой старой берёзы такое лёгкое, серебристое облако, что голова закружилась, и ты сам полетел куда-то в небо.

Детство

Ещё не успело как следует посветлеть, ещё часто и крупно накапывало, а на фоне удаляющейся чёрной грозы уже дивно и сказочно вспыхнула радуга. И один конец её опустился прямо в пруд в конце посёлка. Что тут началось! Распахнулись створки окон, валом повыскакивали из домов мальчишки, запрыгали, заплясали по лужам, не обращая внимания на дождь, на заполошные, запретные крики родителей.

И опять мне вспомнилось своё, далёкое, когда мы, ребятня сороковых, военных лет, увидев точно такую же вот радугу, забывали всё на свете: пустые желудки, тревожные вести с фронта, плач матерей над похоронками, — неслись к ней сломя голову, будто поймать и удержать собирались, и орали во все плотки, в неистовом, диком восторге: «Смотри, смотри! Радуга воду пьёт!».

Меньшие наши

Дождался

Весь август берёг в огороде, не обирал куст черёмухи, с крупными и удивительно сладкими ягодами, ждал, когда они станут ещё крупнее, ещё слаще.

И вот, глянув однажды, я не нашёл на кусте ни одной ягодки: стайка каких-то птиц, видимо, налетела и мигом опустошила куст.

Что ж, и у птиц должны быть свои праздники.



На берегу. Худ. В. Н. Чаплыгин

Сороки и ребятишки

У соседей наших narосли в огороде огромные, с крупным семенем, шляпы подсолнухов. Осенью все эти шляпы обмотали цветным тряпьём, будто платочками подвязали, будто это женщины востока закутали свои лица в чадры. Так сделали, чтобы семя доходило, крепло, чтобы сороки его не выклевали. Сядет такая сорока-воровка на край шляпы и пошла-поехала шею вытягивать, семечки из-под низу доставать, назревшие-то подсолнухи всегда ликом вниз висят.

От сорок-то соседи подсолнухи уберегли, но не от ребятишек. В одну ночь они снимали, пооткручивали всем подсолнухам головы, вместе с платочками.

Вот крику-то, вот горечка было.



Худ. В. Н. Чаплыгин

Жёлтые зайцы и голубые лисы

После тёмной и утомительной осени выпавший ночью снег был до того бел, чист и резок, что всё на фоне его, подсвеченное им, в корне меняло свою расцветку. Стволы берёз налились густой синевой, а дымчатый, бурный до этого липняк был сейчас лиловым, сиреневым. Поднятый с лёжки заяц, давно уже вылинявший, выбеленный осенью до настоящего зимнего обряда, был теперь желтоватый какой-то, несвежий, с грязноватой прозеленью даже по брюху и лапам. А мышкующая далеко в поле лисица показалась мне сказочно прекрасной, голубой, серебристой, так растворило её, перекрасило сияние первого большого снега.

Пушинка

В лесном прогале, в заветрии, на небольшом, свободном от кустов и деревьев пятачке, я увидел крохотную, оставленную рябком пушинку, которая довольно-таки глубоко прогнула, растворила снег вокруг себя, будто она попала сюда горячей. Это хваткое весеннее солнце нагревает за день и проваливает всё, что лежит на снегу, что потяжелее и потемнее. Я не удивился тонкому берёзовому, впаянному в наст прутику, я не удивился длинным сосновым хвоинкам, утонувшим в снегу, а вот лёгонькая, почти невесомая, почти прозрачная и провалившаяся пушинка меня удивила.

Путь дерева

Источник

Майским солнечным утром загорелась белым пламенем кисть черёмухи под окном. Нижняя кисточка, оттопыренная от куста, будто специально уготовленная для поджога.

А к вечеру уже полыхал весь куст. Да так полыхал, что не было видно ни веток, ни листочка зелёного, всё поглотил, скрыл бесшумный, белый огонь, далеко разящий душистым, дурманящим, стойким запахом, он-то, казалось, а не огонь вовсе, и переносит пламя с кисти на кисть, с ветки на ветку.

Куст полыхал без жара, без горечи едучего дыма, не сторая, он ничего и никого не поджёт рядом, никого не отогнал от себя своим буйным полыханием. Наоборот, он даже остужал, освежал весенний, плотный воздух вокруг, горячий и парной день, так неожиданно выдавшийся после многодневных ветреных холодов.

Сейчас куст густо исходил под лёгоньким ветерочком волнами пьянящего,пряного аромата, волнами мягкого, рассеивающегося света, волнами возбуждения, беспокойства, будто какой-то чудесный и неисчерпаемый источник энергии, бодрости и радости на земле.

И полыхал этот куст ещё не один день и не одну ночь. Это был желанный, жадный и ненасытный пожар.

И всё-то началось с одной кисточки.

Ночное цветение

А иногда черёмуха разом белеет и в тёплую, парную ночь. Утром тогда просыпаешься от мягкого, ровного, но какого-то настойчивого, всё заполняющего света, от прямого, духмяного запаха, просочившегося даже сквозь закрытые оконные створки. Поднимешь голову, а окно снаружи наглухо заткано пухло-белым ковром, лишь с тонкими прочерками веток и редкими зелёными пятнами ещё мелкого листа. Двинешь створку — и задохнёшься от хлынувшего на тебя потока.

Перед снегом

Ноябрь. Дует порывистый, сильный ветер к перемене погоды. Он безжалостно треплет, раскачивает березняк, белый от стволов понизу и чёрный от облетевших, оголённых ветвей поверху. Макушки вверх дружно кидаются из стороны в сторону, и берёзы походят на гигантские добротные мётлы, достающие и неутомимо шаркающие, скребущие по грязным холодным небесам.

Боевая охрана

Ранний обильный снегопад согнул по лесной закрайке молоденькие, тонкие, но довольно высоконогие липки. Те уткнулись своими ветвистыми, нагруженными макушками в снег на земле, образовав напряжённые, туго натянутые луки. А согнулись липки через старые, вольно разросшиеся кусты маличника, длинные голые прутья которого торчали из снега, как самые настоящие боевые стрелы, нацеленные в небо.

Снег так до самой весны и удерживал, не отпускал липки. И всю зиму лесная закрайка щетинилась, ершилась, готовно и устрашающе, всю зиму напрягала своё грозное оружие, свои луки со множеством заправленных в них стрел.

Сила травы

Лицо

Наткнулся на летней благоухающей полянке на две близкие друг к дружке высыпки незабудок. Лужайка уже высоко и густо заросла травами, уже поглотила все ранние цветы, все их разнообразнейшие окраски, колыхалась под ветерком спело, душисто и зелено, и оттого, может быть, высыпки показались мне прекрасно голубыми глазами, печально и призывно смотревшими на меня из недр чьей-то одинокой, тоскующей души.

Девуца

Выкошенная и убранная лесная полянка затянулась через несколько дней после обильного теплого дождя манжеткой, её стелющимися, прикорневыми листьями, напоминающими круглые зубчатые корзинки, могущие, казалось, складываться, как веера. И каждая такая зелёная корзинка с тяжёлой, не то росяной, не то дождевой, каплей, с крупным сверкающим бриллиантом, сидящим на дне манжетки уверенно и глазасто.

И полянка стала походить на баснословно богатую, разодетую в пух и прах девуцу в сплошных драгоценностях.

Зимолюбка

Наткнулся в сосновом бору на крохотную аленькую, властно, впрочем, притягивающую и останавливающую зимолюбку. Но откуда такое название — зимолюбка? Ведь нежные, розовые, скромно потупившиеся цветочки её на длинной и хрупкой шейке-цветоножке, кажется, не только зимы, а и совсем лёгких летних похолоданий не выдержат. Да и отцветает она задолго до начала зимы. Да и морозы в наших краях трескучие, затяжные, не каждому по душе. А может быть, тут что-то связано с цветом девичьих щёк на морозе?

Вороний глаз

В поисках рябчиков повстречался в приречной сырой низинке с вороньим глазом — крупной, сизовато-чёрной, блестящей ягодой, царственно восседающей на длинной и крепкой цветоножке. Цветоножка торжественно, прямо и высоко, как антенна, возносилась из сердцевины четырёх сочно-зелёных, широких, прожилистых листьев, собранных на толстом, мясистом стебле в одну мутовку. Редкая и величественная ягода вороний глаз!

Она нежна, привлекательна на вид, но в то же время это очень ядовитое, очень опасное растение, как может быть опасной красивая и избалованная женщина. Ягода гордо возвышалась над низким болотным кустарником и уже увядающей, поникшей травой, будто свои законные и обширные владения осматривала. А всё растение напоминало удобный, раскидистый и роскошный трон для красной черноокой жемчужины.

Однако почему же растение вороньим глазом прозвали?

Оттого, может быть, что больно уж сиза и черна по цвету ягода-плод его и она всегда одиноко и отчуждённо торчит в лесу? Да, пожалуй.

Оттого, может быть, что это многолетнее, живучее растение? Тоже подходит.

А может, оно действительно зоркое зрение имеет?

Отошёл метров на тридцать в одну сторону, оглянулся — смотрит; отошёл метров на пятьдесят в другую — опять смотрит. Правильно: далеко и отовсюду видит.

А может, оно ещё и всевидяще, и зловеще, как ворон? Беду может накаркать?

Направился с такими вот невесёлыми мыслями в посёлок и вскоре по дороге неловко ступил, подвернул в щиколотке ногу, едва до дому доплёлся.

Велика же все-таки народная мудрость.

По насту*

Рассказ

В тот год я работал учителем в одном из леспромхозовских посёлков.

Зима тогда выдалась мягкая, на редкость снежная. Для меня она проходила непривычно, томительно. Частые метели, короткие дни, посёлок, утопающий в сугробах, — всё это вызывало во мне чувство такой отдалённости, такой заброшенности, будто посёлок и впрямь находился чёрт-те знает где, в какой необозримой глуши затерялся.

На самом же деле всё обстояло иначе. Посёлок был большой, людной, с хорошим вокзалом, большим клубом. Бойкий, можно сказать, посёлок, каких много вдоль каждой железнодорожной ветки Урала. И город был близко, в семидесяти километрах, всего каких-нибудь два часа езды на электричке. Однако ни частые посещения города, ни телевизор по вече-

* Голубков М. Д. «Родные и близкие: повесть и рассказы». — Перм. кн. изд-во, 1975. — С. 175-178.

Начало зимы. Худ. В. Н. Чаплыгин



рам, ни шумная, крикливая ребятня, с которой я проводил большую часть времени, — ничто не помогало мне избавиться от гнетущего состояния.

Но вот наступил март, его ядрёные, яркие дни, и сразу всё изменилось. Теперь над посёлком не мело, не нависало тяжёлое, пуржистое небо. Снег уплотнялся, оседал, и сугробы уже не казались такими глубокими и большими.

Ночами уж не стонало, не завывало в трубе, не хлестало по окнам и стенам. Ночи стояли ясные, звёздные, с крепким бодрящим морозцем, тонким высоким месяцем и какой-то родниково чистой, отзывчивой тишиной.

Проснувшись среди ночи, я прислушивался к тишине этой, старался представить, как далеко она распростёрлась над землёй, — и того, зимнего настроения не было и в помине.

По утрам я вставал на лыжи и бежал поселковыми огородами к лесу. О, этот лёгкий, радостный бег на лыжах по насту! Что может сравниться с ним?

Зимой в лесу, рыхлым глубоким снегом, не очень-то разбежишься: увязнешь, проваливаешься, выдыхаешься на первом же километре. Другое дело — март, когда солнце начинает набирать силу, когда днём оно пробивает верхние слои снега, а ночные холода сковывают их в крепкий наст. Наст бывает до того прочен, что в иные дни и без лыж держит.

Лес начинался прямо за пряслами, тёмный, недвижный, выстоявший долгую зиму лес. Он уже сбросил тяжёлые, тёплые одежды — оплавленные мартовским солнцем снежные наросты. Да и зимой, в метели, нередко сбрасывал, точно они мешали ему выстоять против непогоды. Похоже было, что лес всю зиму окапывался: вокруг каждого дерева — высокий бруствер с неразбившимися крупными комьями наверху. Там, где деревья стоят плотно, — круговая оборона. А внизу, под шатром сцепленных веток, глубокая поката яма, густо усыпанная тёмной хвоей. Пихтовый подрост весь занесён, и наружу лишь выбились тычки вершинок.

А дней десять назад здесь, кроме снежных наносов да разве что глубоких лосиных следов, ничего не было.

Теперь же вон как повысыпало. Крепко взялась весна! Возле каждой вершинки-тычка заметно вытаяно, словно её водой поливали, ни дать, ни взять — саженец на снегу.

...Наст был под тонким ровным налётом не то изморози, не то перепавшего под утро лёгкого снежка. Лыжи не разъезжались, не скребли, оставляя за собой чёткое, разборчивое письмо.

Всё дальше и дальше удалялся я от посёлка. Бежал куда глаза глядят, бездумно и бесцельно. Продирался сквозь цепкий разлапистый ельник, застревал в позванивающем дымчатом частоколе осинника, ходко скользил опушками, вырубками, стремительно скатывался в глухие крутые лога, без труда взбирался на высокие плешивые угоры, подолгу выстаивал на них, отдыхал, вглядываясь в бело-пятнистые таёжные дали.

Тайга ещё лежала в снежном плену, ещё не бродила соками, но лес уже броско чернел, жадно впитывал в себя свет и тепло весны.

Затем опять головокружительный, вышибающий слезу спуск. Опять заполошное рысканье по лесу.

И сколько сил я испытывал в себе! Как жадно и глубоко дышалось! Как чисто и празднично было на душе...

Я был счастлив, что могу вот так, каждый день, ходить по утрам на лыжах, видеть рождение весны, её неудержимо крепнувшие, могучие истоки.

Над лесом поднималось солнце. Тени укорачивались, воздух мягчел, белёсое с утра небо вылуживалось до блеска, до глянца, до резкой ослепительной синевы — глаза резало.

Я присматривал впереди берёзовый колок, нетерпеливо спешил к нему, въезжал, останавливался, запрокидывал голову. Небо отсюда, сквозь частую ветвистую сеть, было ещё синее, ещё глубже, ещё лучезарнее.

Берёзовая синь. Я сделал это открытие тогда, в солнечные мартовские дни, в пору близкого пробуждения природы, жизни на земле.

Сверкающее весеннее небо. Недосягаемая, неохватная, беспредельная глубь и ширь!

А там, в берёзовой роще, скрытое со всех сторон густой чёрно-белой вязью и лишь яркими вспышками высверкивающее над головой, это небо казалось совсем доступным и близким, а тонкие гладкоствольные берёзы, тянувшиеся ввысь, поражали такой устремлённостью, такой жаждой света, что я выходил из рощи другим, обновлённым человеком.

Возвращался я часов в одиннадцать, к занятиям. Школьники мои учились во вторую смену. Я торопился. Скорее, скорее, пока солнце не размягчило наст. Держался подальше от угорных, открытых, прогреваемых солнцем мест. Сверху там уж подтаяло, к лыжам липло, а наст иногда глухо ухал, трескался, ломался на крупные плиты и оседал под ногами.

В. П. Астафьев и В. Я. Курбатов о Михаиле Голубкове

Из писем В. Я. Курбатова В. П. Астафьеву *

9 февраля 1983 г.,
г. Псков

...Я понемногу собираюсь в родную Пермь за очередной второстепенностью — материалом о строгановской школе и радуюсь самой мысли, что увижу Мишу Голубкова, Евгения Широкова и много других нужных сердцу людей...

12 марта 1983 г.,
г. Чусовой

...И коридоры пермского издательства тоже впечатление оставили затхлое. Один Миша Голубков был светом и праздником — здоровый, земной, лесной...

12 января 1984 г.,
г. Псков

...Вы когда решили на Урал-то от своего юбилея сбежать, Виктор Петрович? Может, судьба взяла да свела бы нас где-нибудь в Чусовом? А уж чего бы лучше! Или у Миши Голубкова спрятаться в деревне, да по лесам пропадать, больно уж он про них заманивающе пишет...

25 апреля 1984 г.,
г. Псков

Дорогой Виктор Петрович!

Не знаю, где Вы сейчас и застану ли Вас в Красноярске, всё-таки хочу сказать несколько слов в день Вашего рождения.

Прежде всего я хочу низко поклониться Вам от себя и Миши Голубкова, которых Вы вытащили с Больничной горы в Божий мир, научили уважению к слову, терпению и труду и продолжаете учить достоинству перед родной литературой и отечественной историей. Эти уроки тем необходимее, что дорога сочинительства нынче как никогда скользка и без твёрдой руки наставника как раз приведёт к дому первосвященника Каиафы, где сребреники уже разложены по конвертам...

25 июня 1985 г.,
г. Псков

...Сам буду в Пскове, работы накопил (надо предисловие к А. Соболеву, потом про Мишу Голубкова ещё не сделал, да и по мелочи...), а не сидится — лето так и тянет, как мальчишку, на реку, в лес. Эх бы, на Амыл али ещё куда...

Из письма В. П. Астафьева В. Я. Курбатову

30 января 1989 г.,
г. Красноярск

...Год надвигается юбилейный — Шукшин, Игарка, Енисейск, и всё летом, так, может, хоть весной-то у нас побываешь или сейчас давай рвани. Что-то Марья Семёновна часто тебя поминает, по Уралу тоскует, скорее, по могилкам, оставшимся на Урале. Со смертью бедного Миши Голубкова слово ещё чего-то оборвалось и безысходность какая-то душу охватила — уж больно неподходящий для ранней смерти человек-то был...

* «Крест бесконечный». В. Астафьев — В. Курбатов: Письма из глубины России: 1974-2001 / сост. Г. Сапронов; послесл. Л. Аннинского. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2002. — 512 с.

В. А. Богомолов

Без корней дерево не растёт

(к 70-летию писателя Михаила Голубкова)

Голубков родился в 1937 году, 20 ноября, в канун церковного праздника — Михайлова дня, и очевидное соседство этих событий стало причиной для выбора имени младенцу — Михаил. Это косвенное свидетельство того, что родители Михаила связи с Богом в то опасное время не порвали. Хотя дед Михаила был расстрелян, а родители высланы из Челябинской области в Чусовой, в посёлок Углежжение, где и появился Миша на свет.

Сказать, что я был другом Михаила, будет самозванством, сказать, что не был — тоже неправда. Из-за жестокой и стремительной болезни жизнь Голубкова оборвалась в самом расцвете, в 51 год, а дружба наша к тому времени только начала складываться.

В быту это был очень жизнерадостный человек. Его особенный и неповторимый смех, звонкий и залиvistый, будто колокольчик, до сих пор легко представляешь, входя в писательскую организацию. Любил шутку, обо-жал игру в шахматы. Постоянным партнёром Михаилу в этом увлечении был его истинный и верный друг — Анатолий Гребнев, который, неплохо



Михаил Голубков.
Худ. Р. Б. Исмаилов.
Портрет в фонде
этнографического парка
истории реки Чусовой

играя в шахматы, Михаилу всё же частенько проигрывал. Анатолий делал стремительные ходы, играл быстро, а Михаил (по характеру человек очень энергичный) над каждым ходом думал подолгу, ответственно, просчитывая последствия, будто повесть писал. Естественно, что шахматные партии и сопутствующие им беседы порой затягивались далеко за полночь.

В шахматных общениях, в которых нередко принимал участие и третий писатель — Иван Байгулов, частенько завязывались горячие, страстные споры на самые разные темы: о народе, о крестьянстве — его судьбе и положении (все трое были выходцы из крестьянской среды), о России, её пути...

Сегодня Анатолий Гребнев, вспоминая те давние (семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века) посиделки неразлучных друзей, склоняется к тому, что правда жизни осталась в тех спорах за темпераментным и горячим Михаилом Голубковым, история последних лет утвердила верность его взгляда. Хотя оба — и Голубков, и Байгулов, были страстными патриотами, но Голубков воспринимал народ трезвее, самокритичнее, не идеализировал и крестьянство. Байгулов идеализировал социализм, а Голубков в предсказании его политической судьбы оказался пророком.

Голубков жил подлинным писательским призванием, обладал завидной работоспособностью. При жизни у него вышло двенадцать основательных книг рассказов и повестей, четыре из них — в Москве. Но не только с утра до вечера просиживал Голубков за письменным столом, у него был широкий охват жизни, интерес к ней. Будучи заядлым охотником, он частенько бродил с ружьём по лесу. Друзья Голубкова никогда не забудут «фирменные» пельмени из рябчиков, которыми угощала их гостеприимная Римма, профессиональная мастерица кулинарного искусства. Кроме того, Михаил был рыбаком, и нежные хариусы всегда украшали праздничный стол. О ловле прихотливых и капризных хариусов у него есть замечательный рассказ «Шура, Канюк и хариусы».

Но и охота, и рыбалка не были для Михаила самоцелью, он и здесь работал как писатель, по примеру Виктора Астафьева продумывая в это время свои произведения. А сколько у него написано философских миниатюр о природе...

Михаила Голубкова можно без преувеличения назвать и учеником и другом Виктора Астафьева, который, приезжая в Пермь, всегда останавливался только у Голубковых, как у родни.

Наблюдательность и память Астафьева всегда поражали людей, его знавших. Вот и Голубкова-пацана он вспомнил, когда тот впервые появился у Виктора Петровича со своим рассказом: «Это не ты ли бегал по посёлку?..». Оба вышли из Чусового (посёлок Углежжение примыкал непосредственно к городу). Рассказывают, что Астафьев, прочитав рассказ Голубкова, принял его, но, тем не менее, как старший брат младшего решил основательно испытать начинающего писателя. Наделав строгих замечаний, Астафьев дал краткий срок на доработку рассказа... Михаил перелопатил рассказ, и Астафьев благословил его: он был напечатан в «Советской России» с предисловием Виктора Петровича.



М. Голубков у своего портрета. Работа худ. Р. Б. Исмагилова

Любознательный Голубков очень много читал, у него была прекрасная библиотека, он выписывал массу самых разных журналов, интересовался живописью, дружил с художниками. Частым гостем в его квартире бывал Равиль Исмагилов, который написал несколько портретов прозаика. Самый удачный из них, большой, в котором художник сумел передать подлинного Голубкова, хранится в Чусовом, в родном городе писателя, в легендарном музее незаурядного Леонарда Постникова.

Вообще Чусовой, стоит очередной раз попутно заметить, дал литературе несколько имён, прославивших и этот задымлённый трудовой город с замечательными людьми, и наш край: Олег Селянкин, Виктор Астафьев, Валентин Курбатов, Михаил Голубков, Юрий Беликов.

В начале моего писательского пути Голубков тоже меня ощутимо поддержал. Тогда, чтоб издать книгу, надо было пройти такую «полосу препятствий»...

В Москве у меня готовилась первая книжка, но об этом никто не знал, даже моя жена. А пробиться в Пермское издательство никак не получа-



1 ряд (слева направо): И. Байгулов, Р. Голубкова (жена), В. Астафьев, А. Гребнев.
2 ряд (слева направо): А. Домнин, М. Голубкова (дочь), М. Голубков.
г. Пермь, 1970-е гг.



Слева направо: Ф. Шпаковский,
В. Курбатов, А. Гребнев, М. Голубков.
Фото из фонда этнографического
парка истории реки Чусовой

лось... Чем-то не ко двору пришёлся. Наверное, в целом атмосфера такая была — не пущать. А готовая рукопись лежала в нашем издательстве и ждала решения.

И вот собралась комиссия: от Союза писателей Николай Вагнер и Михаил Голубков, от издательства редактор Борис Зеленин, который обладал, на мой взгляд, прекрасным вкусом и редким внутренним чутьём. Меня не раз поражало, как Борис по рукописи точно угадывал значение того или иного писателя на перспективу. Подмечаю это, ей-богу, не для того, чтоб косвенно и себя зацепить на пути к похвале.

При обсуждении моей рукописи пришли к единодушному мнению, что она состоялась, надо издавать. Николай Вагнер ещё в 1979 году дал превосходную оценку повести «Гетера из Старого Брода». Он более других настаивал на издании и говорил, что в протоколе обсуждения надо особо подчеркнуть, что если для издательства мнение писательской организации не имеет значения, то незачем тогда и устраивать эти совместные обсуждения, делать из них профанацию.

И Голубков сказал, что для дальнейшего развития автор остро нуждается в книге.

Таким образом, рукопись моя под названием «Дороже сказочных земель» получила путёвку на включение в издательский план.

А тут московские книжные издательства разослали местным издательствам свои тематические планы на 1987 год, и выяснилось, что в издательстве «Современник» готовится к выходу моя книга «Глухариное утро» 30-тысячным тиражом. Для наших это оказалось большой неожиданностью. Шок. Но благодаря московской книжке и местная была издана быстро, шла она по темплану 1989 года, но уже в декабре 1988 года тираж был отпечатан. Хотя и здесь без подлости не обошлось: с пятнадцати тысяч тираж, уже после подписания его автором в свет, тайком урезали до десяти...

Все книги Голубкова, вышедшие в Перми, редактировал Борис Зеленин. И он вспоминает, что видел, как Михаил заметно восходил от книжки

к книжке, писал всё лучше и глубже. И недаром же Астафьев с его-то требовательностью ценил Голубкова за талант, уважал как человека, дружил с ним.

Когда Виктор Астафьев заезжал в Пермь и останавливался у Голубковых, Михаил собирал у себя для общения друзей-писателей, очень небольшой круг. В очередной такой приезд Виктора Петровича в феврале 1979 года были приглашены Иван Байгулов, Анатолий Гребнев, Алексей Домнин и редактор Борис Зеленин. В какой-то момент, когда писатели вышли покурить, Виктор Петрович обращается к Голубкову: «Миша, мне надо с тобой поговорить!» и косится на Зеленина. Голубков ответил: «Это мой редактор. Можешь говорить при нём». «Тебе надо работать над языком, — сказал Астафьев своему ученику. — Язык усреднённый, а не Голубкова. Надо писать своим языком, чтоб читатель через пару страниц сказал: «Это Голубков!»».

Мне кажется, Голубкова, особенно поначалу, заметно сдерживало отсутствие глубокого и систематического образования. Но этот недостаток он искупал самородностью, пытливостью ума. Это был золотой слиток, из которого он сам делал бесценные украшения — произведения литературы. Он обладал чутьём и интуицией настоящего охотника за человеческими характерами, которые он обогащал своими убеждениями, через которые транслировал свои зрелые взгляды. Он писал не для того, чтоб, как некоторые нынешние, развлекать читателя на пустом месте, а — по зову сердца и души, всегда ставил проблему, вопрос, преследуя, в конечном счёте, цель — хоть сколько-то, но улучшить человека, улучшить общество. И это неправда, что писатель не может этого сделать. Что воздействует не на каждого — это да. Но я уверенно могу сказать, что мыслящий, неравнодушный и серьёзно относящийся к жизни человек, прочитав рассказ Голубкова «Бронниковы», после прочтения станет иным, уже не таким, каким был до прочтения... Голубков был выразителем эстетических потребностей интеллигенции, вышедшей из народа, и простого трудового человека, то есть людей, какие составляют большинство общества и каковых в наши дни кличут презренным словечком «электорат».

Среди писателей эстетического направления, которое своим творчеством представлял Голубков, он, на мой взгляд, был в нашей организации самым сильным писателем.

Его хорошо начали издавать в Москве. Он стремительно набирал силу и известность. К его мнению и в нашем издательстве, и в писательской организации прислушивались. Хотя не скажу, что все любили его, но вынуждены были считаться с талантом.

Голубков имел характер независимый, цену себе знал и в отстаивании своих убеждений бывал упрям.

Однажды я заглянул в редакцию художественной литературы и угодил в минуту перепалки Гашевой и Голубкова. Не знаю, что там не устраивало издательство, только запомнилось, что Надя сказала: «Миша, не руби сук, на котором сидишь...». На что взъерошенный Голубков ответил: «Я сажу не на одном вашем суку».

Но независимость характера Михаила и писателям нашим не всем была по душе. Снобоватый Давыдычев откровенно не любил Голубкова за его бесхитростность, прямолинейность и готовность драться за правду. Ведь, к примеру, повесть «По совместительству», изданная в 1978 году, была подобно заряду дроби под лопатку...

Я оказался свидетелем, когда Давыдычев, вальяжно сидя в кресле в вестибюле писательской организации, бросил с презрением: «Тебе дай саблю в руки, так ты всех перерубишь!...».

Не ведаю, из-за чего они тогда поцапались. Но ведь и Виктора Астафьева, рассказывают, Давыдычев не любил.

Помню, отмечали в издательстве после работы какое-то событие, засиделись. Когда уходили, один из захмелевших окололитературных завсегдагаев принялся в коридоре унижительно задира́ть Голубкова. «А ты-то кто такой?!» — взъерошился Михаил, роста он был невысокого. И не успел я буквально глазом моргнуть, как обидчик оказался на полу, решительный Голубков положил его указательным пальцем правой руки. Знал точку такую на лице бывший пограничник.

Думается, не так-то просто было Голубкову пробиваться в литературе с его колючим характером и остросоциальными реалистическими рассказами. Их у него много, но здесь для примера я коснусь одного — «Бронниковы», рассказа, написанного превосходным, сочным, художественным языком. И вот почему: сегодня этот десятистраничный рассказ-метафора необыкновенно созвучен тому состоянию России, в котором она — Россия народа, а не Россия власти, олигархов и «народных» депутатов — пребывает.

Сюжет рассказа прост: в деревенском проулке, в июльский зной после полудня, когда воздух раскалён до невыносимости, завязывается схватка в футбол между пацанами двух соседних деревень. Одну команду представляют пришедшие с вызовом балдинцы, она сборная, более ровная: «всем лет по восемь-двенадцать», другую — зувцы, местная семья ребятишек Бронниковых. Соперники их страшно не любят, потому что никак не могут у Бронниковых выиграть, те уже «два раза наставили». Но сегодня балдинские настроены решительно. Будет матч-реванш. Все они в ботинках. Кроме того, с ними Колесо, он вообще в настоящих бутсах и «за юношескую выступает». И они вызывающе задирают занятых работой Бронниковых, чтоб вызвать их на игру...

Способных играть в футбол в семье Бронниковых только десять разновозрастных пацанов, а балдинцы ни в какую не соглашаются играть командами десять на десять, и потому одиннадцатым игроком в команде Бронниковы выставляют Людку, единственную их сестрёнку, она стоит на воротах. Сговариваются на два тайма по двадцать минут: больше времени у Бронниковых нет, пора горячая, оторвались на игру, окучивая огромный огород картошки.

Деревня в этот час пуста, все трудятся в поле, болельщиков только трое: на скамейке под окном дед Михайла, в руках которого будильник, его старая бабка в окошке, да случайный прохожий, от лица которого и ведётся рассказ.

Схватка за самоутверждение началась. За балдинских великолепно играет Колесо. Но Бронниковы, приведём отрывок текста: «...до того бесстрашно, до того самоотверженно бросались ему в ноги, что и Колесо не мог ничего сделать».

Порой у ворот Бронниковых возникала целая свалка, куча мала. Туда, как в жуткий водоворот, прыгала очертя голову и Людка. Проходило некоторое время, куча в конце концов распадалась, таяла, оставив на земле лишь Людку с мячом в обнимку...

Ушибам и «подковкам» не было конца. Часто какой-нибудь Бронников ошалело взывал, брыкался на спину, катался по земле, захватив ушибленное место руками...».

Играть Бронниковым приходится босиком, ботинки — только для школы, их берегут.

Гол назревал, и он бы обязательно был, говорит автор, если б не затрезвонил будильник деда.

— Ай да, удалцы, робя! Выдержали! — ликовал, пристукивая палкой, старик. — Какую войну выстояли!

Обе команды устало и молча разошлись, пали пластами в тенёчке под изгородью. Все были мокрые от пота, тёмные от пыли, поблёскивали, как негритята.

Измученные, истерзанные, но не сломленные Бронниковы ползали, точно побитые щенки, по прохладной травке, стонали, отдыхались, растирали синяки на ногах, слюнявили кровоточащие ссадины.

Концовка у рассказа, как принято говорить в подобных случаях, сделана «открытой». И вместе с автором мы, читатели, остаёмся с вопросом в голове: «Что им готовит второй тайм?».

Сегодня и у России «второй тайм». Что он готовит всем нам? Дух захватывает.

Поэт Анатолий Гребнев вспоминает, что его друг и известный в России прозаик Владимир Крупин отозвался тогда об этом рассказе Михаила Голубкова исчерпывающе ёмко: «Классика!».

А рассказ «В лугах»? Начните его анализировать стилистически, и вы увидите, что это бунинской глубины рассказ.

Не стало Михаила Дмитриевича Голубкова 14 декабря 1988 года. Медленную, мучительную смерть он принял с редким мужеством. Очень жаль, что умер трагически рано, на взлёте, сегодня его время, бойца.

Но вот отмечаем семидесятилетие замечательного прозаика и даже малой книжицы его избранных произведений не вышло.

Однако появилась надежда, что новое руководство нашей писательской организации окажется на высоте, ибо понимает, что без корней дерево не растёт.

25 октября 2007 г.

А. Г. Гребнев

Михаилу Голубкову*

Тебе весь мир с рождения завещан,
И нет ни капли в том твоей вины,
Что он отмечен метою зловещей,
Твой день рожденья в памяти страны.

Из-под пяты мирского «Ветровала»
Не потому ль взошла твоя судьба,
Что хатой с краю сроду не бывала
В деревне даже «Крайняя изба».

Душевный отклик близких и любимых
Не потому ль всегда находишь ты,
Что скрыты в «Малых Ключиках» глубины
Людской неистребимой доброты.

И пусть утратам нету оправданья,
Ты видишь сам — не на крови во зле,—
На памяти, любви и состраданьи
Стоять и дальше матери-земле.

И нам с тобою быть за всё в ответе!
Ограбленной природы слыша крик,
Душой радеть любой зелёной ветке,
Болезь за каждый сгубленный родник.

Зелёный дух «Испуганного леса»,
В котором песня вольная живёт,
От беспощадных гусениц прогресса
Кто, как не мы, закроет и спасёт?!

Не царь природы, не пустой свидетель,
С ней находя доверия язык,
Ты — кровный сын её, радетель,
Заботливый и чуткий ученик.

До пониманья тайн её возвысись,
И в этих тайнах растворённый весь,
Приходишь ты, пристрастный летописец,
Земли родной защитник и певец.

Сегодня честь по праву отдавая
Тебе, кого любили мы всегда,
Я говорю: «Твори не уставая!
И, как струится вечно молодая,
Крутя водовороты, Чусовая,
Пусть вдохновенья стрелка часовая
Тебе дарует зрелости года!».

В. П. Астафьев

За синей рекой*

О Михаиле Голубкове

Как немилосердна, как несправедлива бывает судьба к иным людям.

Михаил Голубков прожил жизнь трудовую, возрос в трудовой семье, в трудноживущем посёлке под специфику его определяющем названии — Углежжение. Посёлок этот за городом Чусовым, на склоне реки Усьвы... Его построили и каменный косогор обжили спецпереселенцы, что на обыкновенном, не казённом языке обозначает раскулаченные, точнее, разорённые во время коллективизации крестьяне, высланные подальше от своих сёл и подворий.

Спецпереселенцы, которых посылали работать и умирать, были ещё из той крестьянской русской породы, которую мало убить, надо ещё и повалить! Не всех повалили, но многих уморили, свели со свету. Углежженцы производили продукцию, совершенно необходимую металлургическому заводу — выжигали древесный уголь, жили, плодились. И ещё как плодились! Стайки крепких, в банды ребячьи объединившихся парнишек, владели округой Углежжения и никаким пришлым особого ходу не давали. В первую голову бойцы Углежжения овладели прорвой. Выкинув очередное, пожалуй что предпоследнее колено перед тем, как слиться с рекой Чусовой, своенравная Усьва промыла, прорвала земную препону и устремилась в последнем броске к сестре своей — реке Вильве. Но по рекам шёл сплав леса, нужного стране, прежде всего Углежжению, — и люди забили сваями, загородили прорву.

Лес не растаскивало дурной вешней водой по пойме и кустам, но в прорву так его плотно набивало, что всё лето ходи по нему, живи на нём — не провалишься.

* Астафьев В. П. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 12. Публицистика. — Красноярск: Офсет, 1998. — С. 529-533.



*Друзья. Е. Широков, В. Астафьев, М. Голубков.
Фото из фонда этнографического парка истории реки Чусовой*

В прорве, где дно глазом не достанешь, в тёмной глубине, в рычащих потоках, вырвавшихся из-под сгрудившихся брёвен, всегда водилась рыба. Много. Всякой. Зимами обретался и плодился во тьме водяной налим, летами гулял ловкий хариус, плавал на виду, рвал под прорвой лески вальжанный голавль, язь тоже плескался и пробовал рвать лески, охотничал, разгоня тучи малявок, наглый и неутомимый окунь. Но главная ребячья добыча: елец, сорожка, ёрш — тут стояли и кормились круглый год.

А по-за прорвой поля подсобного хозяйства металлургического завода, стада коров, коней. Картоха кругом цветёт и зреет — наливется, пеки её в углях, вари в старом ведре, рубай от пуза. Конечно же крепенькому, рукастому малому, на выселении народившемуся, здесь, на прорве, самое место расти, мужать, тонуть, спастись и закаляться, да характер боевой, самостоятельный обрести.

Слово «гулять» углеженческой братве было незнакомо, а вот слова — работать, помогать, побеждать — знали они с люльки. Взрослые люди ломили тяжкую, грязную, губительную по вредности работу, выжигая уголь. Парни и девки доглядывали дом, хозяйство, управлялись со скотом. Вода, дрова, сено, вывозка назьма на огороды и сам огород-кормилец были на них, на ребятах. Учились они в школе упорно, да неважнецки. Зато уж в работе и драке поискать надо было равных, хотя в самом городе тоже обретался народ неробкого десятка и не аристократического задела, пролетарский, рабочий город, чумазый, вниманием властей не избалованный народ, закалённый в очередях за продуктами и промтоварами первой необходимости, тоже большей частью спасающийся огородами да своими коровами.

Людные сражения, что на поле Куликовом, случались на прорве меж городскими пролетарьями и углежженскими куркулями, противостояние переходило из поколения в поколение, но после как-то само собой и унялось.

Лес по Уралу срубили и нечего стало плавить; древесный уголь на заводе заменили коксом; в Усьве и на прорве вывелась рыба, даже неутомимого едока ерша не стало; подсобное хозяйство разрушилось, пашни заросли, скот вывелся, и на полянах развернулись «пикники», стало быть народные гулянки, обретавшие всё большие черты массовой пьянки, дурного безобразного разгула. И поляны, и берега рек Вильвы и Усьвы трудящиеся, веселясь, загадили; берег битым стеклом и бросовым железом засорили. Посёлок Углежжение сделался пустынным, большей частью пенсионерским, но Миша Голубков всегда о нём тосковал и рвался туда, хотя и отец, затем и мать умерли, однако братья, сёстры, «родова» ещё велись за синей рекой, как он называл родную Усьву. Однажды я посоветовал ему так назвать книгу, и он обрадовался моей подсказке, но сказал, что под такой красивый заголовок и прозу надо помещать красивую, — поработаю, мол, поднапрягусь, может, чего путное и получится...



Не успел он написать о синей реке, многого не успел сделать...

Ах ты, доля человеческая! Что ты? Кем, как ты определяешься? Почему в наш век беды так часто обрушиваются на людей достойных и сильных? Почему? Нет нам ответа...

Михаил Голубков во всём был работяга. И самостоятельность, и упорство были основными чертами его характера, да ведь на выселениях этих углежженских бесхарактерные, слабые и не выживали — строговоспитательная советская система сминала их, обращала в прах или делала людей приспособленцами, плодила тучи хитро-подвидных, идейных бездельников, кормящихся подле родной и поневоле «любимой» партии.

Работая после института лесостроителем, на инженерной должности, Голубков не выдержал совместного сосуществования с теми, кто уже навыв «пень колотить, день проводить», истаскавшихся по великим стройкам коммунизма, по тюремным нарам и лагерным баракам, коим прилепилось точное название — советские придурки. А это придурки высшего качества! Нигде в мире нет таких наглых изворотливых, опустившихся, проповедующих ими же выбранную мораль: где бы ни работать, лишь бы не работать. Инженер-лесостроитель бросил руководящий пост, взял

топор, мешок и ушёл в лес один. И много лет он один-то и ходил по тайге, рубился в одиночку, воздвигая шаткое здание социализма.

Как, когда Голубков появился у меня в квартире со своими рукописями, — не помню — постоянно и много приносили и приносят мне рукописей, ещё больше шлют по почте. По-моему, сперва было письмо с просьбой познакомиться с его рукописью, с обратным адресом — из города Чусового! Ну как тут не прочтёшь! Силён и хитёр начинающий автор был, жизнью крепко бит, я его так и называл — «элементом», И никому так не доставалось от меня, никого я так много не пилил и носом не тыкал в бумагу, как его. Терпел. Понимал, что добра ему хочу. Скоро, очень скоро уяснил, что литература — дело серьёзное и если по жизни с чем-то не соглашался, горячо спорил за рукописью, как её не исчеркай — смирялся, лишь иногда подавал робкое возражение своим продевчоночьим голосом и снова молчок. Много читал Миша, «догоняя культуру», внутренне наполнялся, совершенствовался. Учился творческому ремеслу в зрелом возрасте, от книги к книге крепчала его рука. Его рассказы стали появляться уже и в столичных журналах, — там же книга вышла, лез упорно в гору, ломая ногти о заманчиво-ласковую, но каменистую литературную почву. Трудно и упорно взнимался уральский мужик к совершенству и мастерству, многое от него ждалось, многое уже и обещалось талантливым писателем, с крепким телом, всегда румяным лицом, с руками, знающими труд и умеющими держать любой инструмент, что для земли, что для дома.

Когда мне в Вологде сообщили, что Миша заболел самой страшной, самой беспощадной болезнью века — я не поверил — не может такого крепкого мужика свалить никакая болезнь, не может подкосить никакая беда. Но когда приехал в Пермь, понял: болезнь и смерть всё могут.

Он ещё боролся за жизнь, лечился какими-то лесными травами, кореньями, хвастался, что заставил «своих баб» — жену и дочь набрать ему ведро земляники, говорят, мол, помогает. И он съел ягоду и даже лучше себя почувствовал, стал пробовать за стол садиться...

«Ничё, ничё, мы ещё поборемся! — говорил он. — Мы ещё, Виктор Петрович, на прорве ельчиков подёргаем...».

Больше не суждено ему было побывать на прорве, в родном посёлке, повидать свою любимую сторонушку, поплавать по беспредельно любимой реке Усьве.

Течёт и сияет меж гор любимая река Усьва, о которой он не успел написать главную книгу, витает его душа над нею, над седым Уралом, сияет неизречённое о них золотое слово, но память моя и слёзы его друзей, жены и дочери — с ним, с этим замечательным человеком, моим послушным, трудолюбивым учеником и, надеюсь, не только моя. Я думаю, на Урале ещё помнят и любят своего негромкого, но искреннего певца. Как он любил свой край, народ свой, да вот осталась недопетой его задушевная песня. Всё, всё осталось за дальней горой, за исхоженной и помеченной его топориком тайгой, за синей, синей рекой.

Книги М. Д. Голубкова

1. Деревенские новости

Рассказы. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1969. — 80 с.

«Деревенские новости» — первая книга М. Голубкова. Это яркие зарисовки о людях деревни, о взаимоотношениях человека с живой природой, о месте и предназначении «царя» природы. Прочтите, к примеру, короткий, яркий, хлесткий рассказ «Медвежий огрызок» или рассказ «Глухарка». Сколько в них боли за беззащитную перед человеком природу.

2. Родные и близкие

Повесть и рассказы. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1975. — 232 с.

«Родные и близкие» — вторая книга Михаила Голубкова. В неё вошли повесть «Братья Макаришины» и рассказы. Книга посвящена людям современного села, делам их и заботам. О любви к земле, о верности отчему краю, о людской щедрости и доброте рассказывает автор.

3. Даровая дичь

Повести и рассказы. — М.: Современник, 1977. — 253 с.

В своих произведениях автор выступает против варварского, истребительного отношения к живой природе. Повести и рассказы, вошедшие в этот сборник посвящены проблемам защиты и сохранения природы, обитателей леса.

4. Где дом твой

Повести. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1978. — 351 с.

Повести прозаика о современной деревне, о людях труда, о нравственных поисках, порой нелёгких, нашими современниками своей жизненной позиции, своего места в общем труде.

5. У речки, у студёной

Рассказы. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1981. — 223 с.

Рассказы о людях современного села, о бережном отношении к богатствам природы.

6. Просека

Повести. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1983. — 237 с.

Сложные людские судьбы, отношение человека к труду, к природе, проблемы и конфликты, возникающие в связи с этим, нашли отражение в повестях, которые вошли в сборник «Просека».

7. Крайняя изба

Повести, рассказы. — М.: Современник, 1983. — 270 с.

В книгу вошли повести, в которых подняты нравственные проблемы, связанные с отношением главных героев к труду, к природе в современном непростом мире.

8. Ветровал

Рассказы и повести. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1984. — 319 с.

В рассказах и повестях поднимаются вопросы, которые близки и жителям села, и горожанам: как бережнее относиться друг к другу, к природе, окружающей нас.

9. Малые Ключики

Повесть и рассказы / худ. И. Пчелко. — М.: Дет. Лит., 1984. — 111 с.: ил.

10. Напуганный лес

М., 1987.

11. Лога

Повести и рассказы. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1988. — 567 с.

В книгу, изданную к 50-летию писателя, вошли лучшие повести и рассказы М. Голубкова. Главная линия которых непростые отношения современного человека с природой. Эти отношения писатель считает мерилом нравственности и духовности. Привлекают повести и рассказы остротой жизненных ситуаций, глубокими конфликтами.

12. Пойду глухаря добуду

Повесть, рассказы, миниатюры. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1991. — 285 с.

Последняя книга М. Д. Голубкова (1937-1988 гг.), подготовленная им при жизни, включает повесть «Просека», циклы рассказов об охоте и миниатюр, в которых автор запечатлел красоту родной природы и глубокую связь с ней души человека.

...Его фронтовые впечатления, сама биография под талантливым пером становились книгами — мужественными, горькими, пронизанными беззаветной любовью к Отечеству и осязаемой ненавистью к величайшему злу — фашизму. Книгам его суждена долгая жизнь — как бы ни менялась политическая и прочая конъюнктура. Но с годами всё растёт и растёт ощущение, что всем нам не хватает живого Селянкина — его совестливости, прямоты и бескомпромиссности.

Михаил Смородинов



*Скалистый берег.
Худ. В. Н. Чаплыгин*

Олег Константинович Селянкин

(23.04.1917–02.09.1995)

*Русский писатель,
член Союза писателей СССР с 1958 года,
заслуженный работник культуры РСФСР с 1976 года.*

Родился 23 апреля 1917 года в г. Тюмени. С 1929 года жил в Прикамье, в городе Чусовом. Здесь прошли его детские и юношеские годы.

В 1937 году, окончив чусовскую железнодорожную школу (теперь — городская школа №75), по путёвке ЦК ВЛКСМ был направлен на учёбу в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в Ленинграде, которое и окончил по классу подводного плавания в марте 1941 года.

С первых дней Великой Отечественной войны Селянкин принимал участие в боях на Балтике. Командуя ротой, воевал под Нарвой, Кингисеппом, Красным.

В декабре 1941 года был переведён в Волжскую флотилию, где и прослужил до октября 1943





Речное училище, 1948-49 учебный год



Орденосец О. К. Селянкин

года. Участвовал в Сталинградской битве, воевал на Дону во главе отряда матросов-подрывников, был дивизионным и флагманским минёром, а потом — командиром дивизиона катеров-тральщиков.

С октября 1943 года до марта 1944 года служил в Онежской флотилии. В марте 1944 года был назначен командиром дивизиона Днепровской флотилии. Участвовал в боях на реках Березине и Припяти. Позднее, в Польше, воевал в боях под Сероцком, Зегже, Денби. Войну закончил в Германии в звании капитана-лейтенанта. Был четырежды ранен.

За мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, О. К. Селянкин награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды (двумя), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и другими.

В мае 1946 года после демобилизации приехал в Молотов (Пермь) и поступил в Молотовское речное училище преподавателем специальных дисциплин.

Литературным творчеством начал заниматься с 1945 года. Первый рассказ — «Из дневника морского пехотинца» — был напечатан в альманахе «Прикамье» в 1948 году.

С мая 1955 года по октябрь 1958 года работал редактором художественной литературы в Молотовском (Пермском) книжном издательстве.

В 1950-е годы выходят первые книги писателя — сборники рассказов «Друзья-однополчане», «Мужество», повесть «Есть, так держать!», роман в двух книгах «Школа победителей». Эти произведения, как и последующие, изображают героический подвиг людей в годы Великой Отечественной войны.

В 1958 году О. К. Селянкин был принят в Союз писателей СССР.

С 1966 года работает редактором литературно-драматического вещания Пермского комитета по радио и телевидению.

С 1972 по 1985 годы — ответственный секретарь Пермской областной писательской организации. 15 лет был членом правления Союза писателей РСФСР.

За плодотворную литературную деятельность награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина».

С 1973 года неоднократно избирался депутатом Пермского городского Совета народных депутатов.

В 1976 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В апреле 1977 года награждён орденом «Знак почёта».

В 1984 году награждён орденом Дружбы народов.

В 1987 году награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Несколько лет был председателем правления Пермского областного отделения Фонда культуры.

Последняя книга Олега Селянкина «Когда смерть рядом» вышла в 1995 году.



Памятный знак О. К. Селянкину (автор Л. Д. Постников). Открыт в Чусовском этнопарке истории реки Чусовой 18.05.2012 г.

Умер Олег Константинович Селянкин 2 сентября 1995 года.

В 2002 году в Перми на здании вечерней школы № 2 по ул. Александра Матросова, 13 установлена мемориальная доска с надписью: «В этом здании (бывшем речном училище) с 1946 г. по 1953 г. заведовал кафедрой военно-морской подготовки писатель-фронтовик Селянкин Олег Константинович (1917–1995 гг.)».

В 2012 г. в Чусовом, в городе детства и юности Селянкина, в день Балтийского флота торжественно открылся памятный знак писателю-фронтовику. Знак, представляющий собой якорь, штурвал и развернутую книгу (автор Л. Д. Постников), установлен в этнографическом парке истории реки Чусовой.

Дорога в бессмертие*

Бессмертие выпадает не каждому. И у счастливых различна дорога к нему. Один идёт всю жизнь, карабкаясь по кручам к заветной цели; у другого весь путь занимает несколько дней, часов, минут. Или километров и даже метров. Но какой бы длины он ни был, этот путь в бессмертие, он всегда велик, всегда служит примером для грядущих поколений.

И ещё — при рождении никто не знает, выпадет ли ему счастье ступить на этот путь. Человек сам, и порой неожиданно, сворачивает на него. Чтобы обязательно дойти.

Вот и матрос Фёдор Носков не слышал полёта этой мины. Он просто вдруг увидел перед собой столб огня. Яркий, грохочущий. Увидел и услышал его — рухнул в бездну, где не было ни света, ни звуков. Его самого, Фёдора Носкова, не было.

Когда очнулся, над ним ярко горели звёзды. Их было очень много и каждая — словно электрическая лампочка.

Ещё он сразу заметил, что между звёздами снуют трассирующие пули и снаряды. К Одессе торопятся. А когда оторвал глаза от неба, увидел вспышки разрывов мин и снарядов. Они ярились впереди, с боков, сзади. Только здесь, где лежал Фёдор Носков, не было их.

И тишина вокруг...

Может, она, тишина, потому обволакивает его, что в голове молоточки постукивают, в ушах моторчики шумят?

Фёдор хотел встать, но только шевельнулся — острая боль ударила по ногам. Так свирепо ударила, что тошнота комом вошла в горло, а неподвижные звёзды вдруг сорвались со своих мест, суматошно закружились по чёрной чаше неба.

Матрос припал грудью к земле, немного полежал неподвижно, потом, пересилив себя и боль, сел. Да, большие осколки мины впились в обе ноги. Из ран крови вытекло так много, что штанины хоть выжимай.

Значит, от потери крови кружится голова и тошнота душит...

Самое разумное для раненого — отползти в сторону от опасного места и там смирёхонько лежать до прихода санитаров; беречь силы надо, если ты много крови потерял.

Здесь, где лежал раненый Фёдор Носков, взрывы снарядов и мин не кромсали землю. Здесь было невероятно спокойно для фронта. И ещё — пьяняще пахло польнёю.

Но Фёдор Носков нёс приказ командира полка морской пехоты, нёс в окружённый батальон, который по-прежнему твёрдо стоял на своём рубеже. Только новый приказ, приказ командира полка мог заставить их отойти, спасти от полного уничтожения. Этот приказ был у Носкова.

О приказе командира полка вспомнил Носков, глядя на чёрное небо, утыканное яркими электрическими лампочками. Вспомнил — перевернулся



Диалог. Худ. Е. Н. Широков.

О. К. Селянкин, писатель, бывший чувовлянин в диалоге с самим собой — боевым офицером морской пехоты. Картина из коллекции Чусовского этнографического парка истории реки Чусовой

на живот и сразу же заскрежетал зубами от боли, штормовой волной прокатившейся по всему его телу. На несколько секунд замер. Несколько секунд лежал будто мёртвый.

Нет, в тот момент он не думал, что становится на путь в бессмертие. Нет, он не думал тогда о том, что собирается совершить подвиг. Для него одно было главным: приказ у него, и этим всё сказано.

Мысль о приказе, который нужно доставить как можно скорее, была настолько властной, что, собравшись с силами, он пополз. Пополз не к окопам полка, до которых было меньше километра, а к батальону. Сколько до него — Носков не знал, да и не хотел думать об этом. Он твёрдо решил: пусть до батальона больше километра, пусть даже два — он должен быть там.

Ошибка? Неверное решение? Не лучше ли было ползти к окопам полка, чтобы кто-то здоровый понёс приказ в батальон?

Да, так было бы вернее. Если рассуждать, сидя в светлой и тёплой комнате. А Фёдор Носков лежал в голой степи, лежал с перебитыми ногами. Он, плача от боли, пополз к батальону.

Однако, может быть, минуты через две Носков понял, что ему спешить нельзя: кровь сочилась из ран, он быстро слабел. Понял это и сразу же припал к земле, жадно вдыхая в себя горьковатый запах полыни.

Отдохнув немного, сел. Разорвал на полосы форменку и перевязал раны.

Теперь снова вперёд, снова туда, где рвутся снаряды и мины, где в смертельном бою батальон товарищей...

Говорят, когда тебе трудно, нужно думать о чём-то постороннем, отвлекающем. А вот Фёдор Носков ни о чём таком думать не мог. У него вместе с остатками крови, казалось, пульсировало одно слово, единственное приказание самому себе: доползти, доползти.

Шесть раз останавливался Носков передохнуть — это он хорошо помнил. Потом сознание замутилось. Полз ли он или лежал — неизвестно, не помнил он этого. Зато почти непрерывно видел то злые вспышки разрывов, то холодные звёзды, которые лопались под грохочущей лавиной фашистских танков, несущихся на батальон. Тогда он хотел кричать:

— Товарищи, отдохните! Приказ командира у меня!

Не было у него сил кричать. Он лишь всхлипывал и снова полз вперёд. Только вперёд...

Очнулся матрос Носков от ночной прохлады. Открыл глаза. Над ним висело всё то же небо. Только звёзды горели меньшим накалом. Значит, скоро утро.

А до батальона, как угодно измеряй, ещё почти километр...

Конечно, Носков знал, что если он даже и останется лежать здесь, в степи, если даже его здесь подберут санитары, то никто не обвинит его в трусости, никто не упрекнёт в том, что он не выполнил приказ. Какой спрос с еле живого?

Зато ни на секунду не забывал Носков и о том, что днём батальону не отойти, уничтожит его враг. И ещё — у Фёдора Носкова была большая настоящая совесть. Совесть человека и солдата. Она и заставила опять перевернуться на живот.

Страшно сделать первое движение... Боль наверняка калёной иглой вонзится в самое сердце...

Матрос Носков, намереваясь перехитрить боль, для начала решил только дотянуться до кустика полыни, который торчал, казалось, почти перед глазами. Протянул к нему руку и... не достал. Пришлось всё тело чуть подать вперёд...

Вот и сжат в кулаке этот кустик травы, огрубевший от палящего солнца. А впереди — виден другой. Много таких кустиков полыни на пути Фёдора Носкова. И кажется ему, что они сами надвигаются на него. Только хватайся за них скрюченными и кровотокающими пальцами.

— Товарищ старший лейтенант, ползёт кто-то, — доложил дозорный и взял на себя затвор автомата.

Старший лейтенант подошёл, взгляделся в ночь.

— Ничего не вижу.

— Вон тот бугорок.

Бугорок, на который показал дозорный, — метрах в пяти от окопчика. Подумалось, что если это затаившийся враг, то он запросто может швырнуть гранату. Прямо в гнездо дозорного. Старший лейтенант ещё не принял решения, как тот, кого он принял за бугорок, застонал, пробормотал что-то.

— Помочь надо, — сказал дозорный, посмотрев на командира. И тот взял его автомат, навёл на неизвестного.

Дозорный выпрыгнул из окопа. Вон он уже склонился над человеком... Бережно взял его на руки... Возвращается...

Луч карманного фонарика осветил лицо неизвестного. Оно было иссиня-белым. А бескровные губы всё шевелились, силясь сказать что-то.

— Федька Носков! — вырвалось у дозорного и он тут же пояснил: — Вместе на торпедных катерах служили.

Командиру стало ясно, что не случайно оказался здесь этот матрос, и он приказал:

— Общитесь!

В это время Носков открыл глаза. Сначала в них не было ничего, кроме безмерной усталости, потом мелькнуло подобие мысли, она переросла в тихую радость, он прошептал:

— Отходите... К полку...

Все ждали, не скажет ли он ещё что-нибудь, но Фёдор молчал. Матросы хотели влить ему в рот вина, но врач строго сказал:

— Ему больше ничего не нужно.

С минуту все молча стояли, обнажив головы. Много смертей повидали матросы батальона. Но эта была особая: без жаркой рукопашной схватки, без грома выстрелов. Свидетелями исключительной смерти они стали. И не золотили лучи солнца лицо Фёдора Носкова, не пытались приподнять его веки (не взошло ещё солнце), не рассыпали в небе трели жаворонки (грохот войны выжил их из этой степи). Зато, когда батальон начал отход, рядом со знаменем четыре матроса осторожно несли тело Фёдора Носкова.

С тех пор минули годы. В космос ушли многие советские космические корабли, вот-вот они проложат первую трассу к новой планете. Но и сегодня вдоль пирса выстраиваются моряки. Чуть слышно плещет усталая за день волна. Тёплый ветерок играет лентами бескозырок, гладит открытые лица моряков-черноморцев, которые построились на вечернюю проверку. Построились парни, родившиеся после Великой Отечественной войны. Но и сейчас, как двадцать пять лет назад, старшина прежде всего призывно зовёт:

— Матрос Фёдор Носков!

Шелестят ленточки бескозырок. Плещется море.

— Матрос Фёдор Носков пал смертью храбрых в боях за нашу социалистическую Родину! — громко и чётко отвечает правофланговый.

На века так будет.

М. Р. Смородинов

Когда смерть рядом*

к 85-летию со дня рождения
писателя Олега Селянкина

В начале пятидесятых первые сборники рассказов Селянкина «Друзья-однополчане» и «Мужество» были изданы в Перми и в московском Военмориздате. От рассказов Олег Константинович перешёл к более крупным формам. Его романом «Школа победителей» я, тогда ещё пацан, буквально зачитывался. Да и многие, наверное, тоже. До сих пор убеждён, что прототипом главного героя — лейтенанта Норкина, мужественного в бою и по-мальчишески наивного, романтического в любви, в воззрениях на мир — был сам писатель.



Он прошёл суровую школу: моряк-подводник, чья подлодка уже в первый день войны потопила фашистский транспорт; морской пехотинец, командир дивизиона тральщиков, затем — бронекатеров на Волге, Висле, Одере...

У самого Селянкина слово и дело никогда не расходились: видимо, сказывалась военная закалка. На гражданке он оставался всё тем же капитаном второго ранга, каким в победном сорок пятом его комиссовали из армии военные медики из-за четырёх ранений и тяжёлой контузии, полученных на фронте.

Врезался в память случай. В 1972 году Селянкина избрали ответственным секретарём областной писательской организации, и он первым делом занялся бытом пермских писателей в твёрдом убеждении: нельзя творить в закутке, куда и письменный стол не поставить.

Сам он, много раз смотревший смерти в глаза, необычайно любил живность. И работал дома за писательским столом в окружении многочисленных аквариумов, клеток с певчими птицами и букетов живых цветов. Селянкин жил душой как бы в двух временах сразу: в мирном, почти идиллическом, и кровавом, военном, и приходили к нему в часы творчества под цветочную сень кабинета фронтовые друзья-товарищи в тельняшках и бескозырках — те, кого фашисты называли «чёрной смертью».

* Звезда. — 2002. — 27 апреля.

— Писателем я быть не помышлял, — рассказывал Олег Константинович десять лет назад, давая интервью «Звезде». — Вернулся в Пермь после войны, и такая тоска по фронтовым друзьям, по верности, мужеству и бескорыстию тех, с кем дошёл до Берлина. Они, как молодость, стали возвращаться ко мне, на страницы первых рассказов...

Он прошёл суровую школу: моряк-подводник, чья подлодка уже в первый день войны потопила фашистский транспорт; морской пехотинец, командир дивизиона тральщиков, затем — бронекатеров на Волге, Висле, Одере...

Под Ленинградом его роте морских пехотинцев приказали уйти в тыл врага, найти и уничтожить карателей роты из дивизии СС «Мертвая голова». В сорок первом эти выродки просто зверствовали, оставляя от деревушек и сёл пепелища с полуобгоревшими трупами. А на частоколы с немецкой пунктуальностью насаживали кошек, собак и детей. «Представь, — с болью говорил Селянкин, — кошка, собака, ребёнок; кошка, собака, ребёнок...».

По варварскому следу морские пехотинцы и настигли карателей в одном из сёл. Ночью, бесшумно сняв парных часовых, бойцы прошли по избам, ножами упокоили пьяных эсэсовцев. Кстати, этот эпизод Олег Константинович, показывая сущность фашизма, включил в свою книгу «На румбе — морская пехота», однако целомудренный редактор вычеркнул его: мол, зачем обижать немцев, особенно «хороших, из ГДР»?

Другой эпизод фронтовой биографии Селянкина времён Сталинграда, будь он приведён в военной беллетристике, назвали бы придуманным: столь он невероятен. 28 августа группа из тридцати матросов-минёров во главе с Селянкиным углубилась во вражеский тыл, получив задание взрывать на Дону мосты, понтонные переправы, буксиры, паромы. Работали бойцы почти месяц, каждую ночь уничтожая по два-три объекта, мешая врагу подтягивать резервы к Сталинграду.

Фашистская авиация безуспешно пыталась разыскать на безлесной равнине дерзких диверсантов. Никому и в голову не могла прийти догадка, что днями они «отлёживались» в камышах, на дне реки, набив пазухи камнями и дыша через тростинку. Самое невероятное, что все тридцать вернулись живыми: по мнению медицинских светил, у любого человека многочасовое пребывание в холодной сентябрьской воде должно привести к смертельному переохлаждению. Однако и на этот раз смерть прошла рядом, и о подвиге военных моряков Селянкина в октябре 1942-го писала «Правда».



Селянкин —
капитан-лейтенант



*Открытие памятного знака О. К. Селянкину в этнографическом парке истории реки Чусовой (18 мая 2012 г.).
Фото В. Н. Маслянки*

Кстати, в военных мемуарах, в приказах Верховного имя Селянкина похвально упоминалось в связи с боями под Пинском, Сталинградом и другими городами. В Берлин он пришёл уже начальником штаба бригады боевых кораблей — это в 28 лет! Вероятно, если бы не медицинский вердикт, у Олега Константиновича сложилась бы отличная военная карьера. Но тогда бы не было писателя Селянкина.

Его фронтовые впечатления, сама биография под талантливым пером становились книгами — мужественными, горькими, пронизанными беззаветной любовью к Отечеству и ощутимой ненавистью к величайшему злу — фашизму.

Его фронтовые впечатления, сама биография под талантливым пером становились книгами — мужественными, горькими, пронизанными беззаветной любовью к Отечеству и ощутимой ненавистью к величайшему злу — фашизму. Олег Константинович был, что называется, лёгок на подъём, когда надо было провести встречу с читателями, хотя с годами ходить ему становилось всё труднее: сильно болели ноги, обмороженные ещё в Финскую войну.

По сути, этот недуг и стал главной причиной ухода Селянкина с поста ответственного секретаря областной писательской организации, штурвал которой он уверенно держал 13 лет и добился для неё многого. Например, раньше писательский Союз ютился в двух комнатёнках нынешнего Домжура и то, что у нас появился свой Дом писателей — большая заслуга Олега Константиновича. Его авторитет писателя и героя-фронтовика открывал перед ним двери самых высоких кабинетов, и не только в Перми.



В последние годы жизни он реже приходил в Союз писателей, хотя и жил всего в двух кварталах от него. Присаживался на диван, отставив в сторону трость. Живо расспрашивал о писательских делах, новых книгах. Олег Константинович никогда не жаловался на свои недуги и даже в последние годы с радостью ехал на творческие встречи. Особенно он любил встречаться с молодёжной аудиторией, пытливо вглядываясь в лица: какое, мол, ты, «племя младое, незнакомое»?

Из тридцати книг, написанных Селянкиным, лишь три не о войне. Последняя его книга «Когда смерть рядом» — тоже о войне, но, в отличие от предыдущих, эта книга документальная.

Читая её, слышу негромкий, но чёткий голос писателя, который без лукавства, без похвальбы рассказывает о боевых товарищах. Он описывает реальные события, и оказывается, что действительность удивительнее любого вымысла.

Книгам его суждена долгая жизнь — как бы ни менялась политическая и прочая конъюнктура. Но с годами всё растёт и растёт ощущение, что всем нам не хватает живого Селянкина — его совестливости, прямоты и бескомпромиссности.

2002 г.

Книги О. К. Селянкина

1. Друзья-однополчане

Сборник рассказов. — Перм. кн. изд-во, 1951. — 132 с.

Содерж.: Бой местного значения. — Фронтовые будни. — Дора Прокофьевна. — Мимоходом. — Клятва. — Внештатные наблюдатели. — На Дону. — Мужество. — Пароль. — Он видел. — Наступление продолжается.

2. Мужество

Рассказы о морских пехотинцах и разведчиках. — М.: Воениздат, 1952. — 66 с.

Содерж.: Бой местного значения. — Во вражеском тылу. — Мимоходом. — Мужество. — Верные помощники.

3. Есть так держать!

Повесть для юношества. — Перм. кн. изд-во, 1952. — 126 с.

Эта книга — о мужестве защитников осаждённого Ленинграда, о героизме матросов, сражавшихся с врагом на Волге, о подвиге юных участников Великой Отечественной войны.

Судьба юнги Вити Орехова — это отражение сотен и сотен судеб таких же мальчишек, в жизнь которых жестоко ворвалась война.

То же. — М.: Воениздат, 1953. — 144 с.: ил. — («Библиотечка нахимовца»).

То же. — Перм. кн. изд-во, 1957. — 140 с.: ил.

То же. — М.: Детгиз, 1961. — 173 с.: ил.

То же. — Перм. кн. изд-во, 1988. — 174 с.: ил.

4. Земляки

Рассказы. — Перм. кн. изд-во, 1953. — 96 с.

Содерж.: Друзья. — Тихоня. — Однажды ночью. — Только так! — Командарм. — На перекате. — Земляки. — Отец и сын.

5. Школа победителей

Роман. Кн. 1. — Перм. кн. изд-во, 1954. — 314 с.

Аннотацию см.: «Школа победителей» Роман в 2-х книгах. — Пермь, 1960.

6. На капитанском мостике

Повесть. — Перм. кн. изд-во, 1956. — 261 с.

О буднях речного техникума, о самоотверженном труде камских речников.

7. Маяк победы

Перм. кн. изд-во, 1958. — 24 с.

(«Рассказы о советских людях»).

Рассказ о подвиге моряков, участников Великой Отечественной войны.

8. Вперёд, гвардия! 2-я часть романа «Школа победителей»

Ил. В. С. Саксона. — Перм. кн. изд-во, 1958. — 364 с.

Аннотацию см.: «Школа победителей» Роман в 2-х книгах. — Пермь, 1960.

То же. — 2-е изд., доп. — Перм. кн. изд-во, 1975. — 367 с.

9. Злыдень

Перм. кн. изд-во, 1959. — 37 с.

(«Рассказы о советских людях»).

О подвиге советских моряков в годы Великой Отечественной войны.

10. Тайны полноводной Камы

Для младш. школьн. возраста / ил. С. С. Дьячкова. — Перм. кн. изд-во, 1959. — 26 с.

Научно-художественная книжка о Каме и её использовании человеком.

11. Школа победителей

Роман в 2-х книгах. — Пермь: Кн. изд-во, 1960.

Кн. 1-я. Они стояли насмерть. — 423 с.

Кн. 2-я. Вперёд, гвардия! — 364 с.

О боевых действиях советских моряков в годы Великой Отечественной войны.

То же. — Перм. кн. изд-во, 1977. — 639 с.

То же. — 3-е изд. — Перм. кн. изд-во, 1977. — 638 с.: ил.

12. Наш командир

Рассказ. — Перм. кн. изд-во, 1962. — 14 с.

Рассказ о смелости и отваге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

13. Ваня-коммунист

Повесть. — Перм. кн. изд-во, 1963. — 93 с.

Повесть об участниках и героях Великой Отечественной войны.

14. Истоки мужества

Очерк. — Перм. кн. изд-во, 1969. — 26 с.: фот.
Очерк о пограничнике Александре Ложкине.

15. Когда труба зовёт

Рассказы. — Перм. кн. изд-во, 1970. — 226 с.
Автор — участник Великой Отечественной войны — рассказывает о своих боевых товарищах, описывает реальные события военного времени.

14. Стояли насмерть

Роман: [1-я книга романа «Школа победителей»].
— Перм. кн. изд-во, 1972. — 352 с.: ил.
Аннотацию см.: «Школа победителей» Роман в 2-х книгах. — Пермь, 1960.

15. Быть половодью!

Роман: [1-я книга романа «Костры партизанские»]. — Перм. кн. изд-во, 1974. — 337 с.
Аннотацию см.: «Костры партизанские» Роман. Книга первая. — Пермь, 1982.

16. На румбе — морская пехота

Перм. кн. изд-во, 1976. — 222 с.
В документальной повести писатель вновь воскрешает события Великой Отечественной войны, вспоминает свою боевую молодость, воссоздаёт картины мужества и отваги товарищей-моряков.
То же. О друзьях-товарищах. — Перм. кн. изд-во, 1979. — 238 с.

17. Перед расплатой

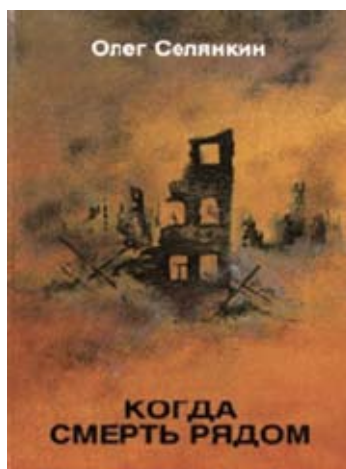
Роман: [2-я книга романа «Костры партизанские»]. — Перм. кн. изд-во, 1980. — 383 с.
Аннотацию см.: «Костры партизанские» Роман. Книга вторая. — Пермь, 1983.

18. Костры партизанские

Роман. Книга первая. Быть половодью!
Переиздание. — Перм. кн. изд-во, 1982. — 302 с.
Книга о героической борьбе партизан в годы Великой Отечественной войны.

19. Костры партизанские

Роман. Книга вторая. Перед расплатой.
Переиздание. — Перм. кн. изд-во, 1983. — 325 с.
Роман о партизанском движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.



20. На пути к победе

Повесть и рассказы. — Перм. кн. изд-во, 1985. — 239 с.
Повесть и рассказы о Великой Отечественной войне.

21. Будни войны

Повести и рассказы / художник Н.Оборин. — Перм. кн. изд-во, 1990. — 432 с.: ил.
Повести и рассказы о жизни советских людей в годы Великой Отечественной войны.

22. Когда смерть рядом

Повести. — Пермь: Урал-Пресс, 1995. — 271 с.
Документальная книга о героях военного времени, обо всём, свидетелем чего выпало стать самому автору — участнику и герою Великой Отечественной войны.

...Талант Юрия Беликова — это талант шамана, заклинателя и пророка. Ударяя в бубен стиха, он вызывает звуками духов земли и неба, и слово его наливается сполохами северного сияния, исторгая из глубины своей дар предвидения. Он пишет стихи-предсказания, которые сбываются по прошествии времени.

Андрей Вознесенский

*У Арининой горы.
Худ. В. Н. Чаплыгин*



Юрий Александрович Беликов

(р. 15.06.1958)

*Поэт, прозаик, эссеист, публицист,
член Союза журналистов СССР с 1985 года,
член Союза российских писателей с 1991 года,
член Русского ПЕН-центра с 2002 года,
член Союза писателей XXI века и член Высшего
творческого совета этого Союза с 2011 года.*

Родился 15 июня 1958 года в г. Чусовом. В 1975 году окончил среднюю школу №1. Первые стихи были опубликованы ещё в 1974 году в газете «Металлург» при поддержке журналиста Вилория Глухова, которого Юрий Беликов считает одним из первых своих учителей.

Окончил филологический факультет Пермского государственного университета им. А. М. Горького (1980 г.). Организовал на факультете поэтическую группу «Времири» (слово из творчества Велимира Хлебникова).

Работал корреспондентом газет «Чусовской рабочий», «Молодая гвардия», «Комсомольская правда», «Трибуна», «Труд». С 2007 года —



обозреватель краевой газеты «Звезда», с 2009-го — собственный корреспондент «Литературной газеты».

В «Молодой гвардии» основал литературно-художественное приложение «Дети стронция», где в конце 1980-х — начале 1990-х были напечатаны творения ярких представителей андеграунда Перми, Екатеринбурга, Барнаула, Питера и Москвы.

В 1990-е был самым юным членом редколлегии журнала «Юность» — собкором этого издания по Уралу и Сибири. Учредил и вёл на его страницах рубрику «Русская провинция», наглядно доказывая, что именно в глубинке рождаются подлинные таланты.

В начале творческого пути печатался в газетах «Чусовской рабочий» и «Металлург». Затем стихи Юрия увидели свет на страницах альманахов «Литературное Прикамье», «Истоки», «Третья Пермь» и «Литературная Пермь», «Илья», «День поэзии. XXI век», в сборнике «Московский год поэзии», журналах «Смена», «Юность», «Огонёк», «Знамя», «Дети Ра», «День и Ночь», «Воин России», «Арион», «Сибирские Афины», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), в «Литературной газете».

Организатор и участник двух поэтических групп «Политбюро» (1989 г.) и «Монарх» (1997 г.). Стихи Юрия звучали со сцены московского театра «Сфера» и на радио «Свобода» (Мюнхен).

На Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989 г.) получил Гран-при и титул «Махатма российских поэтов». Во время августовского путча в 1991-м году был защитником Белого дома. Зачинщик акции «Жёлтая кофта» у памятника Маяковскому в Москве, проведённой в 1996-м «Комсомольской правдой» под лозунгом «Не стреляйте в поэтов и журналистов!» Автор поэтических книг «Пульс птицы» (Москва, «Современник», 1988 г.) и «Прости, Леонардо!» (Пермское книжное издательство, 1990 г.).



Авторский вечер в чусовской библиотеке им. А. С. Пушкина.
Фото В. Н. Маслянки

Стоял у истоков «Илья-премии», учреждённой в 2000 году в память о 19-летнем московском поэте и философе Илье Тюрине.

В 1999-м году организовал движение «дикороссов» и стал главным редактором литературного сайта www.dikoross.ru, где публикуются стихи поэтов «края бытия». Составил и издал их антологию — «Приют неизвестных поэтов», куда вошли творения 40 авторов из глубинной России от Норильска до Ставрополя.

Его стихи печатались в антологиях «Современная уральская поэзия», «Самиздат века», «Антология русского верлибра», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России», «Гениальные стихи», «Свойства страсти», «Лёд и пламень», включены Евгением Евтушенко в 5-томную антологию «Десять веков русской поэзии».



Два поэта. Ю. Беликов и Ю. Владов

В 2002 году принят в члены Русского ПЕН-центра Всемирной организации писателей International PEN.

Лауреат премии журнала «Юность» (1991 г.). Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2006 г., 2009 г.). Лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (Москва — Нью-Йорк — Саратов, 2006 г.) и знака «Чусовская подкова» (2006 г.), вручённого Леонардом Постниковым («Награда тем, кто любит Россию, Урал, Чусовую»).

В 2007-м году — лауреат международного фестиваля Всероссийской премии им. П. П. Бажова «За энергию поэтического сопротивления и одухотворение обыденной жизни в книге избранных стихов «Не такой» (2007 г.).

Юрий Беликов входит в состав двух редколлегий — журналов «Дети Ра» и «День и Ночь», основанного в 1993 году в Красноярске В. П. Астафьевым.

В 2005 году «За утверждение идеалов великой русской литературы» награждён знаком-орденом Велимира «Крест поэта», учреждённым в честь 120-летия со дня рождения Велимира Хлебникова.

Живёт в Перми.

Притча о кольчуге*

Я — Ермак, но глядящий на Запад.
Шёл я против течения, как мог.
И мой прах, что кольчугою заперт,
по течению выносит Восток.

Обошло меня войско Кучума
на четыре столетья с лихвой.
Чу! Кочует по рекам кольчуга,
приближаясь к верхам Чусовой.

Но двойник мой вещает: — Опомнись!
Отгони проржавелую блажь.
Не пристёгивай Каменный Пояс,
как державы пустой патронташ!

И гляжу я в закатные дали.
И объят озареньем клинок:
там опять мне кольчужку подарят,
чтоб я снова глядел на Восток.

Сотворение нимбов**

Я не письма шлю, а нимбы.
Ходят люди, а над ними —
два пространства, слоя два.
Первый их не замечает,
но второй души не чаёт,
это чует голова.
Как внутри огромной капли,
чей-то лик живёт — не так ли? —
и пронесит над собой
в инфракрасном ополчении,
нет, не Шамбалы свеченье —
сизый воздух чусовской.
Это я стою на бреге,
где набег и побеги
перепутали траву,
и, от памяти зависим,
не пишу давно уж писем —
нимбы нежные творю.
Пусть вас нет уже в пространстве,
но в пречистом чусовлянстве,
как и прежде, видят вас.
В этой жизни, в этой смерти,
если нимб тебе не светит,
не спасёт противогаз.

1987 г.

* Беликов Ю. А. «Не такой» (свод избранных стихотворений). — М. : «Вест-Консалтинг», 2007. — С. 176-177.

** Беликов Ю. А. «Примеряю шапку Мономаха»: буклет — Чусовой, 1990.

Венчание на царство в чусовских лесах*

Перемещается
ось земли
в голубоватый шеклеек плеск,
перемещается ось земли
в леса транзисторный свист и треск,
в кукареку, деревянный забор,
пятна коров, пастуха откровенного...
Вымя
похоже теперь на собор
Василия Блаженного!
Ёлка,
как Спасская башня стоит.
Красную площадь поляна таит.
Слушайте! Нынче в далёкой избе
я, Юрий Первый, без всякого страха
водружаю
на кудри себе
шапку Мономаха.

А на безлесье вопят о любви.
И потому там
фонтаны сирени
гасят, планета, столицы твои,
срочно открывшие сложное время.
А у избы
вспухают грибы
после укусов дождя,
и от белки
цокнувшей
свалишься, как от стрельбы,
в роще, стоящей века без побелки.

Вот и сегодня
по тёмным лесам
с низким поклоном
на сером коне
только приехал к московским князьям,
надо же, —
все укатили ко мне!

1977 г.

* Беликов Ю.А. «Примеряю Шапку Мономаха»: буклет — Чусовой, 1990.

Запах Флоренции*

Чусовой — это совы на сучьях сосновых
над часовенкой совести в частых засовах —
вот Флоренция, Данте, моя.
Здесь на чьём-то слуху — лишь мои псевдонимы,
те, что местной печатью усердно ценимы,
но писал эту кривду не я.

Ах, Великая Пермь, та хотя бы косится,
озирается в скрытой опаске столица,
неотступно мигает Литва,
только град, во котором я вздумал родиться,
на еловой ноге отставной городишко,
чтобы бровью повесть, чёрта с два!

Я уже наглотался пылищи российской
и турецкой глотнул, и вдобавок сирийской,

но не горько пылицу глотать,
горше, ежели город, что стал вам родимым,
вашим прахом, доставшимся дальним равнинам,
трубку будет свою набивать.

1984 г.

* Беликов Ю. А. «Не такой»: свод избранных стихотворений. — М., 2007. — С. 164-165.

Дума*

Мысль замерла и в думу затвердела.
Её ледник ползёт из захолустья,
где люберы угланами зовутся,
где мужики суконные в мартенах
вброд переходят меркнувшие слитки
в демидовских дощатых башмаках.
А жёны их стоят не за «О`Жёном»,
А жёны их ждут главную машину —
не с невидимкой из ворот кремлёвских,
а с мусором из-за того угла.

Я знаю: мысль подвижнее, чем свет.
Но чтобы можно было передвинуть
усильем мысли вазу на столе,
метеорит, упавший на дорогу,
иль божий дар, затерянный в лесах,
нужна длина, а значит, замедленье,
оледененье мысли — ведь ледник,
как бы ни рвал подошвы марафонец,
его настигнет всё же, и тогда
земля узнает новую морену.

Я говорю, что мир спасут глаза,
суровые и тихие, такие,
где мыслей нет, но есть одна лишь дума.
О чём она? Не ведаю, о чём.

1987 г.

* Беликов Ю. А. «Прости, Леонардо!» — Пермь, 1990. — С. 14-15.

Перевоз под наигрыш гармошки*

Юрию Асланьяну

Я теперь перевозчик, а нижний этаж подо мною —
просмолённая лодка, что бьётся башкой о причал,
и всю ночь напролёт бронхиальной страдает гармонью.
Это грубое днище верёвкой угар шпаклевал.

Но верёвка испрела. И песня сквозь щели сочится.
Если плавная песня, то, значит, я плёсом плыву.
Ну а топот кромешный да с вышивкой визга случится —
напоролся на камни, вхожу в пережат наяву.

Я черпаю ковшом то былинный мотив, то частушку —
травку к травке собрал для целебного свара Урал.
Ах, зачем ты поёшь, раздавив голубую чекушку,
как армянский шофёр — не ямщик во степи — замерзал?!

Позабудь примитивы того музыканта-поляка,
что лесины таскал и чугунную кличку Чугрей,
как пиликал на скрипке, писал фельетоны и плакал,
оттого что лишён юбилейной медальки своей.

Ты зачем из-под пола, как из-под полы — о, не надо! —
славянина доводишь ордынским напевом до слёз,
как немецкие кактусы да из французской Канады
на родной подоконник уральский татарин привёз?!

К перевозу готова моя вавилонская лодка.
А на том берегу челобитной реки Чусовой —
почерневшие вышки, стоящие косо и кротко,
и Пять Братьев — пять скал, отбывающих срок за разбой.

Ох, и добрая мне предстоит работёнка отныне —
выбрать вёсла такие, уключины где поржавей,
и с медлительным скрипом да с песней о тонкой рябине
отвозить на тот берег румяных и цепких людей.

1988 г.

* Беликов Ю. А. «Не такой» (свод избранных стихотворений). — М. :
Вест-Консалтинг, 2007. — С. 177-178.

136-й километр

Здесь плавающие лезвия стрекозы
жужжат-шелестят над осокой.
Или это Васька Каменский
на своём «Блерио»?

Здесь — Троица храмов:
один — над водой,
другой — в озерце,
посредине которого фонтан
учит брызги ходить на пуантах...
Или это колчаковцы
бросили в ил пулемёт «Максим»,
и он, встав на попу,
согласился с назначенной службой —
крестить озерцо, окропляя?..

А третий храм —
на груди бесконвойного зэка,
вырезающего из лиственницы
для первого храма
пресвятой Богородицы лик.

В какой из трёх храмов затеплить свечу,
огибая капканы попутных приходов,
приезжает из города
девушка на велосипеде?

Здесь гуси сторожевые
хватают за ноги меня
и перья роняют:
быть может, отыщется Пушкин?

Здесь пахнущие креозотом,
стеснительно скрежеща,
притормаживают железнодорожные составы
и подолгу стоят, неуклюжие,
чтобы наглядеться
на взорвавшую их путь
притаившуюся красоту.

2007 г.

Е. А. Евтушенко

Часовой поэзии из городка Чусовой*

Редкий поэт входил в поэзию с такой, я бы сказал, корневой определённой, будучи истовым почвенником и в то же время авангардистом, выросшим на впитанном с детства фольклоре.



Ю. А. Беликов.
Рис. В. Н. Аверкиева

Я к вам пришёл со стороны реки...
Меня уполномочили
подсудные теченью судаки,
гудки судов, мерёжи, мотыльки
и маяки полночные.

А как чудодейственно Беликов сохранил в памяти некогда мальчишеских, но до сих пор не устающих ног, неповторимое ощущение щекочущих их пескарей, особенно когда заходишь с быстрины в неожиданно ласковую заводь:

...Не такой (хоть все мы таковы!),
он забрёл по горло, как на исповедь,
в речичу свирельной синевы,
будто бы хотел прощение выстоять
в сапогах серебряных плотвы.

Но чувство родного края в отличие от многих почвенников не замыкается у Беликова на одной России, а могуче и естественно сливается с чувством такой же родственной связи с бескрайними просторами Земли и неба, с космосом, общим для всего человечества. В поразительном по предсказательной силе «Марше долгового облака» поэт отождествляет себя с пехотинцами, исчезнувшими с лица Земли в одном из многочисленных сражений в человеческой истории, иногда справедливых, но иногда и бессмысленных, никак не оправдываемых даже тем, что преподали нам горькие уроки. Думаю, именно поэтому автор несколько загадочно озаглавил это написанное в традиции старинных английских баллад стихотворение, ибо наш долг помнить всё, что случилось не только у нас, но и на всей планете,

* Новые известия. — 2012. — 12 мая.

в согласии с бессмертным афоризмом Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

То облако прошлого века.
И, если свидетелей счесть,
уж нет на Земле человека
такого, а в облаке — есть:
и полк в этом облаке есть,
и я в этом облаке есть.
А облако есть ли? Бог весть!

Эту способность Беликова выходить с пермской почвы в космос как на территорию всеобщей памяти цепко ухватил Андрей Вознесенский: «Ударяя в бубен стиха, он вызывает звуками духов земли и неба, и слово его наливается сполохами северного сияния, исторгая из глубины своей дар предвидения».

Свод избранных стихотворений Беликова с характерным названием «Не такой» (2007 г.) был удостоен премии имени Павла Бажова. Юра и в самом деле «не такой», сам по себе, неожиданный, непоседливый, упорный и разнообразный. Он организовал литературное движение «дикороссов», поэтов «края бытия», стал практически геологоразведчиком новых талантов по всей матушке России, выпустил антологию авангардной глубинки «Приют неизвестных поэтов», объединившую четыре десятка авторов от Ставрополя до Норильска.

С именем Беликова-журналиста связаны сбор и проверка свидетельств о таинственных появлениях НЛО близ деревни Молёбка в Кишертском районе Пермского края. Он участвовал в экспедициях, искавших «клад Емельяна Пугачёва» на реке Чусовой и «Колокол семьи Романовых» в красновишерских болотах. Он соратник легендарного Леонарда Постникова, создавшего Музей реки Чусовой, ветерана родиноведения, который в свои 85 лет остаётся любимцем романтической молодёжи. В его заповеднике, прямо в реке Архиповке, на выступе скалы, установлен памятник Александру Грину, а неподалёку — знак в виде парящего самолёта в память об одном из первых русских авиаторов, поэте-земляке Василии Каменском, чью «Сарынь на кичку!» я помню наизусть.

Зимой 2002 года Юра пригласил меня к Постникову вместе с тремя молодыми пермскими художницами, которые, надев варежки, в шесть рук рисовали три моих портрета в не отапливаемой избе при 40-градусном морозе. Я потом описал это забавное происшествие в стихотворении «Письмо в Пермь»: «А девчата, все втрём / и с мужчиной, / притулились под ковром и овчиной. // Тот мужчина был поэт – / не чета мне. / Он, девчонками согрет, / вслух читал им. // И, стуча зубами в тьму, / как на льдине, / я завидовал ему / в холодине. // <...> Но одна приподнялась / чуть на локте. / «Ой, да мы согреем Вас... / Рядом лягте...» // <...> И краснел я в темноте, / как побитый, /

на невидимой черте, / мной забытой. // Всё легко, как в детском сне, / мне прощалось. / Целомудрие ко мне / возвращалось».

Чем ближе я знакомился с Юрой, тем чаще он восхищал меня отсутствием ханжества и вместе с тем чудесным тактом в отношениях с женщинами. Несмотря на его образ могучего «дикоросса» и репутацию бунтаря, я не видел ни одного его грубого поступка, не слышал от него ни одного грязного слова, что, увы, можно услышать и от поэтов. Он подарил мне незабываемый рассказ об учителе истории из села Постановги, поэте Валерии Возженникове, чьим именем останавливали драки его бывших учеников.

В городе Чусовом есть Французская улица, напоминающая о французах, построивших здешний металлургический завод. На этом заводе работали предки будущего поэта. Но он лишь недавно, начав с пятитомной книги Михаила Гернета «История царской тюрьмы», проследил свою родственную связь с самым удалённым во времени Беликовым — Филиппом, служившим при Анне Иоанновне в двух странных образом сочетавшихся тогда ипостасях — алхимика и экономиста. Можно предположить, что алхимик иногда выпивал лишнего и тем самым вредил экономисту. Во всяком случае, императрица сочла, что больше пользы двуединый Беликов принесёт, если будет трудиться за решёткой, и его посадили в Шлиссельбургскую крепость. Обычно сажали, чтобы не позволить писать. А тут — напротив: посадили, чтобы арестант писал без помех. В камере его исправно снабжали гусиными перьями, бумагой и чернилами. Но, по-видимому, не справившись с вольготным характерцем и непредсказуемыми мыслями заключённого, его вместе с семьёй сослали на Урал, где и продолжился род Беликовых. Так что Юрию было от кого унаследовать безудержную ненасытность до жизни во всех её проявлениях и непрерывное бунтарство против житейской скуки.

Как раз за бунтарское содержание номеров партбюро филологического факультета Пермского университета отстранило его от выпуска студенческой газеты. Он был самым молодым членом редколлегии журнала «Юность», но тоже был уволен за настырность в пробивании поэтов из провинции. Из соборов «Комсомолки» его «ушли» за чрезмерное увлечение темой космических пришельцев. Участие в нашумевшей акции «Жёлтая кофта» с попыткой возродить выступления у памятника Маяковскому в Москве тоже вызвало властное противодействие. Всё время Юрий что-то придумывал, причиняя неудобства чиновникам от культуры. И это было не блажью, как им, может быть, казалось, а дерзким просветительством, даже во времена, казалось бы, беспросветные, вроде брежневского застоя или «беспредела передела», что гораздо точнее самооправдательного «лихие девяностые».

Однако Беликову помогали выживать друзья его поэзии, среди которых была и его мама Нина Константиновна, врач по профессии. Конечно, она опасалась за сына, но неизбежно верила в его талант, гордилась им.

Чем ближе я знакомился с Юрой, тем чаще он восхитал меня отсутствием ханжества и вместе с тем чудесным тактом в отношениях с женщинами. Несмотря на его образ могучего «дикоросса» и репутацию бунтаря, я не видел ни одного его грубого поступка, не слышал от него ни одного грязного слова, что, увы, можно услышать и от поэтов.



Вначале Юра работал несколько по-губановски: талантливо, но беспорядочно, слишком доверяя потоку сознания, который несётся подобно селю и увлекает без разбору всё, что попадает на пути. А поэзия нуждается и в отфильтровывании необязательностей, саморедактировании, которое ничего общего не имеет с самоцензурой. В последнее время из-под пера Беликова всё чаще выходят отточенные до совершенства стихи. Вот как точно он оценил собственную судьбу, в которой, конечно, есть горечь от всё ещё настороженного отношения к его угловатому дарованию:



Ю. Беликов и Е. Евтушенко



Встреча чусовлян. В. Курбатов и Ю. Беликов.
Фото О. Л. Постниковой

Твой голос не пригодился
ни этому, ни тому
столетью — он лился, длился
да впал в родовую тьму. <...>

Но мимо — не есть без следу,
и тьма — далеко не мрак,
и то, что он канул в Лету,
не значит, что он иссяк.

Раз ты сам это так ясно понимаешь, Юра, то тебе нечего страшиться — такие голоса, как твой, не иссякают.

А тем, кто сокрушается, что ты никак не угомонишься, излишне инициативничаешь и напрасно прожектёрствуешь, ты уже достойно ответил:

— Что-то стало Беликова много! —
чей-то возглас потревожил Бога.
Бог проверил оптику высот:
— Люди! От Москвы и до Урала
оного ни много и ни мало —
столько, сколько вам не достаёт!

У Юрия Беликова есть чудное стихотворение о японском поэте Басё, писавшем на полях своей кипарисовой шляпы. Такую же волшебную шляпу я угадываю на голове у Юры. Даже если она не покрыта, ему всегда

будет что написать на этой шляпе. Я тебя люблю, Юра, за то, что поэзию ты любишь беззаветно, и сим победиши.

Под конец рискну записать прозой, чтобы не переходить на многоступенчатую лесенку, твоё дивное стихотворение, посвящённое матери:

«К возвращению матушки вновь становлюсь человеком — / с четверенек встаю, моюсь-бреюсь, бутылки сдаю / и зачатки гнездо, разорённое в приступе некоем, / заматавшейся ласточкой сызнава вью. // Возвращается матушка! Так возвращается память / страхов детских ночную рубашку вдыхать / материнскую, белую, чтобы до завтра не плакать, / а на завтра вернётся, ребёнком надышана, мать. // Возвращается матушка — миру померкшего сына / воротить восвояси, покуда он сам не померк. / Возвращается сын — завершается мира картина / искуплённым сияньем, которое сын опроверг. // Как до века гирлянд одевается фосфорным млеком / в тёмной комнате ель — вся игрушками озарена, / к возвращению матушки вновь становлюсь человеком. / А когда не вернётся она?..».

Спасибо, Юра, и за твою маму, и за всех мам, за мою — тоже.

* * *

Юрию Беликову

Часовой поэзии из городка Чусовой,
ты живёшь с заслуженно поднятой головой,
и тебя поэзия тоже ответно хранит
и тебе подберёт благодарный уральский гранит.

Лишь бы это всё было настолько вдали,
чтоб мы сделали больше, чем сделать могли,
удивлённо затылки свои почесав
и оставшись уже навсегда на часах.



*Птица счастья.
Фото В. Н. Маслянки*

Литературные премии

1989 г. — лауреат областной премии им. А. Гайдара, обладатель Гран-при на I-м Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звания «Махатма российских поэтов».

1991 г. — лауреат премии журнала «Юность».

2005 г. — «За утверждение идеалов великой русской литературы» награждён знаком-орденом Велимира «Крест поэта», учреждённым в честь 120-летия со дня рождения Велимира Хлебникова.

2006, 2009 гг. — лауреат премии журнала «Дети Ра».

2006 г. — лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие».

2006 г. — награждён знаком «Чусовская подкова», учреждённым Леонардом Постниковым.

2007 г. — лауреат Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова «За энергию поэтического сопротивления и одухотворение обыденной жизни в книге избранных стихов «Не такой».

Творчество Ю. А. Беликова

Пульс птицы

Книга стихов / Ю. А. Беликов. — М.: Современник, 1988. — 94 с. (Новинки «Современника»).

Первая книга поэта Юрия Беликова. Противоречивая по своей языковой структуре, она отражает духовные противоречия внутреннего мира молодых людей 1980-х годов.

Прости, Леонардо!

Книга стихотворений / Ю. А. Беликов. — Перм. кн. изд-во, 1990. — 77 с. — (Литературное Прикамье).

Стихотворения поэта представляют собой целостные метафоры, как бы отбрасывающие тени различных ассоциаций на наше прошлое, настоящее, будущее.

Примеряю шапку Мономаха

Буклет / Ю. А. Беликов; ред. Л. Д. Постников; худож. В. Н. Аверкиев. — Чусовой, 1990. — 8 с.: ил.

Не такой

Свод избранных стихотворений / Ю. А. Беликов. — М.: Вест-Консалтинг, 2007. — 186 с.

В сборнике отражена богатая впечатлениями жизнь поэта, осознающего свою связь со всей нашей тревожной планетой.

Изба-колесница

Повесть / Ю. А. Беликов // День и ночь. — 2007. — №7.

«Изба-колесница» — первый опыт в художественной прозе известного поэта. В сюжете повести — поиск затонувшего в 1913 году в северном болоте «Колокола дома Романовых» и череда развернувшихся вокруг этого страстей.

Игрушки взрослого мужчины

Повесть / Ю. А. Беликов. — // День и ночь. — 2007. — № 11–12.

Повесть «Игрушки взрослого мужчины» с новой стороны раскрывает талант самобытного поэта и прозаика. Автор остаётся верен найденным стилизованным особенностям. Мы по-прежнему погружены в условный мир. Герой повести решает вечные и сложные вопросы: «Уместно ли вам жить дальше?» (с этого вопроса и начинается повесть), а если «уместно», то «Как дальше человеку жить» и «Во имя чего он живёт?...». На этих вопросах, как на трёх китах, и держится повесть «Игрушки взрослого мужчины».

Чусовой — это совы

на сучьях сосновых...

Альбом о творчестве поэта Юрия Беликова / сост. Л. Д. Постников — Чусовой, 2012. — 132.: ил.

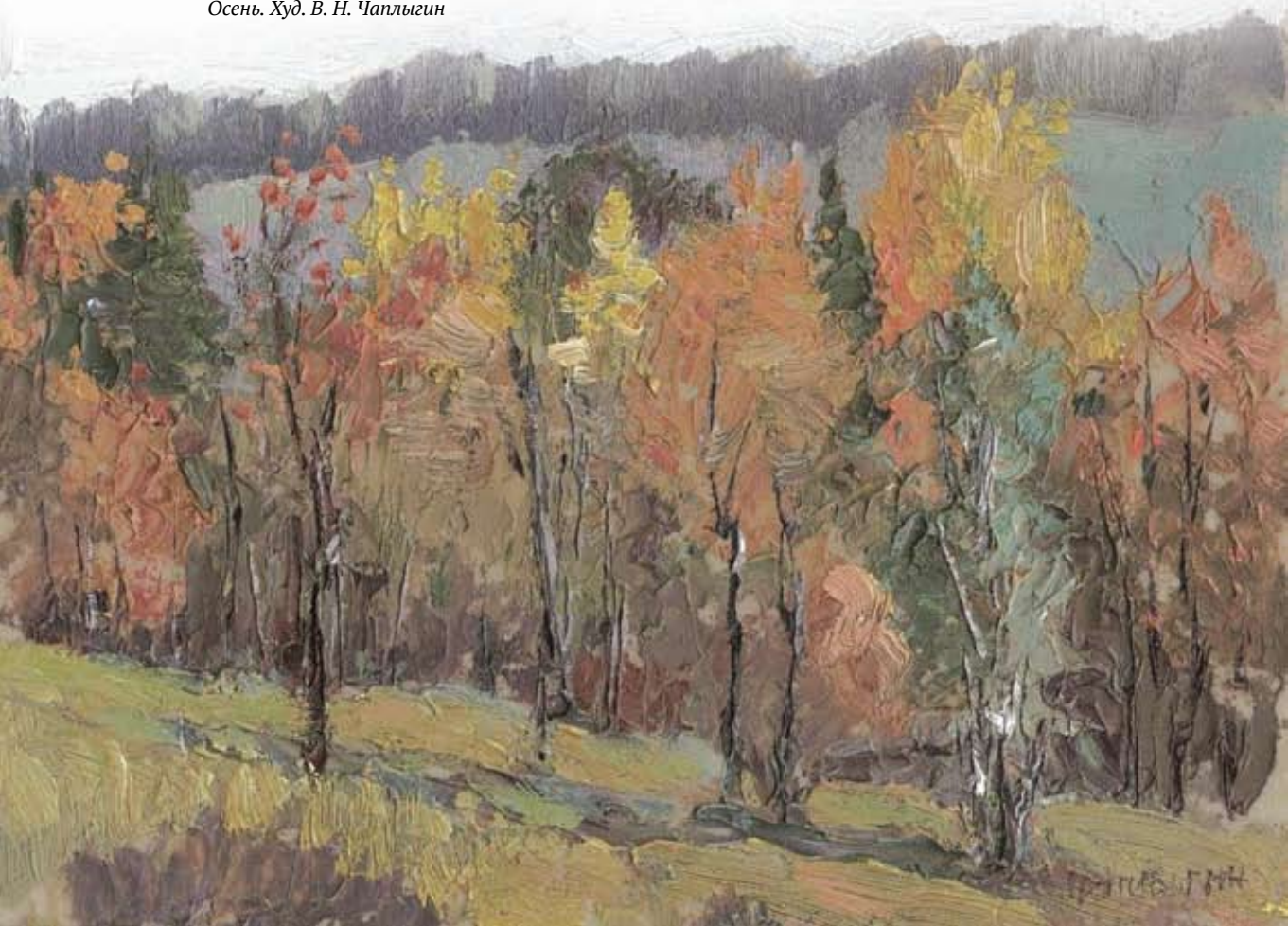
...Слово «мир» в её стихах имеет особенный благодатный смысл. Разве не полон её мир добротой, не равен отчему дому?! Это мир с собой, людьми, Богом. Такой мир ощущается как внутренняя тишина, покой, тихий свет.

*И. Маслова,
корреспондент газеты «Жуковские вести»*

...В её стихах выражена простота души — это самое великое, что может быть у человека.

*В. Кобзев,
заслуженный артист России*

Осень. Худ. В. Н. Чаплыгин



Маргарита Осиповна Пермякова

(р. 28.03.1946)

Поэтесса, член Союза писателей России с 2008 года.

Родилась 28 марта 1946 года в г. Чусовом. Училась в школах № 13 и № 8. После окончания школы поступила в Пермский строительный техникум. Получив специальность «техник-строитель», по распределению была направлена в г. Жуковский Московской области, где и живёт в настоящее время.

За свою жизнь Маргарита Осиповна побывала во многих городах: Владивостоке, Новороссийске, Риге, Душанбе, во многих местах центральной России, но отовсюду тянул её к себе Уральский край, родной город. В одном из писем в центральную библиотеку им. А. С. Пушкина, с которой она поддерживает дружеские отношения, поэтесса так написала о родном крае: «В нашем крае заложено столько сдержанно-благородной красоты, что он запоминается всем, кто с ним соприкасается. Он просто не даёт быть к себе равнодушным



и, может быть, поэтому проба пера была именно здесь, ещё в детстве...». Поэтический дебют состоялся в 16 лет. Её стихи о Чусовом, об отчем доме публиковались на страницах газет «Чусовской рабочий», «Металлург». В Чусовом вышло три сборника стихов поэтессы: «Отчий дом» (1993 г.) и «Оглянись на свой дом» (1996 г., 2002 г.), а сборник «Питомцы» вышел в Москве в 2011 году. Стихи Маргариты Пермяковой публикуются на страницах московских газет, включены в сборник «Антология глухих поэтов России XX века» (г. Москва, 2000 г.). Многие её стихи положены на музыку: песни, романсы, былины.

Постановлением Московской городской организации Союза писателей России от 14 мая 2008 года Маргарита Осиповна Пермякова принята в члены Союза писателей России.

Маргарита Осиповна не забывает свою малую родину. В каждый приезд в родной город проходят встречи с чусовскими почитателями её таланта. Вот что она говорит о своём творчестве: «Стихи у меня пишутся по-разному: иногда какое-то слово, впечатление дадут импульс, и слова ровно и быстро ложатся на бумагу, но есть, конечно, и такие, которые пишутся долго. Самое главное для меня — доведение стихотворения до такого состояния, когда строка, образно говоря, начинает петь. Вообще в поэзии я всегда ищу состояние гармонии, наверное, для того, чтобы оно помогло кому-то на земле».

Родина*

Красив Урал в любое время года:
И с царственной осанкою зимой
Со шлейфами сверкающих сугробов,
В хрустальном ложе спящею рекой.

И с летним ярким праздничным застольем
В хмельном настое медоносных трав,
С ансамблем голосистым на приволье,
Гостей повсюду ко столам созвав.

Где скалы верноподданною стражей
Грядую строгой день и ночь стоят,
Своим потомкам от чужого глаза
Богатства края в глубине хранят.

* Пермякова М. «Оглянись на свой дом»: стихи. — 3-е изд., перераб. и доп. — Чусовой, 2002. — 134 с.



Зимнее кружево.
Худ. В. Н. Чаплыгин

Чусовой

Нет фонтанов в нём журчащих,
Роз, неоновых огней...
Знатен он огнедышащим
Пulsом доменных печей.

В небе сполох отдалённый
Заиграет вдруг порой,
Значит в смене напряжённой
Сталь рождает Чусовой.

А металл, им сотворённый,
Воплотится из мечты
На шедевр непревзойдённый,
В чудо светлой красоты.

Жил для всех. Себе оставил
Доблесть славы заводской:
Выше сметку в деле ставил
Мудрый мастер Чусовой.

Нет дворцов, палат в нём царских,
Редких статуй не найдёшь.
Но от гор, как от швейцарских,
Глаз уже не оторвёшь.

Скалы встали величаво
Возле города кольцом,
С головой в лесах курчавых,
С белокаменным лицом.

Строгий край, скупой на ласку,
Но он в час нелёгкий мой
Снимет каменную маску,
Станет, как отец родной.

Где утешит земляничкой
В травной скатерти густой,
Где прибавит сил водичкой
Ключевою под скалой.

Нет кричащей в нём рекламы,
Нет заморских кораблей...
Но лишь здесь на горке мама
Ждёт меня уж много дней.

Потому с великой силой
Тянет с теплых мест домой —
В городок трудолюбивый,
В мой уральский Чусовой.

Пишу я вам про самое святое...

Пишу я вам про самое святое:
Источник жизни — мой родимый дом,
Про ласковое счастье золотое,
Как солнышко светившееся в нём.

Про боль потерь, надежды и тревоги,
Родительский к нам, детям, его зов,
Как поднимая нас с трудом на ноги,
Дал краски жизни, нежную любовь.

Всё благодарно к сердцу принимаю:
Его волнения, старость и печаль.
(Но, ох, как поздно это понимаю.)
И я спешу, живя в нём, через даль.

С живой душой доброй поделиться,
Чем был и стал мне отчий дом родной...
Моё, быть может, слово пригодится:
Убережёт вам всё, утраченное мной.

Улыбаясь, иду я по улице

Улыбаясь, иду я по улице,
Взгляды устремлены на меня:
Мир прекрасен, и мною любят,ся,
Потому что я влюблена.

Лепестковой метелью душистою
Отвихрились мечты... Но весна
Изнутри зреет почкой пушистою,
Так как тайно я в Вас влюблена.

Если холодом будни завьюжатся,
Что ж, испью свою чашу до дна...
С вашим взглядом мир снова закружится
От того, что я в Вас влюблена.

Наслаждаюсь погодой дождливою
И любят,ся все на меня:
Потому я сегодня счастливая,
Что давно в Вас светло влюблена!

Отчий дом

Родимый старый дом, ты наполняешь
Меня спокойной мудрой добротой,
Теплом домашним тихо укрываешь,
Неброской привлекаешь красотой.

Меня в родном лишь доме отпускает
Гнетущая безмолвная тоска...
Смирненным ладом думы наполняет,
Здесь жизнь течёт проста, но нелегка.

Здесь кажется роднее, ближе небо,
Живые краски радуют кругом...
Чего один лишь стоит запах хлеба,
С ним таю в счастье, в счастье голубом.

Встречаешь ты с мурлыкающей кошкой.
Как равную, её к себе прижму,
Коснусь стены усталой ладошкой,
С неё тепло родное перейму.

Мой отчий дом, тебе я поклоняюсь,
В тяжёлый день мне не давал пропасть,
К тебе, моей опоре, прислоняюсь,
И, как к святыне, ниц хочу припасть.

С тобой расстаться я уже не в силах,
На слом тебя предать я не могу...
Как мне когда-то, до конца на хилых
Ногах стоять тебе я помогу.

Не всё в деньгах имеет свою ценность,
Тепло здесь живших рук не окупить,
От них стал ты, как память-драгоценность,
Пока ты жив, я тоже буду жить.

И буду звук вынашивать незримый,
Ко мне идущий от родных корней,
Всю доброту, что дал мне дом родимый,
Перенесу в стихах я для людей.

Уточка

Как по озеру ранним утречком,
По прозрачному, по лазурному
Плыла уточка...
Плыла уточка, умывалася
И сердечного друга-селезня
Дожидалася...

Ожидаячи, пригорюнилась,
В воду глядячи, призадумалась...
Жив-здоров ли он?
Жив-здоров ли он, друг единственный?
Не сгубил ль его враг таинственный?
Друга где искать?

Где найти искать? На какое дно
Вслед за ним нырять! — Уж ты, уточка,
Не ныряй ко дну...
Не ныряй ко дну, а прислушайся:
Как летит весь день весь израненный
Друг твой селезень...

Друг твой селезень переливчатый,
Слышишь зов его, клич заливчатый...
Поскорей лети...
Поскорей лети, тихий уголок
В камышах найди, раны вылечить
Помоги ему...

Помоги ему поднять крылышки,
Встать на ноженьки и пойдёте вы
По дороженьке...
По дороженьке ранним утречком
К лазурь-озеру поведёте вы
Малых уточек.

Поэзия

Поэзия — как высшая молитва:
Чем жизнь труднее — горячей мольба,
Идёт в груди невидимая битва,
Порой висит на ниточке судьба...

Когда в гнетущий день изнемогаешь
И, кажется, что всё... конец настал...
Вдруг истину в молитве постигаешь,
Как словно кто-то мысли подсказал.

И я в часы тяжёлых потрясений
В поэзию, как в храм святой, вхожу,
И красоту, и умиротворение
Тогда в простой я жизни нахожу.

Воспоминания о поэте Вилории Васильевиче Глухове*

В начале девяностых годов прошлого столетия я принесла два стихотворения в редакцию газеты «Металлург». Главный редактор, прочитав их, направил меня к Вилорию Васильевичу Глухову, в то время ответственному журналисту за отдел поэзии. Сначала он показался мне хмурым, озабоченным человеком. Поскольку решалась судьба произведений, созданных в сложный период, меня невольно охватило волнение.

— Править почти ничего не нужно, — одобрил он мои труды и улыбнулся. А улыбка у него оказалась особенной, ни у кого такой не видела: чем больше, открытой она становилась, тем выше полукругом подымались уголки губ и лицо приобретало по-детски весёлое и озорное выражение, и Глухов становился удивительно симпатичным и обаятельным собеседником. У меня отлегло от сердца.

Судьба даровала мне несколько лет сотрудничества с Вилорием Васильевичем в редакции газеты «Металлург». Время показало, что он обладал тонким поэтическим чутьём.

Как-то над одним из стихотворений я работала особенно тщательно. И ритм, и рифмы — всё в нём было согласовано в соответствии со смыслом. Он стал его просматривать, а я пребывала в предвкушении появления его замечательной улыбки. Проходили минуты, но его лицо оставалось непроницаемым.

Мной овладело беспокойство.

— Я где-то ошиблась?

— Вся соль в том, что всё у тебя правильно, положительно, ни одной ошибки найти не могу, но...

— Что же случилось?!

— Зарифмованная проза, — коротко отрубил он.

В кабинете нависла тяжёлая тишина.

— Да ты не расстраивайся, — видя мое удручённое состояние, — стал ободрять меня Глухов, — понимаешь, это общая беда современных поэтов. И, распаяясь в негодовании, в сердцах добавил:

— Остаётся только бомбой взорвать поэзию, чтобы встряхнуть всех вас! Когда остыл, успокоился и поинтересовался:

— Долго над ним работала?

— Написала быстро, а шлифовала долго.

— И получился зарифмованный доклад на заданную тему, — хмыкнув,

* Глухов Вилорий Васильевич (1938-1994), журналист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Воспитывался в детдоме. Самый юный из «круга Астафьева» при газете «Чусовской рабочий». Писал прозу. Работал в газетах «Чусовской рабочий» и «Металлург».

подытожил он, — видела работу токаря или фрезеровщика? Не доточил деталь — брак, переточил — ещё хуже: ничем уже не поправишь. А в поэзии сложнее, потому что выразительность слова не измеришь никакими приборами. Автору приходится интуицией придерживаться золотой середины, а она улавливается далеко не всеми.

— Значит только гениями?

— А что такое гениальность? Это Божья искра, а разгорается она от широты мировоззрения и трудолюбия человека. Фактически все люди рождаются с Божьей искрой, каждый в своей ипостаси, да не каждый её в себе сохраняет. Так что она и гаснет не загораясь в человеке.

— А отчего так происходит?

— Слаб человек, иногда его сбивает с толку сиюминутная выгода, разные неурядицы в быту или более глобальные причины, к примеру, войны, — Глухов глубоко вздохнул, — сколько талантов загублено!

Доверие к нему, как к профессионалу, возросло настолько, что я решила принести ему стихи, как говорят, написанные кровью. Шлифовке они не поддавались, и заветная золотая середина в них никак не улавливалась, исчезала.

С внутренним замиранием приготовилась к его бескомпромиссным замечаниям и утешала саму себя:

— Выслушивать их будет явно неприятно, зато прояснятся недочёты.

К моему великому изумлению уголки его губ не только поднялись вверх в его замечательной улыбке, но ещё вверх взметнулся большой палец:

— Так держать! Молодец! Только закончил бы я его предпоследним куплетом. Даже не возражай, — заметив мой протестующий жест, отрезал он, — потом с опытом придёт к тебе и чувство концовки. Вилорий Васильевич оказался прав. Когда стихотворение появилось в напечатанном виде без последнего куплета — размытость, как по волшебству, исчезла, и оно засверкало всеми гранями Поэзии. Артисты с глубоким чувством читали его со сцены. Однажды, просматривая один из новых стихов, он уточнил:

— Слово во второй строчке что означает?

Я объяснила.

— Хорошо, нам с тобой оно понятно. А ты уверена, что оно будет правильно воспринято читателем? Мне оно кажется двусмысленным, лучше его заменить или дополнить пояснительной строкой.

Мои ссылки на именитых поэтов, что они выражаются более замысловатыми фразами, не на шутку выводили его из себя:

— Меньше на них оглядывайся, доверяй своему чувству прекрасного. Беда нашей поэзии в том, что мы, ради одобрения кого-либо, сознательно копируем ошибки других, известных рифмоплётов. Такое направление, абы перещеголять друг друга в заковыристых выражениях, приводит к непониманию смысла сказанного и утомляет читателя. В итоге стихотворные формы у нас стали малочитаемы, и Поэзия может зайти в тупик.

— Но примитивные стихи, доходящие до цинизма, тоже не Поэзия.

— Конечно, не поэзия и даже не зарифмованная проза, а просто словоблудие, — соглашался Глухов, — нам нужно не терять позиций и держать Поэзию

на той высоте, на какую вознёс её Пушкин. Сохранить и полётность слова, и ясность мысли.

Он был эрудированным, но скромным человеком и страшно стеснялся выносить на суд читателя свои стихи. А когда они всё же появились в печати, он находился в радостно-приподнятом настроении поэта, когда, наконец, сбывается его заветная мечта.

В течение недолгих, но ёмких нескольких лет сотрудничества с Вилорием Васильевичем Глуховым, судьба подарила мне незабываемые уроки Поэзии. На каждое своё новое произведение я смотрю глазами Глухова, улыбнулся бы он своей необычной улыбкой или что-то заметил? Затем по его совету прочитываю текст глазами читателя. Ага, здесь кроется неточность, ищем другое слово. Поиски, как у старателей, по-разному: когда сразу находятся драгоценные крупинки слов, а чаще — спустя какое-то время.

Как у каждого земного человека, у Глухова были свои слабости. А для меня он остался прежде всего наставником, большим учителем и самоотверженным, отзывчивым человеком.

И. Маслова

«Всё ж рождаются на земле отцов корни новые от славянских слов»*

О творчестве М. О. Пермяковой

Кто-то из поэтов назвал Россию страной сирот. И вот ещё один, казалось бы, сиротский глас донёсся до нас: «Мы только в мире выжить можем» — эти строки Маргариты Пермяковой. Слово «мир» в её стихах имеет особенный благодатный смысл. Разве не полон её мир добротой, не равен отчему дому?! Этот мир с собой, людьми, Богом. Такой мир ощущается как внутренняя тишина, покой, тихий свет. Волны житейские разбиваются об эту тишину. И вот стоит она, Маргарита, удивляется — где зло, где тьма, где вековая «беда-борода»? Нет их, развеялись по струнам гусельным, бежали от её песен...

Маргарита Осиповна Пермякова родом с Урала. Эти места называют северной Швейцарией. Можно ревновать поэтессу к отчему краю, но ведь Жуковский, «звезда несравненная», тоже ей дорог. Всюду Россия... Всюду верится и любит-ся Поэту.

На её родине вышло два сборника стихов «Отчий дом» и «Оглянись на свой дом». В Жуковском поэзию М. Пермяковой тоже знают и даже поют, да и нельзя не петь, ведь не глухие мы, чтобы не слышать заветный смысл за внешней простотой.

* Жуковские вести. — 2001. — 18 апреля.

Каждый из нас на земле
Призван жить как благовестник.
Свыше дано было мне
Несть милосердные песни.

Литературно-музыкальному вечеру Маргариты Пермяковой ведущая Тамара Михайловская «нагадала» успех. Зал Школы искусств наполнился друзьями. И как много у Маргариты друзей, да ещё каких именитых: заслуженный артист России Вячеслав Кобзев, московский композитор Виктория Филатова и певица Любовь Анисова, заслуженная артистка России Ольга Линьковская, лауреат международных конкурсов Любовь Басурманова, дружественные коллективы «Жуковчанка», «Перезвоны», «Благовест». Немало стихов Маргариты Пермяковой положили на музыку одарённые люди, жуковчане. Поэтесса Лариса Никифоровна Захарова отдала должное «сестре по перу», сказав в стихах: «Нет, она не сочиняет, а в Поэзии живёт».

Большой удачей М. Пермяковой и композитора В. Филатовой стала премьера песни «Банька», душевно, по-русски широко, с огоньком исполненная Л. Анисовой.

От «Баньки» перешли к стихам о любви, греющим душу. И в который раз поразила подлинность высокой интонации стихов М. Пермяковой.



Вы мне на дальней стороне
Успех и счастье нагадали,
Но в затаённой глубине
Зачем печаль в глазах скрывали?

Вы уверяли: «Нет любви»,
Но рук моих не отпускали.
И, к трепетной прижав груди,
Безмолвно, нежно целовали.

С ходом времени бесконечного
притомилось, призадумалось
Слово вещее:
много хожено-перехожено,
много видано-перевидано,
много братьев-слов искорёжено
от нашествия чужеземщины...

Так вела рассказ девушка-гусяр. Потом Любовь Басурманова поведала о жизни этого музыкального произведения, о том, как оно родилось под влиянием стихов Пермяковой, как зазвучало во многих городах и залах. «Ваша любовь к слову, к русской земле настолько сильна, что люди не могут на неё



не откликнуться, — обратилась она к поэтессе. — В Барнауле после концерта ко мне подошла женщина и сказала: «Спасибо вам, что вы напомнили нам о том, что мы русские».

Во втором отделении концерта состоялось первое прочтение сказок М. Пермяковой «Целители» и «Настенька». Их мастерски «сказывала» Л. Д. Позднева. Герои сказок — сироты, вдовы, странники, убогие люди. Люди с нелёгкой судьбой — «слепой, глухой, хромой, да весь больной» — по милости Батюшки Небесного становятся святыми, целителями земли русской... «Желание слабого дороже золота» — основная мысль сказки «Настенька». Маргарита Осиповна как бы говорит нам: «Россия жива в этих людях. Каждой живой душе сияет свет доброты, свет, который и до слепого доходит».

2001 г.

Творчество М. О. Пермяковой

Книги

Отчий дом

Стихи / Центр. город. б-ка им. А. С. Пушкина, 1993. — 56 с.

Оглянись на свой дом

Стихи / Центр. город. б-ка им. А. С. Пушкина, 1993. — 92 с.

То же. — 3-е изд., перераб. и доп. / Центр. город. б-ка им. А. С. Пушкина, 2002. — 134 с.

Питомцы

Рассказы о животных. — М., Московский писатель. 2001. — 68 с.

Публикации в коллективных сборниках

Антология глухих поэтов России XX века

Сост. И. Исаев. — М.: «Загрой»,

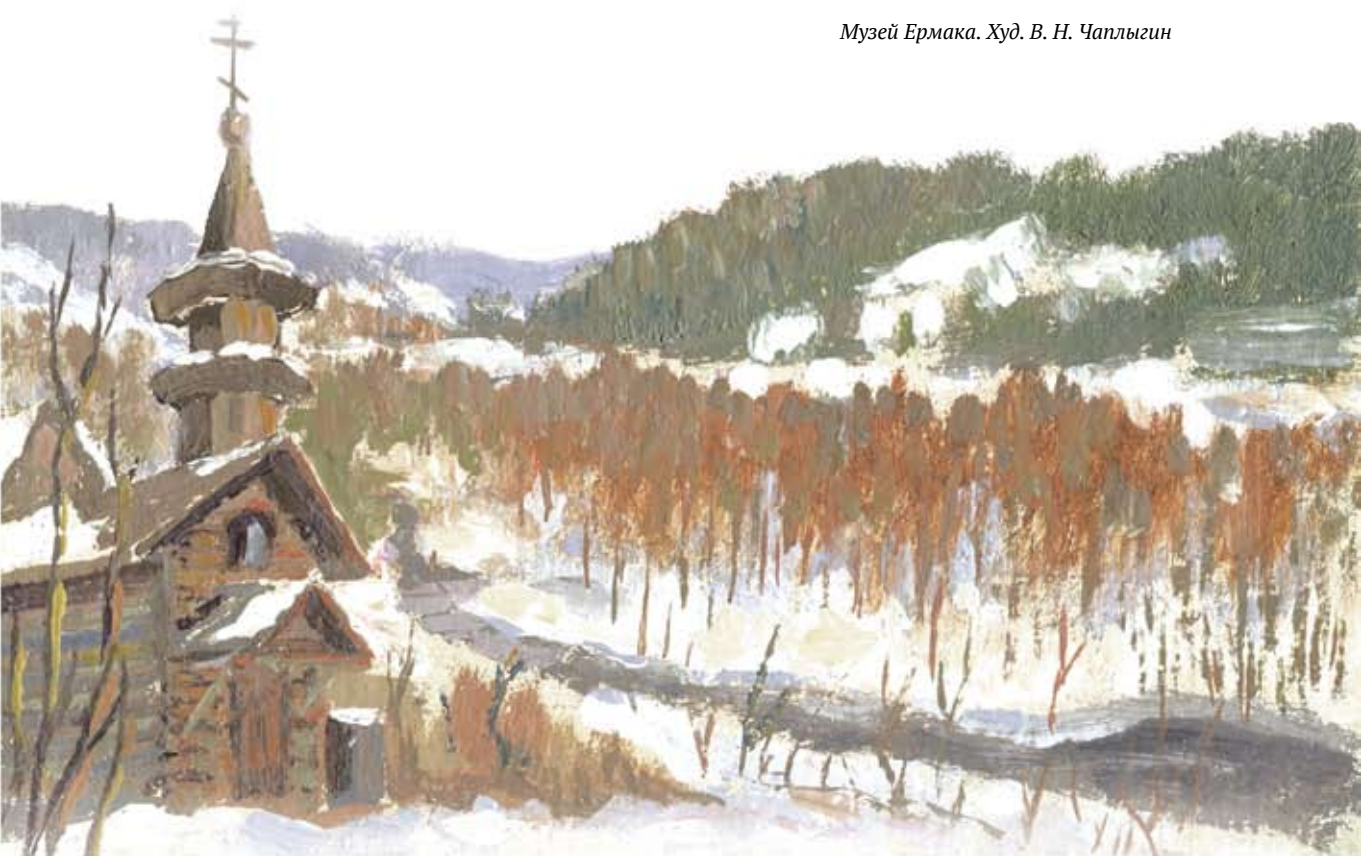
2000. — 258 с. М. Пермякова. — С. 214.

В сборник вошли стихотворения «Стал мой зенит похож на утро...» и «Сирень».

...Кто он — непонятно. Поэт? Слишком хорошо играет на гитаре и тексты чаще не декламирует, а поёт. Бард? Рокер? Спутать авторство невозможно, даже манера игры легко узнаваема с первых аккордов. Удивительное звуковое пространство — нечто большее, чем сочетание музыки и текста. Гитара Данского — самодостаточный оркестр, не нуждающийся в других инструментах.

Анатолий Обыдёнкин

Музей Ермака. Худ. В. Н. Чаплыгин



Григорий Геннадьевич Данской (Попов)

(р. 30.08.1971)

Член Союза российских писателей с 1998 года.

Данской (Попов) Григорий Геннадьевич — родился 30 августа 1971 года в городе Чусовом Пермской области. Живёт в Перми.

Окончил филологический факультет Пермского университета (1998 г.).

Лауреат ряда фестивалей авторской песни, в том числе Всероссийского фестиваля авторской песни «Московские окна» (1997 г.) и Международного фестиваля «Петербургский аккорд» (2004 г.). Победитель конкурса «Гамбургский счёт среди бардов» (Казань, «Айша-2003»).

Участник «Всемирного слёта бардов» 2003 года (Турция), 2005 года (Италия) и 2007 года (Испания).

Автор нескольких песенных альбомов, выпущенных на CD («Иные



широты», «Коммивояжёр», «На верхней боковой», «Провинция: альбом первый», «Провинция: альбом второй»), а также ряда стихотворных публикаций в литературной периодике и поэтических аналогиях.

Г. Данской публиковался в журналах «Урал», «Уральская ночь» и др.

Участник 2-го Московского международного фестиваля поэтов (2011 г.).

Первая книга поэта Г. Данского — «Концерт» (1995 г.) — вышла в городе Ноябрьске Тюменской области, вторая книга — «Зимний футбол» (1997 г.) — издана при содействии фонда «Юрятин» в Перми.

На сегодняшний день Г. Данской выступает с камерными сольными концертами в городах России и за её пределами.

Ермаковы дни

Моей матери

Посмотри: я — как ты, но сегодня лишь чуточку строже.
И крамольнее ветер в излучинах над Чусовой.
И Ермак поднимает с дремучей воды темнокожие дни,
летающие с неба сухой календарной листвою.
И крамольнее ветер, и сны собираются в стаи
и летят деревянными клиньями с юга на юг.
Только нам с тобой с ними нельзя, и они, улетаая, машут нам,
дуракам, вместо крыльев обрубками рук.
Мы с тобою, как двое слепых, как уставшие двое от избытка
любви или от недостатка тепла, от сосновой смолы
и от вечного в спину конвоя, от Урала,
где бродят астральные наши тела.
Всё равно не полюбит нас это кучумовое царство,
как не любит сегодня и как не любило всегда,
и в годах растворённые жалобы, страхи, мытарства
не оплатятся нам никогда, никогда, никогда.
...и Ермак поднимает с дремучей воды осторожно
Дни, летающие с неба сухой календарной листвою.
Как здесь выжить и не утонуть в этих страшных, острожных,
злых кучумовых чёрных глазах реки Чусовой!
И летающие дни, как и прочая дрянь, лишь потуги
невесёлого здешнего лета и, боюсь, не спасут.
И когда его, страшно весёлого, крепкие струги,
будто добрые женские руки на смерть понесут,
посмотри на меня: я такой же, лишь чуточку строже
и крамольнее ветра в излучинах над Чусовой.
...а Ермак всё такой же седой и живой всё такой же
На летающую воду глядит над своей головою.

Книги сами читают нас...

Книги сами читают нас.
Вот представь, ты даже не знаешь,
что по берегу идёшь сейчас —
будто волны листаешь.

На каком десятке утерян счёт,
человек, как правило, забывает.
А волна всё идёт, идёт,
и книга не убывает.

Как на полках, стоят тома
невыребованные, но живые —
не по-зимнему кучевые
облака, берега, дома

С видом на реку, кукареку
и четвёртым временем года,
вдруг по самое «не могу»
подкатившим... Они — природа,

Разлучающая нас с тобой,
оставляемая на росрани
и усиливающая свой прибой
в нашей памяти с расстоянием,

Что проделывает авто
по ноябрьской дорожной каше...
Я закутываюсь в пальто,
городской предвкушая кашель.



*Г. Данской на открытии памятника А. Грину
в этнографическом парке истории реки
Чусовой. Фото О. Л. Постниковой*

Ангелы на шариках

Ко временному бегу равнодушны,
не столько беззащитны, сколь смешны,
слетались ангелы на шариках воздушных
не потому, что были крыльев лишены.

Не потому, что время кончилось до срока,
И безвременья близится черёд,
не потому, что им настолько одиноко,
настолько, чтоб отправиться в полёт

на детских шариках цветных...

Вертявы, как щенки, и непослушны —
привычка вышних к жизни кочевой.
Слетались ангелы на шариках воздушных,
хоть я, признаться, сам не знаю, для чего.

Да вот беда — никто их не заметил.
И мир затянут был в трамвайное кольцо.
Лишь грязные, оборванные дети
Стреляли из рогаток им в лицо.

Не преступив заветного порога,
они, как тени, покидали нас.
Как ласточки, летящие от Бога,
чтоб к Богу возвратиться в нужный час

на детских шариках цветных...

Моцарт-минор

В осеннем дожде есть особый минор,
Какая-то моцартовская тоска
И чайная ложка сердечных октав.
Сто мелких обид и сто мелочных ссор,
Где острые квинты — проход по баскам,
Любовь и осенний отвар из отрав.
И Моцарт, плывущий по сонным дворам,
Есть в вымокших женщинах сумрачный Григ,
Есть в утреннем кофе — романтик Шопен,
Есть в звоне посуды биенье сердец,
Ведь старый Сальери есть новый Том Уэйтс.
И странная терпкость, странная странность
В седеющих клёнах, в желтеющих лужах,
В глазах Андромеды, хранящих туманность,
Есть странная странность, есть странная странность.

А Моцарт смеётся, а Моцарт влюблён:
«Дружище Сальери, дружище, дружи...
А скляночку яда, как губы её
Спишите на счёт окрылённой души».
И скрипка поёт за любовь, не за страх,
За серебро флейт и за трудную медь,
Житейский уют, трамвайный комфорт,
За то, что нам не суждено уцелеть.
И Моцарт плывёт в потонувших дворах,
И Моцарт влюблён, и Моцарт влюблён,
Но скрипка поёт, но скрипка поёт:
«За лаской любви всегда прячется смерть».

Когда-нибудь

Когда-нибудь,
когда-нибудь
на вербных замшевых ветвях,
в угарном воздухе весны,
на крыльях перелётных птиц,
на тонких пальчиках,
на цыпочках
четырнадцатилетних
у окна
под трескотню
упрямых бабушкиных спиц...

когда-нибудь,
когда-нибудь
на скрипках старых мастеров,
в стекле неоновых витрин,
на бальных платьях танцовщиц,
когда-нибудь,
когда-нибудь
застыв как в градуснике ртуть
мы обретём если не счастье,
то покой
когда-нибудь...

Зимний футбол

Шар чёрно-белый, делимый на трёх человек,
в сумерках ранних едва узнающих друг друга.
Падая в снег, шар похож на кружащийся уголь,
падая в небо, похож на взлетающий снег.

Маленьким трём игрокам дела нет до того,
что остальные фигуры покинули поле,
что бродят чёрные пешки и белые пони
в сером офсайде, как сумерки за боковой.

Им не увидеть, как поле ушло из-под ног,
как поднялось и собою окутало воздух.
Ими играет, как в шахматы, клетчатый козух —
самый азартный и, может быть, главный игрок.

Недолговечны спортивные ссоры, но здесь
пахнет бедою сильнее, чем тающим снегом.
Кружится шар, и послушные кружатся следом
два короля и жестокий, но маленький ферзь.

Успеть так много, Боже мой!..

В.В.В.


Успеть так много, Боже мой!
Подумать лишь, успеть родиться,
пробраться в мир путём,
каким —
известно только маме и, возможно, Богу,
Затем,
ещё питаюсь маминым теплом,
ловить наук сухие крошки;
учиться быть самостоятельным,
готовить
себе на утро новую беду;
учиться пить вино, кропать стишки,
из рук Поэзии принять ефрейторские лычки
и ...пуповину перегрызть, соединяющую с детством...
Уже умея плавать, научиться
плыть по течению,
нырять в житейский омут,
выныривать, чтоб ртом схватить блестящий леденец
рождественской звезды,
как воздуха глоток объёмом в три-четыре строчки,
и снова затаиться,
словно мышь в коробочке,
пропахшей нафталином,
и задохнуться
в подкатившей тесноте
четырёхугольного пространства;
заснуть,
вдыхая томный газ
воздухоплавательных кухонь;
проснуться на двенадцатом ударе сердца
коль не в новом веке,
то в году —
очередном,
хотя и новом,
той же самой жизни,
и осознав,
что исписался наконец,
достать блокнот и карандаш
и набросать от фонаря, как бы размазать
брызги света
по рваной четвертинке ночи:
«... Боже мой. Подумать лишь, успеть родиться...».

Повесть

Есть ли повесть,
чтоб вместила целый свет?
В мире всё есть,
а тебя со мною нет.
Есть долины,
есть чудесные места —
путь не длинный
от рожденья до креста.
Что успею,
вешним ветром подышать?
Что посею,
то другие выйдут жать.
Я не сильный,
я что тернии в степи —
принеси мне,
ангел, весть и укрепи.
Укрепи мя
и настави мя в пути,
чтоб во имя
Слова шёл я во плоти.
Шёл я пашней...
Пустырями брёл во мгле.
Всяких шашней
избегал я на земле.
Как лазутчик,
миновал добро и зло.
Я везучий.
И с тобой мне повезло.

Отчего же
мне так тяжко в этот час?
Святый Боже,
что темно глядишь на нас?
Что пророчишь?
Хочешь выволить из пут,
правды хочешь?
Здесь об этом не поют...
Есть ли повесть,
чтоб вместила целый свет?
В мире всё есть.
А про нас с тобою — нет.
Есть долины.
Есть чудесные места...
Путь не длинный
от рожденья до креста.

Рядом с Мастером



...И ещё этот город отличала непобедимая тяга к чтению и сочинительству. И всегда в этот город заезжали (или судьбой их заносило) интересные люди, чудики, непризнанные гении...

В. П. Астафьев

Виктор Александрович Белугин

(род. в 1926)

Прозаик



Родился в 1926 году в Московской области в семье лесобъездчика. Учился в Рузской средней школе. Семнадцати лет ушёл на фронт Великой Отечественной войны.

После войны окончил военно-политехническое училище, работал журналистом на Тихоокеанском флоте.

Демобилизовавшись, приехал в Чусовой. Здесь работал долгое время на металлургическом заводе в качестве машиниста завалочной машины в мартеновском цехе.

Виктор Александрович Белугин — член литературного кружка при газете «Чусовской рабочий», куда входил и В. П. Астафьев.

Склонность к литературным занятиям появилась у Белугина в юности. Первым произведением, появившимся в свет отдельной книгой в 1959 году, была повесть «Родная стихия». Затем вышли в свет повести «Борьба продолжается» и «Свободы час».

Очерки и рассказы печатались в альманахе «Прикамье». Повесть «Вынужденная посадка» издана в Пермском книжном издательстве в 1963 году.

Позднее В. А. Белугин жил в городах Чехов Московской области и в Москве. Работал редактором в издательстве «Современник».

Родная стихия*

повесть

(в сокращении)

...Устроить Мадонова на завод Петровичу не стоило большого труда. С мнением его считались и начальники цеха, и сам директор завода. Молодые грамотные рабочие на производстве всегда были необходимы. Но у Петровича были и свои расчёты. Рассказывая Мадонову о заводской жизни, он довёл парня до того, что тот стал чуть не со слезами молить Петровича похлопотать за него.

Делал это Петрович не для того, чтобы набить себе цену, а из соображений, как он выражался, «высшего порядка». Тяжело и мучительно начинал он сам трудовую жизнь. Сколько обид, унижений, несправедливостей пришлось перенести, прежде чем взял он в руки железную ложку сталевара. Не забывалось это и теперь, сорок лет спустя. Потому и старался Петрович, чтобы заводская молодёжь сердцем почувствовала ответственность доверенной ей работы и берегла доброе имя рабочего человека...

Металл становился всё жиже. Он уже не всплёскивался тяжёлыми фонтанами, а слабо волновался, забился мелкими волнами. Мадонов же всё поднимал температуру. «Ничего, ничего, не подожгу», — успокаивал он себя, следя за тем, как сухие волны знойным маревом лижут свод, превращая его в ослепительный, серебристо-белый купол. Кажется, вот-вот расплавятся, потянутся сосульками кирпичи. Нет, этого он не допустит. Какое-то новое чувство, которому нигде не научишься, но которое может перейти от таких умельцев, как Петрович, руководило сейчас Мадоновым. Он знал, что это чувство не обманет его. Он будет стоять, как хозяин, как командир над всей этой раскалённой массой, над огненной стихией, заключённой в огнеупорных стенах...

Из круглого отверстия, пробитого в головке печи, бьёт яркий слепящий свет, отчего напряжённое лицо Мадонова кажется раскалённым. Он стоит на металлической подвесной решётке широко расставив ноги. В руках у него длинная железная труба, соединённая с толстым шлангом. Он энер-

* Белугин В. А. «Родная стихия»: повесть. — Перм. кн. изд-во, 1959. — 193 с.

гично ворочает ею в газовом пролёте и, когда она упирается в бугристое кирпичное дно, кричит хриплым от натуги голосом:

— Давай воздух!

Ваня Слезко, который дежурит у воздушной магистрали, мгновенно поворачивает рукоятку. Раздаётся резкий свистящий звук. Труба в руках Мадонова мелко подрагивает. Он напирет на неё грудью. Целые каскады искр осыпают его сукодную куртку, тлеют на полях войлочной шляпы, ударяются в защитные очки...

Лето — самая трудная пора для сталеплавильщиков — началось с сухих, знойных дней. Температура в тени держалась на тридцати градусах. В мартене день и ночь мощные вентиляторы освежали воздух. Широкие раструбы хитроумных охлаждающих систем торчали в самых жарких местах. Искусственные сквозняки, которые создавались ими, метались в железной тесноте цеха. Но плавильный жар был сильнее всех человеческих ухищрений. Раскалённый воздух зыбился в разобранных пролётах крыши, сквозняки превращались в обжигающие суховеи — голой рукой ни до чего не дотронешься, а сверху, с электрокранов, горячими каплями стекал расплавившийся солидол. Водоноски не успевали наполнять ключевой водой обложенные льдом бачки.

Трудно работать в такое время. Ещё труднее в непрерывном чередовании плавок подумать о своём личном — впору добраться до постели и уснуть мёртвым сном. А Мадонов наперекор всему нет-нет да и вспомнит карие глаза с прямыми иглами ресниц, вспомнит и задумается...

Сборы были недолгими. И вот уже гулко стучат колёса, мерно раскачивается вагон, а за окном в вечернем тумане плывут решётчатые фермы моста. Мадонов высунул голову, прощаясь с высокими трубами своего цеха, едва видимыми из-за пузатой водокачки. В душе у него было какое-то неопределённое томление. Настроение было такое, что он не знал, то ли надо радоваться, что он едет в отпуск в Москву к сестре, от которой недавно получил письмо с приглашением приезжать, то ли сожалеть, что оторвали от работы в самое интересное время. Да и Валя...

Наутро Мадонов с Михаилом Марковичем поехали на завод. Они прошли чистую красивую проходную, и Мадонов не сразу понял, что они уже на территории завода. Всё, что он видел вокруг, никак не вязалось с установившимся представлением о заводе. Они шли по прямой асфальтированной дорожке, а вокруг, как в парке, росли деревья и пестрели цветами огорожен-

ные газоны. Только в конце густой липовой аллеи Мадонов увидел первый корпус. Не скрывая восхищения, он сказал:

— У вас тут не завод, а дом отдыха.

Действительно, трудно было поверить, что в этом парке укрылся гигантский завод. Не было слышно обычного грохота, к которому Мадонов привык у себя, не раздавалось даже паровозных гудков, и только деревья шумели густыми вершинами...

Мадонов вступил под крышу цеха с благоговейным чувством. Он шёл медленно, как в музее, с интересом рассматривая всё, что встречалось на пути. Прежде всего он отметил огромные по сравнению с их старым мартемом размеры сталеплавильного цеха. За плечами тянулся длинный пролёт с высокой крышей. Мощные электрокраны, мягко гудя моторами, медленно и важно проплывали над специальными железнодорожными платформами, на которых стояли чугунные изложницы. Воздух был свежий. Жара, которая особенно сильно томит мартемовцев в летнее время, здесь почти не чувствовалась. Слева от себя Мадонов увидел железный мостик, заканчивающийся ступенями, и стал подниматься по нему к печам. Ещё ни одного человека не встретилось ему на пути. Казалось, здесь никто не работает.

Около печей Мадонову понравилось ещё больше. Рабочая площадка была раз в пять больше, чем у них в мартене, и походила на ровную широченную дорогу. Завалочные машины — Мадонов насчитал их пять — казались в этом огромном пространстве игрушечными и уж, конечно, не могли зацепить хоботом за колонну или печную заслонку. «Вот бы где поработать!» — подумал Мадонов.

Он попросил показать, где находится начальник цеха, и направился к будке, которая стояла в стороне. Не успел он открыть стеклянную дверь, как навстречу поднялся Матвей Иванович. Он громко заговорил:

— Проходи, проходи! Это тот самый уральский сталевар, — сказал он высокому мужчине, у которого глаза, брови и ресницы были настолько густы и черны, что издали Мадонову показалось, будто он носит дымчатые очки. Мужчина тоже пожал Мадонову руку.

— Это наш начальник цеха Фёдор Максимович, — представил Матвей Иванович. — А ты почему долго не приходил? Адрес потерял, что ли? Как завод-то нашёл?

— У меня здесь родственник оказался.

— Кто такой? — спросил начальник цеха.

— Михаил Маркович. Он у вас бухгалтером работает.

— Мне о вас рассказывал обер-мастер, — сказал Фёдор Максимович. — Значит, вы у себя уже испытывали метод Егорова?

— Начинали, да не кончили. Егоров и сейчас у нас на заводе. Меня шлаком обварило, и плавки пришлось приостановить. Вот вернусь из отпуска...

— Пойдёмте поговорим.

Они пришли в большое, чисто выбеленное помещение с несколькими столами и множеством телефонов. «Это, наверное, у них диспетчерская», — подумал Мадонов.

— Как вы сейчас себя чувствуете? — спросил начальник цеха и предложил Мадонову стул около большого стола, за который сел сам.

— Сейчас хорошо.

Фёдор Максимович поинтересовался, как на Урале готовились первые опытные плавки, на что больше всего обращалось внимания, как ведёт себя печь во время дутья.

— У нас волынки много было, — сказал Мадонов. — То одно, то другое. Цех-то ведь старый. Если бы вот такой был! — Мадонов посмотрел сквозь застеклённую перегородку на широкую печную площадку.

— Значит, понравилось у нас? — спросил Матвей Иванович.

— Ещё бы! Если бы у нас так было, я и в отпуск не пошёл бы. У нас жара, к печке мне нельзя было подходить. Ожог болел. А у вас курорт, а не работа.

— Ну, курорт, не курорт, а по возможности стараемся улучшать условия труда. Заметили, наверно, как мы завод озеленили?

— Да, замечательно! Но только больше всего мне сам цех нравится. Очень уж здорово, не то что у нас.

И Мадонов начал рассказывать о своём цехе. Увлёкшись, однако, совсем забыл о его недостатках, целиком отдавшись рассказу о новом методе. Постороннему человеку рассказ показался бы скучным: плавление, шлак, углерод — всё непонятные и трудные слова. Но москвичи слушали Мадонова с большим вниманием.

— Вот, Николай Васильевич, — обратился к Мадонову начальник цеха. — Мы хотим попросить вас поделиться опытом с нашими сталеварами. Вы первый проводили плавку с кислородным дутьём, а мы только начинаем. Хотелось бы с опытом уральцев познакомиться, тем более, что собираемся начать свои опыты.

— А когда они у вас начнутся?

— Примерно через недельку.

— Я бы с радостью, только ведь у меня отпуск к концу идёт.

— Ну, об этом не беспокойтесь. Министерство у нас под боком. Попросим, так продлят отпуск.

— Это сделаем, уж будь уверен, — вставил Матвей Иванович.

— Я не против, только вот как получится. У нас ведь неудачи были. — Мадонову не хотелось распространяться обо всех трудностях, которые возникали на старом мартене.

— Вместе будем работать, — успокоил его Матвей Иванович.

— Так я позвоню, чтобы вам выдали пропуск. Хорошо бы, если бы вы приходили каждый день, ну хоть часика на два. Много-то не заставим, мы ведь понимаем, что вам отдыхать надо.

— Да я уже отдохнул.

— Ну вот и отлично!...

Мысль Мадонова работала напряжённо и отчётливо. Как только он стал к печи рядом с московским сталеваром Кузьминым, как только он надел толстые рукавицы и спецовку, так сразу тревога и сомнения уступили место новому нарастающему чувству, той душевной приподнятости и дерзкой отваге, которые он постоянно испытывал на море во время шторма. И так же, как тогда, он верил сейчас, что победа будет на стороне людей, борющихся со стихией, на его стороне. Здесь тоже была стихия, но только более сложная и более грозная, обладающая и подвижностью воды, и испепеляющей силой грозового разряда. И он, сталевар Мадонов, должен подчинить эту стихию своей воле.

Вот уже целую неделю он ежедневно приходит сюда, в огромный сталеплавильный цех, мерцающий неугасимыми огнями печей, и работает до самого гудка...

...Вторую неделю на Урале шли дожди. С гор неслись стремительные ручьи, они пересекали городские улицы и, добежав до реки, вливались в неё. Целую неделю не было солнца. Таков был и сегодняшний день, ещё утром на вокзале встретивший Мадонова сырым, тягучим туманом...

...Душевной искрой, которую подметил в Мадонове ещё старый Петрович, был тот постоянный неистощимый энтузиазм, с каким относился сталевар к своему делу. Никто не слышал, чтобы Мадонов когда-нибудь жаловался на усталость, никто не видел его праздно сидящим в стороне в ожидании, когда придёт время брать пробу. Он весь, казалось, вместе с металлом кипел и бурлил, ни на минуту не отходя от печи...

...В каждом деле бывает момент, решающий: успех или провал. В работе сталеплавильщиков таким моментом является выпуск стали. Это самый ответственный и самый торжественный момент — период плавки. Его можно сравнить с работой хирурга. Пока металл плавится в печи, за ним неусыпно наблюдают, как за тяжелобольным. Измеряется температура, вводятся различные лекарства в виде раскислителей и лигирующих элементов, стоят наготове посуда, инструменты. И вот наступает минута, когда мастер подаёт команду и первый подручный сталевара, выступающий здесь в роли ассистента хирурга, берёт в руки острую стальную пику. Осторожно начинается разделывание выпускного отверстия. Так же, как

хирургу, здесь нельзя медлить и нельзя спешить, а нужно всё сделать точно и вовремя. И так же, как хирург во время операции следит за состоянием оперируемого, так за состоянием плавки следит сталевар и мастер. И чем сложнее операция, тем более опытному хирургу она поручается. Так и здесь. В критический момент мастер сам надевает рукавицы и, как к больному, наклоняется к выпускному отверстию. И в обоих случаях борьба идёт за жизнь! Будет ли человек жить после операции или нет и уйдёт ли в большую и долгую жизнь новая сталь или испорченный и забракованный металл снова пойдёт в мартеновскую печь на переплавку.

Не случайно поэтому даже такой опытный хирург, как Илья Петрович Пахомов, сваривший на своём веку тысячи плавок, волновался и радовался как школьник всякий раз, как огненная река с шумом взрывалась из выпускного отверстия.

Как же должен был переживать этот момент Мадонов, для которого каждая плавка была новым элементом, новой проверкой его неутомимых исканий.

И вот она, награда! Свежая сверкающая сталь. Сейчас она до краёв наполняет ковши, а через месяц уже будет стройными мачтами высоковольтных передач, перекинется через реку огромной фермой моста, встанет прочным каркасом нового здания.

Мадонов замечтался, глядя на пузатый ковш, медленно плывущий вдоль наполненных изложниц.

— Поздравляю, Николай Васильевич, — Волокитин протягивал ему руку. — Четыре часа двадцать минут, и сталь что надо! Сейчас лаборатория сообщила анализ.

Мадонов устало улыбался. Он не думал о том, что это первая в истории цеха плавка, сваренная за такой рекордный срок...

Творчество В. А. Белугина

Родная стихия

Повесть. – Перм. кн. изд-во, 1959.

Борьба продолжается

Повесть. – М.: Профиздат, 1960.

Свободы час

Повесть. – Перм. кн. изд-во, 1961.

То же. – Перм. кн. изд-во, 1981.

Вынужденная посадка

Повесть о молодых специалистах. –

Перм. кн. изд-во, 1963.

Дорога за горизонт

Перм. кн. изд-во, 1966.

Радуга — дочь солнца

Повести, рассказы. – М.: Современник, 1977.

Соколы прилетают с востока

Повести – М.: Современник, 1981.

«...Между прочим, открыли мы нового автора — Белугина. Люди читали его повести и называли талантливым. Вчера и я прочёл её, и тоже присоединяюсь к его мнению. Парень одарённый. Работает он крановщиком в мартеновском цехе, бывший моряк. Сейчас у нас начал работать литкружок, и мы эту повесть Белугина будем обсуждать. После чего, очевидно, он её доработает и мы её отправим в Союз (имеется ввиду Пермское отделение СП СССР. — **Сост.**). Ещё этот автор работает над повестью из жизни людей завода, так что он заслуживает внимания и писательской организации, и издательства. Поговори о нём с Людмилой Сергеевной (Римской. — **Сост.**) и с Клавдией Васильевной (Рождественской. — **Сост.**), покажи наш разворот и напиши, когда нужно будет выслать повесть Белугина, чтобы её обсудили в издательстве. Она небольшая, всего 73 страницы...».

Из письма В. П. Астафьева В. А. Черненко*,
6 июня 1953 г., г. Чусовой

* Астафьев В. П. «Нет мне ответа...». Эпистолярный дневник 1952-2001/ сост. Г. Сапронов; худож. С. Эляян. — 2-е изд., доп. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. — С. 13.

Сергей Николаевич Балахонов

(1924–2003)

Поэт, писатель, журналист



Родился 4 октября 1924 года в селе Вереино Чусовского района.

Воевал в Великую Отечественную войну на 1-м Украинском фронте в составе 20-й мотострелковой бригады 25-го танкового корпуса, был ранен, имеет награды. Демобилизовавшись, окончил при дорожно-технической школе Чусовского отделения Пермской железной дороги курсы машиниста электровоза. Закончил Высшую партшколу при ЦК КПСС, работал в газетах «Чусовской рабочий», «Лесная промышленность», «Черноморская заря», в редакции Пермского областного радио.

29 марта 1949 года в газете Пермской железной дороги «Сталинская путёвка» было напечатано первое стихотворение «Душа машиниста», затем были напечатаны стихотворения «Родина», «22 июня».

В 1950 году принят на должность литработника в редакцию газеты «Чусовской рабочий», в которой в дальнейшем были напечатаны несколько фельетонов и корреспонденций.

Член Союза журналистов с 1961 года, лауреат областной премии им. А. Гайдара.

В 1964 году вышла его документальная книга «Тропы ведут к дороге» (Литературная Пермь. — 2000. — №2) о жителях Перми М. Г. и Н. К. Каштановых, которые во время Великой Отечественной войны сражались с немецко-фашистскими захватчиками в составе Пинского партизанского соединения. Повесть была одобрена В. П. Астафьевым.

Умер С. Н. Балахонов в 2003 году в Перми.

Путеобходчик*

Путевого обходчика будка,
Под окошком черёмухи в ряд.
Голубым огоньком незабудка
Расцвела в борозде между
гряд.

Тишина. Неба высь.
И без края
Молчаливый задумчивый лес,
Лишь пройдёт грузовой,
громыхая,

Да стрелой промчится экспресс.
Прозвенит, прогремит,
над тайгою.

Паровозный задорный
свисток,
И обходчик привычной рукою
Спрячет жёлтый
сигнальный флажок.
Незаметная вроде работа —
Подбивать и менять
костыли —
О хозяйстве народном
заботясь,

Он идёт, как хозяин земли.
И всегда, даже в мрак
полуночный,
Он на бровке с сигналом
стоит —

«Путевой!» — называет
помощник,
«Путевой!» — машинист
говорит.

Значит, следуй уверенно,
смело,

Если надо, и скорость удвой,
Раз огонь фонаря его белый
Путеводной сияет звездой.

* Чусовской рабочий. — 1953. — 5 июля.

Душа машиниста*

Встречный ветер мне лицо ласкает
И о том, что видел, мне поёт...
Лентой вдаль дорога убегает,
Радует, волнует и зовёт.

Рассекая воздух, поезд мчится
И гудит под рельсами земля.
Крыльев нет, но это тоже птица
Из металла, нефти и угля.

Широко раскинулись просторы,
Необъятный и богатый край!
Всюду нас встречают светофоры:
«Путь свободен! Скорость не теряй!».

Хлебом наполняются вагоны,
Тканями, машинами, рудой,
И летят, сменяясь перегоны
Неразрывной длинной чередой.

Я горжусь, и как мне не гордиться —
Счастье я великое обрёл:
На себя, на свой народ трудиться
Для расцвета городов и сёл.

В первой шеренге**

Рассказ
(в сокращении)

...Красный уголок празднично украшен. На стенах — портреты руководителей партии и правительства, плакаты. Под ними — диаграммы, тексты социалистических обязательств. Если бы не плотно, по всем правилам светомаскировки, задрапированные окна, честное слово, никто бы не сказал, что дело происходило во время войны, что люди, которые собрались сюда, только что полсуток отработали у станков.

На возвышении, за столом, накрытым алой скатертью, — президиум. Левин узнал знаменитую на весь завод Лидию Губину — она сидит подле директора, который что-то вполголоса говорит секретарю партийного комитета. По левую руку от неё — Михаил Фёдорович Ермаков. Осунувшееся лицо слесаря торжественно-сурово, взгляд устремлён в глубь тесного зала, где не замолкает сдержанный шёпот.

На трибуне председатель заводского жюри, специально созданного для подведения итогов соревнования комсомольско-молодёжных бригад.

* Сталинская путёвка. — 1949. — 29 марта.

** Мы — молодая гвардия: очерки из истории Пермского Комсомола / сост. Ю. Н. Вахлаков. — Перм. кн. изд-во, 1958. — С. 138-149.

Поминутно снимая очки и снова водружая их на нос, он докладывает о проделанной работе.

И вдруг Левин насторожился.

— ...За последнее время отличилась краснознамённая комсомольская организация инструментального цеха, — ровным голосом говорит докладчик, но Абраму показалось, что сказал он неестественно громко, что его слышно, наверное, на улице. — Двадцать шесть комсомольцев, — продолжал председатель жюри, — выполнили месячное задание на семь дней раньше срока. По условиям соревнования, лучшей бригаде, возглавляемой комсомольцем Абрамом Левиным, присваивается звание фронтовой...

Кто-то ткнул в бок. Абрам обернулся и увидел счастливые глаза Маршида Исмагилова. Стараясь перекрыть аплодисменты, тот радостно кричал:

— Слышишь, бригадир? Это про нас, слышишь?

Левин кивнул и снова стал смотреть вперёд, туда, где сидел президиум. Люди за столом аплодировали. Особенно старался Ермаков. Их взгляды встретились, и Левин заметил, как губы его учителя сложились в одобрительную улыбку.

Потом докладчик что-то говорил ещё, но слова его уже не доходили до сознания. В голове теснилась одна мысль: их бригада — фронтовая. Сколькими усилиями досталось это почётное звание!

Разве легко было, работая по двенадцать часов в сутки, не зная выходных, ежедневно выполнять программу на полтора процента? Молодые слесари не допускали простоев, изжили брак, вели в цехе громкие читки газет, посещали занятия по техминимуму. А когда комсомольцам давали срочное задание, известное на заводе под «аварийным номером», тогда они забывали, что такое усталость, отдых, не отходили от верстаков по 16–18 часов...

Звание фронтовых было присвоено ещё нескольким бригадам.

Затем начался концерт художественной самодеятельности. Любители состязались в мастерстве. За хором выступили чтецы; два паренька, лихо заломив бескозырки, сплясали матросское «яблочко». Их сменила станочница из механического цеха. Под аккомпанемент баяна она исполнила русские частушки. Зрители не жалели ладоней.

В заключение самодеятельный коллектив запел ставшую гимном песню: «Вставай, страна огромная!..».

В зале притихли, покорённые величавой мелодией. Песня напомнила о горе, принесённом войной, звала к мести, к подвигу. Сколько раз слышал её Левин раньше, и всегда испытывал чувство небывалого подъёма — хотелось совершить что-то большое, чтобы всем людям жилось хорошо и счастливо.

— Абрам, а ведь завтра я уезжаю, — неожиданно сказал сидевший рядом Горбунцов.

— Куда? — удивился Левин.

— В лётную школу. Всё улажено.

- Что ж ты молчал?
- Думал, смеяться будешь.
- Ну и дурак после этого.

Левин даже расстроился: тоже, называется, друг. Потихоньку собирается удрать на фронт, даже в известность не ставит. Сначала добровольно уехали в армию Валька Овчинников и Сашка Егошин, теперь следом за ними Борис... Нет, с бригадой ему положительно не везёт!

— Что ж, поздравляю, — пожал он руку товарища. — Не забывай нас, держи честь бригады.

А песня росла и крепла. Сейчас её подхватил весь зал...

Левина вызвал начальник цеха. Когда бригадир пришёл, то устало поднял отяжелевшую от постоянного недосыпа голову, озабоченно произнёс:

— Звонили из сборочного. Просят помочь людьми, как у тебя орлы?

— Ребята хоть куда. Полторы нормы сегодня дадим обязательно. Вот, например...

— Верю, Абрам Захарович. Большому кораблю — большое и плавание. Отберите самых выносливых и после окончания смены — на сборку. Ясно?

— Ясно, — коротко ответил комсомолец.

Известие о том, что, возможно, до поздней ночи надо будет работать в сборочном цехе, молодые инструментальщики встретили с энтузиазмом.

— Пойдут желающие, — предупредил Левин. — Завтра с утра снова вставать к своим верстакам.

Желающими оказались все члены бригады.

В сборочном им указали место у конвейера, объясняли, что и как делать...

Вначале обязанности казались нетрудными, и некоторые даже шутили, что согласны хоть каждый день приходить сюда, чтобы «размяться» после напряжённой, требующей большого внимания и усидчивости работы по изготовлению мерительных инструментов. Но скоро шутки слышались всё реже. В пятиминутные паузы, когда конвейер останавливался, ребята, то один, то другой, устало приваливались к стенке.

Левин работал вместе со всеми. Он бойко орудовал ключом, подбадривая тех, кто, по его мнению, действовал недостаточно быстро.

— Выше головы, ребята! — говорил он. — Ведь мы с вами фронтовики.

А стрелки на часах неумолимо приближались к полночи, лента конвейера мерно ползла и ползла, и бригадир всё чаще ловил себя на том, что детали начинают расплываться в глазах...

В следующую паузу к нему подошёл мастер.

— Как настроение? — ещё издали крикнул он. — С непривычки-то жарковато, наверное?

— Да ничего, скучать не приходится, — отозвался Левин.

— Я того же мнения, — усмехнулся мастер. — Подзашились мы. Но к утру, очевидно, войдём в график. Спасибо за помощь. Продукцию нашу кое-где ждут, сам понимаешь. А сейчас можете идти по домам — управимся как-нибудь.

— Нет, мы останемся до конца, — возразил Абрам. — Не уйдём отсюда, пока всё не сделаем. Верно, товарищи? — обратился он к своим.

Его поддержали.

Мастер повеселел и распорядился включить конвейер.

И опять бесконечное движение ленты, опять тихое позвякивание металла о металл...

Работа была закончена к шести утра. Когда инструментальщики вышли на улицу, на восточной части неба разливалось розовое зарево — на пороге стоял новый трудовой день.

...Перед самым Октябрьским праздником на завод с фронта пришло письмо от комсомольца Ожгибесова — одного из добровольцев, ушедших в армию в первые месяцы 1942 года. Письмо было напечатано в «Дзержинце», и его читали во всех цехах.

«Прошло больше семи месяцев, как мы покинули стены родного цеха и уехали защищать Родину, — писал воин. — Труд наш тяжёл, мы это знаем, и гордимся тем, что являемся воспитанниками вашего завода. Вы с нами — в первой шеренге. От имени своих товарищей по оружию шлю горячую благодарность за отличную продукцию, с которой мы бьём фашистских гадов в хвост и в гриву.

Товарищи комсомольцы, прочитав это письмо, вспомните нас — частицу вашей организации. Пусть в ваших жилах закипит кровь от ненависти к врагу за всё, что он принёс на советскую землю, — за разгромленные города и спалённые деревни, за тысячи замученных стариков, женщин и детей, за убитых в боях друзей и товарищей. За нас не беспокойтесь — мы не подведём, мы помним своё слово, которое дали при отъезде на фронт. А слово наше твёрдое — уральское».

И хотя взволнованные строки солдатского письма не были непосредственно адресованы ни к кому из молодых рабочих завода, тем не менее, каждый принимал их близко к сердцу, как самую дорогую похвалу за свой труд, как призыв работать ещё упорнее и больше.

Так восприняли его и в бригаде Абрама Левина.

Колыхнув тюлевую штору, майский ветерок врывается в комнату. Он приносит с собой острый запах тополей и черёмухи, и человек, работавший до этого за столом, подходит к распахнутому окну, за которым бушует весна.

— Мама зовёт кушать, — слышит он позади себя голос. — Ну, иди же, папа.

— Иду, доченька, — отвечает наш знакомый Абрам Захарович Левин.

Он по-прежнему трудится на заводе имени Дзержинского, который снова выпускает мирную продукцию — молочные сепараторы, мотопилы и многое другое. Абрам Захарович — мастер инструментального цеха, учащийся вечернего техникума. Нелегко сочетать учебу с работой на производстве, но коммунисту Левину к трудностям не привыкать. В самые тяжёлые минуты, когда порой хочется отложить в сторону конспекты и учебники, ему невольно вспоминаются военные будни. Славную страницу в историю своего завода вписали тогда комсомольцы. К маю 1945 года на предприятии насчитывалось уже 333 комсомольско-молодёжные бригады, 248 из которых завоевали право называться фронтовыми. Вместе с Лидией Губиной Абрам Захарович ездил в Москву на совещание фронтовых бригад, был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ...

Да, вчерашняя молодёжь выросла, возмужала. Но все они, куда бы их ни забросила жизнь, сберегли тот комсомольский огонёк, с которым когда-то трудились в составе фронтовых бригад.

Сохранили его и члены бригады Левина. Борис Горбунцов, например, является офицером Советской Армии, готовится к поступлению в военную академию. Борис Пестов после войны закончил ленинградский институт и теперь работает на родном заводе начальником инструментального отдела. Там же, на заводе, трудятся Виталий Головёнкин и Маршид Исмагилов.

По-разному сложились их судьбы, но всех объединяет одно — любовь к Родине, которую они помогали отстаивать своим героическим трудом. И эта любовь — родник, из которого берут начало наши победы.

Иван Тимофеевич Реутов

(1898–1960)



Иван Реутов родился в 1898 году в семье железнодорожного машиниста в посёлке при станции Чусовская Пермской железной дороги. В 1916 году восемнадцатилетним юношей он, окончив Пермское техническое железнодорожное училище, поступает на Чусовской металлургический завод и работает там токарем до конца 1917 года, до вступления в ряды Красной гвардии, откуда в 1918 году переходит в Красную Армию.

Будучи начальником конной разведки 37-го стрелкового полка, он принимает участие в борьбе против Колчака. После демобилизации Реутов учится. Став инженером-строителем, работает в Свердловской и Пермской областях пока не пришла пора снова взяться за винтовку.

В 1949 году он уходит в отставку по болезни, со званием инженер-майора возвращается в свой родной город Чусовой и принимается за литературную работу сам и концентрирует вокруг себя все литературные силы города. Образно говоря, под его широким крылом оперились почти все, потом ставшие известными, писатели и поэты Чусового.

В 1951 году он начинает печататься, первый его рассказ появился в альманахе «Прикамье», в 1954 году Реутов выступает на его страницах с романом «На уральской реке», написанным по материалам истории Чусовского завода. После значительной обработки автором, под названием «Уральский вклад», роман выходит отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия».

До самых последних дней жизни Иван Тимофеевич активно сотрудничает с редакциями газет «Чусовской рабочий» и «Металлург», ведёт большую общественно-политическую работу.

Умер писатель 3 июля 1960 года, похоронен в Чусовом.

Не сломили*

Рассказ

Утомлённые непрерывными боями, голодные, мучаясь от холода, бойцы 21-го Мусульманского полка, отряды тагильских металлургов, екатеринбургских железнодорожников, бойцы Крестьянского полка и отряд чусовских рабочих зацепились за последний рубеж, чтобы дать возможность отправить все составы со станции Чусовская. Одним за другим уходили эшелоны, гружённые имуществом завода, машинами, деталями, материалом, имуществом железнодорожного узла и жителями, которые не хотели оставаться у Колчака.

Вот, кажется, отправлен в сторону Перми последний эшелон. С облегчением вздохнули товарищи, руководящие эвакуацией, когда состав прошёл по железнодорожному мосту и скрылся в выемке, а потом дал прощальный свисток за Камасино. И вдруг... состав снова показался на железнодорожном мосту через Чусовую.

— Беляки отрезали путь на Пермь. Они уже заняли Калино... — доложил начальник эшелона.

Для отступления оставался один путь — на Кизел. На станции началась перестрелка. Не успел состав дойти до разъезда, а Чусовской завод уже был занят белыми. Над посёлком повисла жуткая тишина...

* Мы — молодая гвардия: очерки из истории Пермского Комсомола / сост. Ю. Н. Вахлаков. — Перм. кн. изд-во, 1958. — С. 30-41.

— Нужно пройти в сторону реки Чусовой, а потом разведать путь на Пермь, — приказал командир Лысьвенского полка. — Тарбеев, назначаю тебя старшим.

— Есть быть старшим! — лихо отозвался высокий, молодой, с поседевшим от мороза чубом, боец. — Братва, слушай мою команду!..

— Постой, постой! — остановил Тарбеева командир. — Не торопись в пекло раньше батьки. — И он стал показывать по карте куда идти, объяснил, какие меры принимать при встрече с противником.

Выйдя на реку, бойцы узнали, что путь на Пермь отрезан — Чусовские Городки заняты белыми. Решили вернуться, догнать своих, но наткнулись на крупное подразделение колчаковцев.

Только двоим удалось было вырваться из кольца — Тарбееву и девятнадцатилетнему Петру Волошину. Когда погибли все товарищи, Тарбеев процедил сквозь зубы:

— Выбегай, я прикрою!

Волошин проскочил к опушке, и густеющая темнота надвигавшегося вечера скрыла его. Александр приподнялся, бросил последнюю гранату и кинулся за Петром.

Но недалеко ушёл молодой товарищ Тарбеева: срезала шальная пуля паренька.

— Эх, гады! — с болью выдавил Тарбеев и опустился рядом с другом, с которым в течение двух месяцев непрерывных боёв делил последний кусок хлеба. Потом достал его документы, бумаги какие-то, что-то завязанное в носовом платке, вытряхнул из подсумка патроны и сунул всё себе в карман. Провёл рукой по остывающему лицу Петра и, взяв его винтовку, зашагал в сторону реки.

Ночь надвигалась тёмная и морозная, но Александр не замечал, кажется, ни того, ни другого. Не услышит уже более он заразительного смеха Николая, не придётся более ругать Сеньку, не будет играть на нервах Ванька со своими вздохами: «Эх, где-то моя Ниночка!».

— Чего и меня не пригвоздило вместе с ними!... Стыдно даже! — вслух пробубнил Тарбеев и пошёл ещё быстрее, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега.

Но вот он выбрался на лесную тропу. Постоял, послушал и пробежал бегом сажень двести. Ноги согрелись. Впереди показался просвет. Александр понял, что вышел на реку Чусовую. Но куда идти дальше? Кто в прибрежных деревнях? Не стоят ли заставы колчаковцев на опушке?

Осторожно вышел на берег. Вверх по течению реки виднелась какая-то деревня. Ни одного огонька в ней, хотя ещё не поздно. «Вереино, что ли?» — подумал Тарбеев и начал высчитывать, сколько от него вёрст до завода.

Молодой прокатчик Александр Тарбеев Февральскую революцию встретил как-то безразлично. Работал он в ночную, когда пришли в цех большевики Кошечев и Марков и зачитали телеграмму о свержении самодержавия. Рабочие кричали, поздравляли друг друга, а Тарбеев только сказал:

— Жаль, браги теперь нигде не достанешь, чтобы sprыснуть такое дело.

Стоящий рядом с ним пожилой вальцовщик с сожалением покачал головой:

— Эх, Сашка, Сашка!

Но через два дня революция захватила, кажется, и его. Ему сказали, что пойдут разоружать полицию, и Александр три раза бегал в механический цех к Кошечеву, просил слесаря, чтобы его взяли «расправляться с фараонами».

Тарбеев никогда не проходил мимо полицейских, чтобы не обругать их «фараонами», «крючками», «селёдками». Выпившего для храбрости парня не раз садили в каталажку, составляли на него протоколы для привлечения к судебной ответственности, но ни разу не судили.

Был в этом свой тонкий расчёт. Пусть пьянствует, пусть буйствует, лишь бы «политикой» не занимался. Бродил в парне протест, а куда приложить силы — не знал, не понимал ещё азбуки политической борьбы.

После разоружения полицейских и отправки их в Пермь Тарбеев снова стал безучастным к событиям, развивавшимся на заводе. Снова стали видеть его расхаживающим по улицам с двухрядкой и горланящего песни, снова пошли слухи, что Тарбеев хулиганит.

В один из июльских вечеров встретил его Александр Александрович Кошечев, член партии с двенадцатого года, один из руководителей чусовских большевиков. Кошечев был одним из немногих, кого Тарбеев слушал и уважал.

— А ну-ка, друг, садись рядом да поговорим ладком, — сказал Кошечев, усаживая молодого парня рядом с собой.

— Ты чем опять занялся? В стороне хочешь стоять и смотреть, как для тебя хорошую жизнь будут завоёвывать? Как буржуй, любишь загребать жар чужими руками?

Александр не находил ответа этому маленькому, щупленькому человеку, пользующемуся большим авторитетом у рабочих.

— Чего молчишь?

— А чего я должен делать? — пробурчал Тарбеев.

— Не знаешь, что делать? — как бы удивился Александр Александрович. — то ты и хулиганишь, что не знаешь, чем тебе заняться! Выходит, всё ещё не понимаешь, что своим поведением позоришь нас, рабочих. Слыхал, что говорят здешние буржуи?

Тарбеев молчал.

— Они говорят, что большевики поставят хулиганов и пьяниц, вроде Сашки Тарбеева, и начнут править государством, пропивать его. Гляди, до чего ты дожил.

Долго сидели они на скамейке.

И после этого вечера Тарбеева часто стали видеть в компании признанных вожаков молодёжи завода — Лукоянова, Михаила Сивкова, Токарева, Климова. А в конце сентября Александр начал появляться в штабе боевой дружины, именовавшейся уже тогда Красной гвардией.

Ни одного занятия в дружине не пропускал Александр, с охотой шёл на любое дежурство, чище его никто не содержал винтовку.

Когда же в Чусовом получили сообщение о восстании чехословацкого корпуса, когда все члены большевистской партии и молодёжной организации вступали в ряды Красной гвардии, когда рабочие, приходя к станкам, рядом ставили винтовки, Александр Тарбеев сделался лучшим агитатором. Никто не умел так страстно призывать молодёжь в ряды защитников Советской власти, как это делал он.

В мае была сформирована из рабочих Чусовского завода Первая Коммунистическая добровольческая рота для борьбы с чехословаками, за ней — вторая. С первой ротой Александр уехал под Челябинск, где испытал горечь поражения и отступления. Тарбеев после этого оказался в Лысьвенском полку, на Лысьвенском фронте, и пробыл в нём до того момента, пока не вырвался в одиночку из окружения.

3

Через три дня после прихода колчаковцев жители Чусовского завода читали на столбах и заборах объявления, в которых полковник Киселёв, именовавшийся начальником следственной комиссии, приказывал явиться в комендатуру и зарегистрироваться всем большевикам, красноармейцам и всем лицам, у кого родственники служили в Красной Армии. Киселёв предупреждал тех, кто не выполнит данное распоряжение, что они будут расстреляны.

Прочитал такое объявление и Александр Тарбеев. Он нашёл себе убежище в одной из углевыжигательных печей, домой не показывался, даже отцу не давал о себе весточки. Но с некоторыми своими друзьями он связался. Теперь Александр был занят розыском большевиков, которые не смогли эвакуироваться и прятались в лесах. Тарбеев узнал, что скрываются фельдшер Владимир Лямин, Александр Першаков и другие. Нужно было их найти.

— Хм, «расстреляны»... — проговорил Александр, отходя от столба с объявлением. — «Расстреляны»... Я вам покажу, гады, как расстреливать.

Прошло две недели. По Чусовому пошли слухи, что кто-то ловит белогвардейских офицеров и спускает их под лёд; кто-то взорвал на станции состав и пытался подорвать мост. На днях бросили гранату в ограду дома, в котором жил полковник Киселёв.

Этого полковника жители в разговорах между собой называли зверем. Киселёв превратил дом следственной комиссии в застенок, где ручьями

лилась кровь ни в чём не повинных людей. Почти открыто ежедневно производились расстрелы или во дворе комиссии, или на кладбище в логу.

Но с каждым днём в души изуверов всё больше проникал страх. Акты мести палачам следовали один за другим.

Через месяц белые стали называть фамилию Тарбеева...

Однажды каратели захватили группу рабочих, считавшихся по донесениям предателей активистами. Среди них были и большевики. Готовилась очередная кровавая расправа.

4

Февральская вьюга к ночи становилась всё злее. Ветер с воем поднимал с земли снег и гнал его с бешеной скоростью. Пригибаясь и закрывая лица от колючего снега, из лесу вышла группа вооружённых людей. Впереди шёл, прокладывая дорогу, высокий молодой рабочий в коротком полупальто и шапке-ушанке. За плечами у него была винтовка, повешенная вниз стволом. Трудно было сказать, какими ориентирами пользовался он в такую метель, но вёл маленький отряд уверенно.

Кончился лес. Вышли на вершину горы. Впереди крутой спуск, а внизу — улицы посёлка.

— Передохнём малость, ребята, — сказал идущий впереди Тарбеев. — Иван, — обратился он к высокому пареньку в красноармейской шинели, — ты, значит, действуй, как договаривались. Только успеем ли мы выволочить мужиков, может, расправились уже с ними...

В голосе Александра слышалась тревога. Тот, кого он назвал Иваном, как бы успокаивая, сказал:

— Едва ли успели. Ведь только позавчера арестовали. Не натешились, поди, ещё.

— Так-то оно так, но Киселёв не считает дни, ему, паразиту, кровь нужна. Никифор не от себя ведь придумал, что сегодня наутре должны их расстрелять. Эх, только бы успеть!

— Ну, ладно, я пойду, — сказал Иван и поднялся. — На, Сашка, ещё гранату. Тебе она больше потребуется.

Трое вооружённых двинулись за Иваном. Через минуту они словно растворились в темноте и снежном вихре. Проводив друзей, Александр подозвал двух молодых пареньков, одним из них был телеграфист станции Чусовская Василий Жолобов. У него за плечами, кроме винтовки, висели «когти» для лазания по столбам.

— Кройте и вы, да осторожнее! Постарайтесь сразу перерезать провода и в казармах, и в комендатуре. Да телефон не забудьте.

Проводив и этих, Александр повёл горсточку храбрецов туда, где мерцали огоньки окон комендатуры и белогвардейского застенка. Спустившись с горы, группа Тарбеева прошла по огородам и вышла на главную улицу, которая ныне носит имя Ленина. Бойцы залегли в канаве напротив здания комендатуры, в подвале которого сидели те, кого решено было освободить.

Свет в окопах тревожно мигнул и погас.

— Пошли, товарищи! — поднялся Александр.

Каждый знал, что делать. Недаром накануне проводили репетицию. Первым полз через дорогу Тарбеев. Вот он одним прыжком подскочил к часовому у ворот. Белогвардеец, не издав даже стога, рухнул на снег. Двое бойцов оттащили его в сторону, а Александр кинулся во двор.

Нападение было так неожиданно и стремительно, что стоявший у входа в подвал колчаковец не успел подать сигнал. Александр с двумя товарищами ворвался в подвал. Вот и камеры. На громкий шёпот Александра: «Выходите скорее, товарищи!» — ответили тихим стоном. Тарбеев зажёл спичку и увидел страшную картину. На полу лежало четверо окровавленных людей. Двое лежали на нарах без признаков жизни. В таком же состоянии были узники и в других камерах.

Из тринадцати арестованных лишь пятеро могли самостоятельно двигаться. Только вывели освобождённых за ворота, а двоих вынесли, как из комендатуры вышла группа солдат. «Смена караула», — подумал Александр.

— Вася! Сюда! — крикнул он Жолобову, оставленному для наблюдения за крыльцом и главным выходом из комендатуры.

Тарбеев перескочил канаву и залёг. Подбежал Василий. С крыльца комендатуры застрочил пулемёт, пули засвистели над головами. В это время в воротах замелькали тени белогвардейцев. Пригибаясь к земле, они побежали в ту сторону, куда уводили освобождённых.

Тарбеев метнул гранату. Взрыв последовал почти тотчас же. Уцелевшие колчаковцы кинулись обратно к воротам, но громкий и властный голос, остановил их. Александру даже жарко стало. Он узнал голос Киселёва и рванулся было вперёд, но Василий удержал его.

— Сашка, обходят! — крикнул он.

— Живьём задумали взять! Не выйдет!.. — Александр снова метнул гранату.

Хотел бросить и Василий, но тело его медленно осунулось в снег. Граната разорвалась под боком.

— Вася, отходи! — тряхнул Тарбеев друга.

— Со мной всё... — прохрипел Василий.

Александр попытался тащить друга, но что-то больно ударило по голове. Он потерял сознание...



*Обелиск участникам Гражданской войны в Чусовом.
Фото В. Н. Маслянки*

Очнулся он с мыслью сбросить с себя тяжесть, но почувствовал во всём теле, а особенно в голове, сильную боль. Пощупал затылок. «Кровь! Откуда?... Ранили, что ли?... А почему нет ветра и... снега?..».

Приподнялся. Закружилась голова. От слабости не мог удержаться на локте. «Что со мной? Где я?» — стал осматриваться. И вдруг сознание, словно вспышка молнии, пронзила мысль: «Подвал! Живём взяли, гады!» — Александр сжал кулаки и долго лежал с закрытыми глазами, силясь понять, как это получилось.

Он не боялся смерти, но и расставаться с жизнью в двадцать лет не хотелось. Ведь настоящая жизнь у него началась совсем недавно — в тот день, когда ему выдали в штабе Красной гвардии винтовку. Прожитое до революции не хотелось вспоминать...

Начальник следственной комиссии полковник Киселёв вошёл в свой кабинет нетвёрдой, торопливой походкой. Не раздеваясь, направился к тумбочке, достал из неё бутылку, налил стакан и выпил залпом. Не улеглось ещё бешенство, вызванное происшествием прошлой ночи. Налёт на комендатуру и освобождение арестованных были самой большой неприятностью из всех, какие сыпались на его голову за последние дни. Чем же он объяснит начальству такой позор? Всё время сообщал, что у него всё спокойно...

Постучал в настольный звонок.

— Привести захваченного ночью, — распорядился полковник.

Через десять минут ввели Александра. Он остановился у порога, стал рассматривать полковника.

— Садись! — показал Киселёв на стул у стола и сам опустился в кресло. — Большевик?

Александр молчал, соображая что сказать.

— Большевик? — повысив голос, спросил Киселёв вторично.

— Большевик! — твёрдо ответил Александр. — Только не совсем ещё настоящий. Поучиться надо малость.

— Рабочий?

— Да!

— Фамилия? — сверлил глазами Киселёв.

Тарбеев усмехнулся.

— Фамилия? — рявкнул Киселёв.

— Меня девка родила.

— Фа-ми-лия! — взревел полковник и ударил Александра по лицу.

Тарбеев вскочил и кинулся было на Киселёва, но страшный удар повалил его снова на стул.

— Я научу тебя быть почтительным, мерзавец! А ну-ка, всыпьте этому большевистскому ублюдку по первое число, — приказал Киселёв солдатам.

Солдат с лампасами на штанах шагнул к Александру, тот попятился:

— Но-но! — предупреждающе повторил он.

Но рванулся к нему второй солдат и сбил с ног. Началось избиение.

— Скажи, где скрывается Тарбеев. Скажешь, немедленно освобожу, как только приведут этого бандита; награду выдам и жить будешь вот так! — провёл полковник ребром ладони по горлу.

Тарбеев посмотрел на него тяжёлым взглядом и процедил сквозь зубы:

— Большевики народ не продают и сами не продаются...

И опять началось избивание молодого рабочего, готовящегося стать большевиком.

— Господин начальник, он, кажись, того... Кабы душу не вытрясти, — сказал один из солдат, обливаясь потом.

Когда полуживого Александра потащили в подвал, Киселёв погрозил ему кулаком:

— Заговоришь! Не с такими справлялся!

Очнулся Александр в той же камере. Рядом с ним на нарах лежали четверо рабочих. Все знакомые.

— За что вас, мужики?

— Не знаем, — ответили враз двое. — А тебя за что так разукрасили. Чей ты?

Александр понял, что его не узнают.

— Кто ты? — спросил лежащий рядом с Александром.

Но Тарбеев не отвечал, и в камере наступила тишина.

Дотемна пролежал он ни с кем не разговаривая. Уже поздно вечером принесли ему кусок хлеба и в котелке похлёбки. Есть Александр не мог, сильно болели повреждённые зубы. Выпив похлёбку, сел на нары.

— Ну, мужики, хорошая власть сибирского правителя? Ишь, как любят нашего брата, жратву даже приносят и хоромы какие предоставили, — Тарбеев обвёл рукой камеру. — Живи и радуйся.

— Сашка Тарбеев славно расправляется с ними, — сказал самый старший из арестованных, прокатчик Кусов.

Александр посмотрел на него и усмехнулся. Хотел сказать что-то, да заскрежетала дверь и в камеру вошёл солдат.

— На допрос! — махнул он рукой, глядя на Тарбеева.

6

— Ну, будешь рассказывать? — встретил полковник Александра.

— Не о чем мне с тобой рассусоливать.

— Заставлю! — стукнул по столу кулаком Киселёв.

— Большевики — народ не трусливый, а я теперь хочу настоящим большевиком быть.

Киселёв перегнулся через стол и ударил Александра по зубам.

Из груди парня вырвался стон. Глаза его сузились. Схватив со стола массивное пресс-папье, он ударил им полковника по голове. Тот вскрикнул, и в кабинет влетели те же солдаты-верзилы. Киселёв сбегал куда-то, перевязал голову. Приказал принести скамейку.

Александра схватили, повалили на скамейку, сорвали рубашку. Киселёв начал рвать плетью его спину. С каждым ударом боль становилась всё сильнее и сильнее. Александр боялся, что не выдержит и крикнет. Но вот сил уже не хватало, и Тарбеев решил сказать, кто он. «Может, скорее прикончит».

— Бей, Тарбеев выдержит... Моли своих богов, что не попал ко мне раньше, чем я к тебе...

— Кто выдержит? — не донеся плети до спины, крикнул полковник.

— Я... Тарбеев... Добивай, гад! — и Александр плюнул в лицо Киселёва...

Когда Тарбеева внесли в камеру, в ней сидели только двое прокатчиков. В дрожь бросило их, когда увидели спину молодого парня. Они уложили его, напоили водой. Александр начал бредить:

— А солнце-то как хорошо светит! Видишь, Нюра? Видишь? А? Ты не ругай меня, Нюра... Шибко люблю!.. смелости не хватало сказать...

Прошло пять дней. За это время раны на спине Александра немного зажили, спала и опухоль.

— Ну, хоть убей, а не узнал бы я тебя тогда. Совсем ведь не походил на себя.

— Товарищ Кусов, я отсюда уже не выйду, так ты передай, что я хоть и мало, но всё же сделал...

— Брось ты, Сашка, ерунду городить! Зачем они тебя расстреляют?

— Эх ты, товарищ Кусов, товарищ Кусов! Я ведь уже не тот Тарбеев. Другим стал, и теперь понимаю кое-что, — Александр тяжело вздохнул. — Жаль, мало, конечно, пожил. А расстрелять меня или сегодня, или завтра расстреляют... Ты говоришь, Васю расстреляли? Умиравшего и расстреляли... Ведь это нелюди.

Заскрежетали двери, и на пороге появились солдат и офицер.

— Товарищ Кусов, убьют, посади на моей могиле ёлочку, любил я их... Что, гады, за мной пришли?

В июне 1919 года чусовляне встречали части Красной Армии. Через несколько дней они торжественно хоронили в братской могиле около тысячи человек, расстрелянных и замученных в белогвардейских застенках. Среди них был и Александр Тарбеев, и его друг Василий Жолобов. Когда была засыпана могила, старый прокатчик с побелевшими висками посадил на ней ёлочку...

А в юбилейные дни сорокалетия Советской власти трудящиеся города Чусового присвоили одной из улиц имя молодого борца за Советскую власть — Александра Тарбеева.

Алексей Яковлевич Скачков

(род. в 1922)

Алексей Скачков (литературный псевдоним — А. Азин) родился в 1922 году в посёлке Верхние Серьги Свердловской области. Но детство поэта прошло в Чусовом. Сюда, в красивейшие места Причусовья, он приехал ещё до войны. Начал учиться в школе № 1, закончил 10 классов в 9-ой школе. Сразу же поступил в Свердловский университет. Оттуда Скачков со второго курса был призван на защиту Родины.

После возвращения в Чусовой Алексей Яковлевич работает учителем истории в родной школе. Ведёт большую общественную работу, как лектор общества «Знание» и как ректор вечернего университета марксизма при горкоме КПСС.

Постоянные поездки по району, встречи с людьми дали Скачкову богатый материал для его литературной работы. Он в эти годы пишет много стихов, басен, рассказов, вступает в литературное объединение при газете «Чусовской рабочий», вместе с В. Астафьевым, В. Поповым, А. Никольским он готовит целые поэтические и литературные страницы в газете. В 1958 году Пермское книжное издательство выпустило в свет сборник басен Скачкова под названием «24 горчичника».



Темой его произведений обычно становились пережитки прошлого в нашем обществе, современный бюрократизм и волокита. В баснях поэт развенчивал невежество, леность мысли, предрассудки и религиозный фанатизм.

Вскоре начинающий поэт женился и супруги переехали в Пермь. С 1965 года А. Я. Скачков — доцент кафедры марксистско-ленинской философии Пермского педагогического института. Кандидат философских наук, народный депутат, Скачков вёл большую научно-методическую работу. Его философские труды неоднократно издавались в Москве, Ленинграде и за рубежом.

Не скрою*

В стихах и песнях с радостью и болью,
Под яблонь перезвон и липы грусть
Поэты ладили с чужой любовью,
А я в своей душе не разберусь.
Все говорят, что чувство многогранно,
Не знает ни предела, ни границ...
А мы с любимой расстаёмся рано,
Не ожидая розовых зарниц.
Другой бы, тенью тополя укрытый,
Как новой песни ждал заветный час.
А я являюсь не всегда побритый,
И резкий, и насмешливый подчас.
Её такие шутки не печалят —
Лучистым взором вечер опалён.
Видать, девичьим сердцем замечает,
Что я влюблён, без памяти влюблён.
Что сколько ни пытаюсь, но не скрою
Души, объятой заревом огня.
Что с нею я и сердцем, и мечтою
В борьбе за счастье завтрашнего дня.

Дорожить**

Ты ушла тенистым садом,
Уронив косынку с плеч.
Понял я, что радость надо
И лелеять, и беречь.

Духом пойменной полыни
Напоёна злая мгла,
Под глазами голубыми
Тень осенняя легла.

Льёт слезу, запнувшись
в травке,
Растерявшийся ручей.
Уважать её характер
Надо было с первых дней.
По над прудом
синь-прохлада
Плачет ива — как ей жить?
Дорожить любовью надо,
Чтобы после не тужить.

* Чусовской рабочий. — 1955. — 27 марта.

** Чусовской рабочий. — 1955. — 16 января.

Виктор Михайлович Попов

(1920–1974)



Виктор Попов родился в 1920 году в городе Чусовом в семье потомственного рабочего металлургического завода. Свой трудовой путь будущий поэт начал в родном городе. После окончания средней школы и спецкурсов работал преподавателем русского языка и литературы. В это время заочно учился в Ленинградском коммунистическом институте журналистики.

С 1939 по 1945 годы он находится в рядах действующей Армии, где проявил себя мужественным и смелым моряком, за что награждён медалями «Адмирал Ушаков», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

После демобилизации В. М. Попов работал в аппарате горкома партии, секретарём горкома ВЛКСМ, редактором газеты «Строитель», корреспондентом областной газеты «Звезда» и «Путёвка» — печатного органа управления Свердловской железной дороги.

С 1954 года с момента организации многотиражной газеты «Металлург» при металлургическом заводе Попов назначен её редактором. Член Союза журналистов СССР В. М. Попов в городе Чусовом и в Пермской области был известен как прекрасный детский поэт. Им написано много стихов. Только небольшая их часть вошла в стихотворные сборники, такие как: «Калоша умывается» (1967 г.), «Маме помогу» (1959 г.), «Снежная крепость» (1955 г.), выпущенных в Пермском книжном издательстве.

Умер В. М. Попов 11 мая 1974 года на 54 году жизни в самом расцвете своего поэтического дарования. Его стихи в это время публиковались в газетах не только нашей страны, но и за рубежом. Похоронен в Чусовом.

Уральский вальс*

Красуются ели на кручах в зелёном наряде своём,
О нашем Урале могучем мы тёплую песню поём,
Поём о любимом Урале, о кузнице нашей страны,
Где плавят добротные стали великой Отчизны сыны.
Край любимый, сторона родная,
В гости к нам, товарищ, приезжай,
Если на Урале побываешь,
Навсегда полюбишь этот край.
Богаты Уральские горы, в них золото, уголь, руда,
Бескрайние наши просторы нельзя позабыть никогда.
С чудесных уральских заводов металл получает страна.
Любовь трудового народа уральцам навек отдана.
Край любимый, сторона родная,
В гости к нам, товарищ, приезжай,
Если на Урале побываешь,
Навсегда полюбишь этот край.

* Чусовской рабочий. — 1963. — 21 апреля.

Во имя мира*

Нам нужен мир для счастья
и труда,
Чтоб гроз войны не знали
наши дети,
Чтоб стали краше наши
города,
Чтоб наш народ жил лучше
всех на свете.
Нам нужен мир для радостных
побед,
Чтоб стала ещё краше
мать-отчизна.
Чтоб мы узнали тайны
всех планет,
Чтоб загорелись зори
коммунизма.

Нам нужен мир, а потому
стоит
На страже мира флот
моей державы,
Границы нашей Родины
хранит,
Овеянный в боях бессмертной
славой.
Мы в коммунизм уверенно
идём,
Под ленинскими стягами
свободы.
Пусть силы набирает
с каждым днём
Могучий флот советского
народа!

* Чусовской рабочий. — 1964.

Фото из фонда
этнографического парка
истории реки Чусовой



О счастье*

Говорил как-то мне неизвестный
Почитаемый всеми мастер:
— Птице трудно прожить без песни,
Человеку — нельзя без счастья.

Откровенно скажу: я счастлив —
По душе мне любимое дело.
Из металла, что мне подвластен,
Я могу что угодно сделать.

Я вот сделал цветок из металла,
Посмотрите, как подснежник.
(На цветок дождевка упала,
И он ожил весенний, нежный).

Что цветок-то. Вещичек немало
На своём веку сотворил я.
Да таких, что от счастья, бывало,
Будто вдруг выростали крылья.

Брали люди те вещи в руки,
И сердца наполняла радость.
Это просто такая... штука,
Что любой подороже награды.

Так-то вот. «Вы же знаете сами, —
Убеждённо промолвил мастер, —
Радость людям нести делами —
Это самое высшее счастье».

* Чусовской рабочий. — 1962. — 12 мая.

Приезжайте
к нам в Чусовой*

Если вам по душе работа,
Да такая, что пот пробьёт,
Приезжайте, встретим охотно,
Поведём на родной завод.
Пожелаете встать к мартену,
Чтобы звонкую сталь варить,
Мы научим вас непременно
Своё дело, как мы, любить.
Если вы пожелаете строить,
Что ж, — пожалуйста, — вот леса.
Поднимайте дом, как герои,
Хоть под самые небеса.
Дела хватит у нас такого,
Что зовёт и ведёт вперёд.
Если цените дело и слово,
К вам немедля придёт почёт.
Думать долго не стоит, не надо,
Приезжайте к нам в Чусовой.
Зори плавок подарят радость,
В город влюбитесь всей душой.

Ветер**

Он гулял по свету,
Тучи гнал, старался.
А вчера с рассветом
В сад ко мне забрался.

Он прошёл со свистом
Узкою дорожкой,
Подхватил вдруг листья
И метнул в окошко.

На сарае доски
Простучал напрасно,
Закружил берёзку
В сарафане красном.

Прыгнул к сеновалу,
Поворчал немного,
А потом устало
Лег он у порога.

«Ветер непослушный», —
Пристыдил я строго.
Он покорно слушал
И лизал мне ноги.

* Чусовской рабочий. — 1964.

** Чусовской рабочий. — 1963.

Подснежник подарю*

Я подснежник сорвал
в лесу
И домой, словно
радость, несу.
Если встречу любовь
мою, —
Я подснежник ей
подарю.
И скажу ей:
«Здравствуй, весна!».
Но поймёт ли меня
она?
Как подснежник,
она легка,
Как подснежник,
она хрупка,
Как подснежник,
она нежна,
С нею в сердце моём
весна.
Я подснежник сорвал
в лесу
И, как радость,
домой несу.

Вечером**

Я гляжу на город из окна,
Вечер первым холодом простужен.
Вон плывёт тарелкою луна
На дороге к глянцевиной луже.
Ночь наполнит дождевой водой
Эту отражённую тарелку,
И она с рассветною зарёй
Скроется — утонет в луже мелкой.

* Чусовской рабочий. — 1965. — 21 ноября.

** Чусовской рабочий. — 1963.

Аркадий Фёдорович Никольский

(26.01.1919–25.03.1980)

Поэт, член Союза журналистов с 1958 года.

Родился 26 января 1919 года в городе Чусовом в многодетной семье Фёдора Терентьевича и Анисьи Михайловны Никитиных. Здесь окончил среднюю школу. С 1936 по 1938 годы учился на рабфаке при Пермском медицинском институте. Писать стихи начал очень рано, с его слов, с тех пор, как себя помнил. В детстве переписывался с Максимом Горьким, который советовал ему пойти учиться в Литературный институт, а он поступил в медицинский.

Первые стихи опубликованы в 1937 году в кизеловской газете «Уральская кочегарка». В том же году он женился и взял фамилию жены. С тех пор подписывался так — Аркадий Фёдорович Никольский.



14 марта 1938 года отец поэта Ф. Н. Никитин был арестован и спустя два месяца расстрелян, а его семья объявлена семьёй врага народа. Аркадия выгнали из института, позже арестовали и отправили по этапу в Магадан. За отказ дать ложные показания на допросах поэт расплатился десятью годами тюрьмы, где он серьёзно заболел.

В 1949 году Аркадий Фёдорович возвратился в Чусовой. Устроился разнорабочим в литейный цех Чусовского горпромкомбината, потом работал молотобойцем в рессорном цехе, электросварщиком. В 1951 году принят литработником в редакцию газеты «Цемент» (г. Горнозаводск). В 1954 году устроился учеником печатника в Чусовскую типографию. В эти годы он и познакомился с начинающим писателем Виктором Астафьевым. С 1955 по 1957 годы — выпускающий корректор редакции заводской газеты «Металлург». Далее корреспондент газеты «Чусовской рабочий», а с 1963 по 1967 годы вновь работает в «Металлурге». Член Союза журналистов СССР с 1958 года.

В 1967 году Никольский уехал из Чусового в Свердловскую область, посёлок Ачит, где некоторое время работал заведующим экономическим отделом газеты «Путь Октября».

За свою жизнь Аркадий Фёдорович написал несколько сотен стихов, много стихотворных фельетонов, новелл и поэм. Сочинял он также юмористические стихи и слова для песен. Свои произведения поэт отдавал в газеты, где трудился, посылал в пермскую областную газету «Звезда».

Уже будучи прикованным тяжёлой болезнью к постели, поэт регулярно посылал в свои родные газеты целые циклы стихов. К столетию Чусовского завода в 1979 году Никольский сочинил целую поэму, которая в сокращении была напечатана в «Металлурге» 15 июля 1979 года.

Умер поэт 25 марта 1980 года.

Расцветает Урал ненаглядный...

Расцветает Урал неоглядный
В полесовьях, ветрами звеня.
По-весеннему стала нарядной
Чусовская сторонка моя.
Реки снова водою бурливой
Заиграли в своих берегах.
Вётлы шепчутся с тонкой ивой
На зелёных своих языках.
Первый гром канонадою грозной
Сотрясает горы крутояр.
Скоро вспыхнет в полуночи звёздной
На черёмухе
Белый пожар.
Бескорыстно, подругой желанной,
К сердцу нежно ластится земля.
Красоты набралась несказанной
Чусовская сторонка моя!

* * *

Любовь бескорыстную
К милому краю
С завещанной нежностью
Я повторяю.
В большие просторы,
Низины и горы,
В осины и ели
Влюблён с колыбели.
Пускай восхищаются
Солнечным югом,
А я породнился
С морозом и вьюгой!
Сугробов завалы,
На скалах берёзки —
Всё в душу запало
Прекрасным и броским!

Песня о Чусовом

В солнечном золоте ярком
День наступил трудовой,
Новым рабочим подарком
Крепит страну Чусовой,
Гребнями высятся горы,
Лентами реки легли,
Множит рабочий город
Славу уральской земли.

Стала нарядней и краше
Щедрая наша земля,
Святят над городом нашим
Красные звёзды Кремля!
Пламенной сталью добротной
Светится день трудовой.
Вахту ударной работы
Держит родной Чусовой.

В солнечном золоте ярком
День наступил трудовой,
Новым рабочим подарком
Крепит страну Чусовой,
Туч белокрылая стая
В небе высоком плывёт.
Здравствуй, река Чусовая,
Здравствуй, родимый завод!

Бабье лето

Тёплый ветер этим бабьим летом
Соловьём залётным просвистел...
Даже если б не был я поэтом,
Всё равно б об этом лете пел.
Всё равно бы в солнечный полудень
Сердце пело с зябликами в лад.
...Вечер-медник лунною полудой
Покрывает загрустивший сад.
Засверкали рыжевению лисьей
Косы увядающих берёз.
Тополя в пригоршни старых листьев
Утром собирают бисер рос.
Листопад запылил аллею.
Жёлтый змей танцует у дверей.
На кустах акации алеют
Яркие жилеты снегирей.
А вдали на голый луг низины
Встало стадо мётаных стогов.
Смотрит осень в вёдра и корзины
Крепкими матрёшками грибов.
Затянуло клюквой жухлый мшанник.
В сборе дары леса не плошай.
Бабье лето горкой сдобных шанег
Восхваляет новый урожай.
Мы, порой «воюя» с полом слабым,
Добровольно признаём полон.
Работящим, терпеливым бабам
Отдаём, склонясь, земной поклон.

Гребешок

Ты навестить не забудь
Приметный уголок:
В крутой воде стоит по грудь
Угрюмый Гребешок.
Тропой веков прошли года,
Как встарь шумит река,
Извечно ластится вода
К доспехам старика.
Он, словно древний богатырь,
Глядит из-под реки.
В просторы вперив зоркий взгляд,
Несёт он свой дозор.
За ним соратники стоят
Густой дружиной гор.
Тебе расскажет березняк,
Наполнит грома шум,
О том, что здесь стоял Ермак,
Объятый роem дум.
Расскажет всё: как битвы шли,
Как вырос городок,
Немая летопись земли —
Уральский гребешок.



Худ. В. Н. Чаплыгин

Саул Исаевич Сапиро

(17.01.1904-17.04.1973)



Саул Исаевич Сапиро родился в 1904 году в семье крестьянина в колонии Весёлая Ново-Златопольской волости, Александровского уезда Екатеринославской губернии.

Работать начал в 1924 году на Донецком металлургическом заводе. С 1927 по 1931 годы учился в политехническом институте. После окончания работал начальником мартеновских цехов на металлургических заводах Мариуполя и Макеевки.

Вместе с оборудованием цеха в 1941 году был эвакуирован на Урал и направлен на Чусовской металлургический завод. Здесь он трудится с 1941 по 1961 годы. Вначале начальником мартеновского, потом — вновь построенного дуплекс-цеха. После войны возглавил производственный отдел завода. С 1946 года С. И. Сапиро — главный инженер завода. В 1961 году переведён на работу в Пермский совнархоз, где работал заместителем начальника технического управления до 1964 года.

За свой многолетний труд Саул Исаевич награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Литературной деятельностью С. И. Сапиро начал заниматься в 1924 году, когда редактировал печатную заводскую газету «Металлист» на заводе в городе Донецке. Он был членом ассоциации пролетарских писателей.

До 1946 года — по его собственному признанию — он написал 40 рассказов и повестей, которые были напечатаны в журналах и газетах Донецкой области.

Отдав 30 лет чёрной металлургии, будучи уже главным инженером завода, вдруг вспомнил былое — занялся литературой. В 1954 был в Пермском книжном издательстве был опубликован его роман «Инженеры», в 1962 году — «Кривая инженера Стрепетова», в 1972 году — «Каждый день». Последний явился основой для создания телевизионного фильма «Без конца», поставленного на Пермском телевидении в 1974 году. Сценаристом фильма был Лев Давыдычев, постановщиком Лев Футлик. Тем же летом, в День металлурга, фильм был показан по Центральному телевидению. До этой счастливой минуты автор, увы, не дожил.

Из рецензии В. Воловинского (газета «Вечерняя Пермь» от 2 апреля 1974 года): «...Над главным своим материалом, которому отдана большая часть сознательной жизни, работал человек талантливый и мыслящий». «Новое в технике и в жизни создаётся людьми, — утверждает писатель — и приходит оно в борьбе за новые человеческие отношения». Такова основная мысль всех произведений С. И. Сапиро, музой которого был Чусовской завод.

Умер писатель в 1974 году, похоронен в городе Перми.

Кривая инженера Стрепетова*

Отрывок из романа

...Заместитель начальника! А какой из тебя заместитель? Знаешь, кто ты теперь? Никто и ничто. Вот кто ты. Тебя вышвырнули из цеха — ступай на все четыре стороны. А кабинет? Он не твой. А так ли оно? Да, так. Не укладывается в уме? Чепуха.

Что ты держишься рукой за сердце? Теперь этим не поможешь.

Он поднялся. И зашагал. Шагал, шагал по узкому кабинету и курил. Глотал, глубоко вбирал этот дым. До боли першило в горле. И во рту горечь. До противного горько и кисло. Но что делать? Надо же этот накипевший гнев

* Сапиро С. И. «Кривая инженера Стрепетова»: роман. — Перм. кн. изд-во, 1962. — 246 с.

и щемящую сердце боль чем-то заглушить. И он курил, курил, глотал дым, зло грыз, грыз папиросу, зло, с остервенением откусывал комочек за комочком.

Что делать? Кто имеет право оторвать его от этого большого живого организма — цеха? Кто? Он не сдастся...

Всё вскипело внутри. Как пар, вот-вот разопрёт тебя. Лопнут сосуды от перенапряжения.

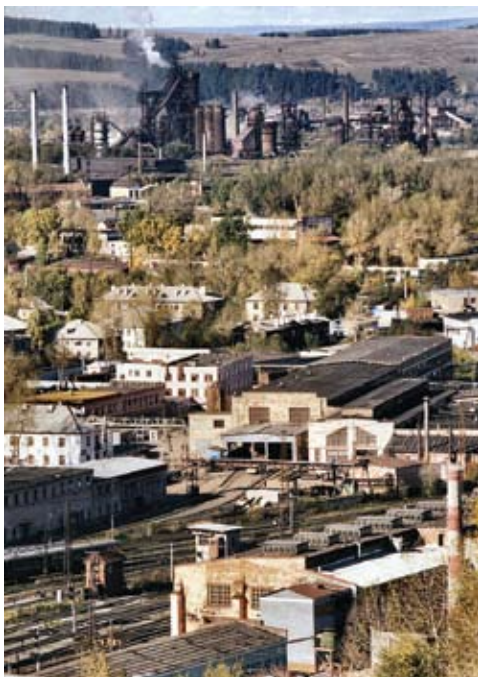


Фото В. Н. Маслянки

Он не уйдёт. Ни за что. Наступила минута схватки. Самой отчаянной. А характер? Смешно и больно. Какой там к чёрту характер, когда решается судьба людей, его судьба!

Он остановился перед самой дверью. Вот она-то и мешает ему перешагнуть порог. Эта дверь заслоняет от него весь мир. Эта дверь, другая, третья... все эти двери и здесь, и там. Он наотмашь, сильным ударом стукнул кулаком по двери.

Дверь стукнула о стенку, отскочила и захлопнулась. Но Яковлев ещё свирепее толкнул её.

Это было естественно, неизбежно. Попала коса на камень, высекла огонь. Коса ли на камень? Скорее камень на камень.

Что говорить? Яковлеву претило всё. Всё. От начала до конца. И тон доклада, и наигранно тихий голос, и нарочито медленно произносимые слова, и многозначительные ударения,

и паузы, и жесты Стрепетова. Паузы и жесты. Паузы и жесты. Паузы и жесты. Всему же должна быть мера. Неужели Стрепетов не чувствует, не понимает, что переигрывает? Он делает вид, что не замечает Яковлева, будто нет его здесь вовсе. Ну и не надо, не напрашиваюсь. Нет меня — значит нет. Ты обращаешься к другим. К Горовому? Хорошо. К Малимону? Тоже. К Сергееву? Что ж, неплохо. Но почему ты остановился перед Шишкиным? Подумай! Только для того, чтобы доказать мне, что Шишкин в твоих глазах выше меня?

А в общем, бог с тобой. Разве в этом дело, но... почему ты всё о своём методе продувки чугуна? Разве нет других интересных предложений? Талантливых или не талантливых людей? О них ты должен был хоть единым словом обмолвиться. Как инженер, как организатор, просто как умный человек. Тебе другие предложения не нравятся? Может быть. Даже естественно. Так бывает, и часто. Так скажи об этом. По-инженерски, убедительно докажи, чем они хороши или плохи. Наконец, разделай их под орех, чтобы живого места не осталось.

Может быть, он ещё скажет? Но время идёт. Голос его становится всё тише, тише. Доклад идёт к концу. Да, да, к концу. Ещё несколько фраз, несколько слов...

Окончен доклад.

— Какие будут вопросы?

Стали задавать вопросы. Стрепетов отвечал. Не во всём был с ним Яковлев согласен. Но опять-таки разве в этом дело? Нет. А в том, что вопросы не те. Разве дело в деталях конструкции, предложенной Стрепетовым? Детали — вещь исправимая. Подумаешь, не там колено загнуто, не там поставлена задвижка. Всё это, конечно, нужно, но... Где главное? Разве, кроме предложения Стрепетова, больше ничего не существует? Но почему молчат эти люди? Боязнь? Пассивность? Или и то, и другое?

Яковлев дал себе слово: молчать, слушать и молчать. Так будто поступают разумные люди. Нечего лезть на рожон. Но как можно молчать, когда речь идёт о важном, о главном, о жизни?

— Алексей Фёдорович!

Стрепетов насторожился. Словно иглой кольнули.

— Разрешите!

В сознании Яковлева забились две противоположные силы. Одна другой сильнее. И ни одна не уступила. Так длилась секунда, вторая, третья... А может быть, и того меньше?

— Алексей Фёдорович, вы не сказали о главном.

Стрепетов отвернулся. Нарочито подчёркнуто дал понять, что он его не слушает.

— Так, кто ещё? Больше нет вопросов?— Чтобы доказать, что его слова не имеют никакого отношения к Яковлеву, Стрепетов подошёл к одному, к другому. — Ну, что?

— Нам хотелось бы, Алексей Фёдорович, — упрямо проговорил Яковлев, — чтобы вы осветили преимущества ваших предложений перед другими. А их на заводе много.

Стрепетов взмахнул указкой, и кончик её пополз по вывешенному на стене чертежу. Без всякой надобности. Конечно, замешательство. Замешательство и упрямство.

Что ж, пусть это будет последний бой. Так или иначе, а он неминуем. Уж лучше раньше, чем позже.

— Алексей Фёдорович! Я относительно предложений... ну, скажем, Потапова. В них есть ценная крупица. Или, скажем, Глазова. Или... Вы же ничего о них не сказали.

Стрепетов прервал:

— Значит, больше вопросов нет?

— Алексей Фёдорович! А мой вопрос?

— Это не вопрос.

— Это вопрос. Без него ничто не может быть решено.

Стрепетов бросил указку на стол.

— Алексей Фёдорович. Я требую. Почему вы всё сводите к узкому разговору? Почему избегаете других? Почему вы прячетесь?

Яковлев вспомнил, как Стрепетов водил его по цеху и тыкал пальцем: почему? почему? Так водить имеет право не только начальник своего подчинённого, а и наоборот. Мы должны быть взыскательны друг к другу. К чёрту эти титулы, эти ранги, эти авторитеты! И Яковлев продолжал:

— Почему не рассмотрели предложение Потапова? Почему выдворили из цеха Феофилактова? Глазова? Почему? Так требует справедливость, дело, так требует жизнь, и преступно молчать, прятаться, скрывать истину. Я требую, Алексей Фёдорович, ответить!

Угрожающе смотрели на Яковлева чёрные глаза, угрожающе сдвинулись густые брови, нервно задвигались под гладко выбритой кожей скулы. Длилось всё это мгновенье. Не больше. Но в это мгновение лицо Стрепетова успело выразить решимость, испуг, растерянность, невыносимую вражду, острое негодование, пренебрежение, горделивость и, главное, угрозу. Необычно мстительную угрозу.

— Это не вопросы.

— Нет, это вопросы.

— Это не по существу.

— Это как раз по существу. Это главное. Самое главное. Технические проблемы сами по себе не так уж сложны. Их всегда решить можно. А вот стиль — дело более сложное.

— Что?!

Это был не вопрос. Это вопль. Что он собирается сделать? Очередной раз укажет на дверь: вон! Нет, он не так глуп. При народе этого не сделает. Глаза у него красные, веки припухли. А руки, кажется, дрожат. И молчит. Судя по тому, как он непривычно порывисто шагнул, Стрепетов на что-то решился.

Неужели уйдёт? Этот человек ничего необдуманно не делает. Что бы это значило? Конечно, последний шаг, чтобы от него, Яковлева, избавиться. Придёт к главному инженеру или к директору и скажет:

— Или я, или он.

Нет, так он не скажет. Себя со мной сравнивать не станет, а просто предложит: уберите его.

В глубокой, тревожной тишине скрипнул стул. Кто-то кашлянул.

— Алексей Фёдорович!

Все оглянулись. И Стрепетов тоже. Это был старик Горовой. Не усидел старик. Уж очень тяжёлые и беспокойные мысли одолели его. Они не давали ему покоя. А теперь, слушая Стрепетова, Яковлева, он приходил в ярость. Мысли застучали, забились, вызывая тревогу, отчаяние.

Как это так? Вот он, Яковлев! Мечется, бьётся — и один. Как бился в своё время Глазов. Точь-в-точь. Как бился в своё время Моргун. Как бился Потапов. Как бились другие, бежавшие или выгнанные из цеха. И каждый раз был поединком. Всякому ясно было, что уж если придётся кого из двоих убирать, то во всяком случае не Стрепетова. Потому что каждый раз бросали гири — на одну чашку весов Стрепетов, на другую — подчинённый. У кого больший удельный вес? Конечно, у Стрепетова. Так порознь взвешивали, и приходилось считаться с удельным весом. Порознь. Так счита-

ли партком, горком, директор — все. Хотя знали, что не всегда Стрепетов прав. За неправоту ему вклеили выговор раз, второй. Ну и что же?

Всё взвешивали. Будто люди — гири. Да чёрт его побери, уж коль люди гири, то почему никто не пытался бросить на одну чашку всех этих людей, а на другую — одного Стрепетова?

Обидно, что и он, Горовой, тоже поглядывал на весы. Он, парторг цеха, он, кому должно быть виднее всех. Как могло случиться такое?

— Что вам, Алексей Фёдорович, сказать? — заговорил старый конвертёрщик, разведя руками. — Ну что? — И ещё раз переспросил от волнения и возмущения: — Что?

Павел Иванович не знал, с чего начать. Он озабоченно потёр мокрый лоб. Грузно шагнул. Грузно и весома.

— Как это вы... того? Стыдно. — Помедлил. Не те слова. А может быть, и те? — Стыдно за вас. — Кашлянул. А дальше? Нет, он и это скажет. — Уж простите, я рабочий, но вы? Не уважаете вы нас, Алексей Фёдорович. — Но и это показалось ему недостаточным. — И себя тоже... не уважаете.

Только ли это? Нет. Уж слишком много накопело в душе. Пусть не только он послушает. Слишком много толков в цехе, надо раз и навсегда покончить с ними. Горовой больше не мог мириться с тем, что у Стрепетова какой-то странный, непонятный ему подход к человеку. Каждого он делит на какие-то части. И его, Горового, тоже. То Горовой перед начальником — конвертёрщик, и разговор как с конвертёрщиком, то — парторг, и разговор не тот.

Горовому понятно: вот так с каждым Горовым врозь иметь дело куда легче. Парторг не парторг — какая разница? Просто рабочий человек. А что рабочий, что партийный — одно и то же. Может и не совсем так, но всё же.

Но его, Горового, пригласили сюда как конвертёрщика. Не пригласили, а предложили, приказали — явись и всё. А он задумал поговорить с начальником по душам.

Горовой замешкался, глянул на собравшихся.

— Как выступить?

Так вырвалось. Независимо от него. Вырвалось, как иногда бывает. Но стоило спросить, как сразу откликнулись:

— Как Горовой.

Вот это толково. Как Горовой. И он так думал.

Но его поправили:

— Как коммунист.

Горовой подумал: какая разница? Коммунист. Давным-давно он стал коммунистом. Ещё тогда, когда не знал, что есть коммунисты.

Иногда невредно напомнить, что ты коммунист. Много здесь в цехе, на заводе, Горовых и не Горовых. Кто, если не он, знает их жизнь, нужды, что их тревожит, что волнует.

Он задумался. В кабинете стало тихо. Горовой разглядывал сидящих — они будто поторапливали его. Но он не мог, не имел права спешить. Мысли следовало собрать в тугой пучок.

— Мы дорожим талантами. Оберегаем их, Алексей Фёдорович. И будем оберегать. И мы поддерживаем способных. Но...

Дальше не смог. Всё это не то. Он зашевелил губами, загорелыми пальцами. И смолк. Нужно было отрешиться от прежних слов. Найти новые, весомые.

— ...но попробуйте унижить достоинство человека, попилать его права, подминать его под себя и тогда — не гневайтесь! Мы сумеем поставить вас на место. Уж мы-то одёрнем. Да так, что чертям тошно станет. И всё... к чёртовой матери полетит. Да, да. А вы что думали? Вы считаете себя хозяином, ну а мы-то кто? Кто мы? И поди знай — у кого больше прав! И вес-то удельный у кого больше?

Голос его окреп. И он высказал всё. Всё, как думал. Без единого срыва. Даже чуть-чуть перехватил.

— Уж если на то пошло, — пригрозил он кулаком, — то мы потрясём душу. С чинами не будем считаться.

Подумал: на этом хватит. Всё сказал. Он собрался сесть и грузной походкой направился к стулу, в самый угол. Откуда пришёл. Но внезапно остановился. Не остановился, а его остановил Стрепетов. Взгляд его удивлённых глаз. На что смотрел, Горовой не понял, но подумал: «А видишь ты этими глазами плохо. Ничего не видишь».

— Смотрите на нас? — вырвалось у Горового. — Но глаз-то у вас только пара. А у нас-то в одном цехе с тысячу пар наберётся. А на заводе и того больше.

Стрепетова бросило в жар. На него смотрели со всех сторон. Глаза, которые, казалось ему, просвечивают его насквозь. Они, словно раздели его, они всё видели и удивлялись, осуждали, укоряли. И зло наступали, наступали эти глаза. А он в состоянии был хотя бы одному заглянуть в душу? Это было невозможно. Уж слишком много глаз непримиримо жалили его. Он повернулся — глаза. Он, было, намеревался шагнуть, но его остановили глаза. Он хотел было вернуться к столу — и опять глаза.

Он опустил руки. На мгновение застыл в раздумье. И решительно шагнул к шкафу. Отворил дверцы, нарочито спокойно, снял с вешалки фуражку, спокойно, примеряя её, дёрнул за козырёк. Сбив её набок, вышел, не закрыв за собой двери.

Слышно было, как он не торопясь прошёл приёмную, как, размеренно постукивая каблуками, спускался по лестнице. Шаги стихали, стихали. Совсем стихли. Хлопнула парадная дверь.

Больше в цех Стрепетов не вернулся. По заводу на следующее утро пронёсся слух, будто Стрепетов уехал. Поздно ночью уехал. Никому не пожав руки.

Александр Максимович Толстиков

(род. в 1921)

Родился в 1921 году.

В городе Чусовом в пятидесятые годы подобралась довольно незаурядная плодовая компания литераторов, среди которых был, по словам братьев по перу «матёрый газетчик, а в свободное от чернилницы время заядлый рыбак Александр Толстиков».

А. М. Толстиков выполнял обязанности ответственного секретаря редакции газеты «Чусовской рабочий». Сотрудник газеты Г. А. Блинов вспоминает: «Колоритная фигура Толстикова никак не уместилась за небольшим редакционным столиком. В его комнатке-кабинетике стоял сизый табачный туман. На столике одну пачку «Беломора» сменяла другая, но оставался белым без единой строчки в газету лист бумаги. Александр Максимович работал, беседуя с посетителями о проблемах дня, переключался на рыбалку и охоту. Толстикову было чего рассказать о больших и малых хариусных речках. Не одну сотню километров исходил он по Супичу, Утке, Койве и Вижаю. Недаром рыбаки и охотники окрестили Максимыча «Лосём».

А. М. Толстиков был секретарём «штаба» первого литературного кружка при газете «Чусовской рабочий». Собирались по пятницам два раза в месяц, на занятиях слушали лекции «Как писать в газету», «Писатель и жизнь», «Вопросы теории литературы» и др.

Сам А. М. Толстиков публиковался в газетах «Чусовской рабочий», «Металлург», его художественные произведения вошли в литературные сборники, изданные в Пермском книжном издательстве.

После работы в чусовских газетах перешёл работать в «Союзпечать».



Повестка*

рассказ

Лодку поставили на якорь на самом глубоком месте плёса.

— Теперь тихо, — шёпотом говорит Митька, разматывая удочку.

— Всё равно клевать не будет, — также шёпотом возражает Сенька, — рано ещё. Разве елец какой сдуру подскочит. А язи после гудка брать начинают.

— Ну да, они только в ночную смену клюют!

— Выходит так, — не замечает насмешки Сенька, — до одиннадцати сидят где-то, а как прогудит на заводе — жди клёва. Уж это я знаю, не первый раз.

Мальчишки забросили по три удочки и притихли. Солнце опускалось всё ниже и ниже, становилось тусклей, красней, как вынутая из горна остывающая железка.

Всё кругом затихло. Лишь вода журчит на перекате да на левом берегу звонко плещется ручей, с радостным урчанием вливается в реку.

Из-за горы, где раскинулся завод, донёсся могучий басовитый рёв гудка.

— Одиннадцать... Теперь клевать будет, — прошептал Сенька. Вот он протянул руку к удилищу и замер, как застыл. Конец удилища легонько вздрогнул и вдруг резко наклонился к воде. Быстро подсёк Сенька клюнувшую рыбу. Хоть и тихоня, а рыбак ловкий. Рыбина упорно не хотела выходить из глубины, сгибала в дугу упругое удилище. Но Сенька знает, что надо делать. Не торопясь, умело он выводит язя на поверхность, заставляет глотнуть воздуха и, присмирившего после этого, притягивает к лодке, подхватывает сачком.

— Во, какой дядя попался! Сразу уха на всю семью, — шепчет Сенька, укладывая в корзинку широкобокую золотистую рыбину.

Митьке хочется подержать язя в руках, рассмотреть его, но он не двигается с места, старается казаться равнодушным.

— Сейчас и я поймаю...

— Конечно, поймаешь. Теперь будет клевать.

До часу ночи поклёвки были часты. Сенька поймал пять язей да Митька трёх. А после часу клёв прекратился. Сидят рыбаки молча, на кончики удилиц посматривают: лески уже не видно. Тишина кругом, на небе тусклые звёздочки чуть теплятся. Изредка коростель на правом берегу заскрипит. Противная у него песня, ничего птичьего в ней нет, а ведь про себя-то, наверное, думает, что он тоже певец.

На берегу за ручьём, где огороды стоят над самым обрывом, скрипнула калитка. Кто-то спустился по вырубленным в обрыве ступенькам и подошёл к воде.

* «Нашим ребятам»: сборник рассказов, стихов, очерков и загадок для детей / сост. Л. Давыдычев. — Перм. кн. изд-во, 1964. — С.112-119.

Захрустела галька под ногами человека, который повозился у воды и поднялся на берег.

Прошло немного времени, человек снова спустился с обрыва и опять поднялся.

— Что он там ковыряется? — спросил Митька.

— Душин тут живёт. Это рядом с нами.

— А чего твой Душин делает?

— Он коновозчиком в торге работает.

— Это днём. Сейчас-то чего делает?

— Наверное, дрова носит.

— Какие?

— Куренные. Их отпускают с гавани на Вильве. Тут некоторые к берегу пристают, обсыхают.

— Так ведь это не его дрова.

— Ну да, не его, сплавной конторы.

— Ворует, значит, твой Душин!

— Никакой он не мой. Сосед просто. Он тут давно живёт, а мы недавно.

— А вы воруете дрова?

— Нет, покупаем. Душин говорит, что мы дураки.

— Проучить надо этого Душина, чтобы забыл, как воровать, — уже громко говорил Митька. — А Сенька всё шепчет:

— Он хитрый, он сразу же ночью пилит, колет и в сарай складывает, а сарай на замке. Не увидишь и не придерёшься. Такой хитрюга...

— Хватит, поехали домой! — решительно заявил Митька и быстро поднял якорь.

Лодка поплыла вниз, подгоняемая течением. Мальчики пристали к берегу и молча привязали лодку к вбитому в землю колу.

— Ишь, пилит, паразит! — сквозь зубы проговорил Митька, прислушиваясь к доносившемуся глухому звону пилы, грызущей сырое дерево. — Ты знаешь, как его зовут?

— Душина-то? Семён Федотович.

— Вечерами он дома бывает?

— Всегда. Он всё около дому, всё делает что-нибудь. Он мужик хозяйственный.

— Хозяйственный! — презрительно протянул Митька. — А дом номер какой у него?

— Тридцать три. Зачем это тебе?

— Ладно. Знай помалкивай. Надо.

Утром Митька вспомнил про Душина.

«Ишь ты! Хозяйственный... Чего бы ему такое сделать? — думал он. — Пойти в сплавную контору и сказать? А чем докажешь? Душин скажет: я купил дрова и вовсе они были не куренные. Он хитрый».

Размышления прервала бабушка. Она подала сумку и сказала, что за деньгами надо зайти к маме на работу. Мама у Митьки работает машинисткой в горфо.

Возле горисполкома Митька встретил одного из своих дружков — Бориса Шибанова. Его мать работает уборщицей в суде, а он на лето принят туда рассыльным.

— Борька, ты что перестал на футбол ходить? Мы почти каждый вечер мяч гоняем.

— А я вот тут за день по городу с разноской намотаюсь — вечером месту рад, — с солидностью ответил Борис. — Вот опять, видишь, пошёл. Кого вызываем в качестве ответчика, кого — в свидетели. Получите повестку. Распишитесь в разносной книге. Приходите в указанное время. За неявку — сами понимаете... Ну, пока! Спешу. — И Борис торопливо зашагал.

Этот разговор натолкнул Митьку на одну мысль...

— Так и надо сделать. Так и сделаю, — шептал он, и глаза его озорно блестили.

Вернувшись домой с хлебом, Митька разыскал свой старый школьный дневник и начал переделывать его. Он вшивал в него листы чистой бумаги, что-то клеил, писал, чертил по линейке. Часа через три перед ним на столе лежала пухлая книга, и на корочке её, на приклеенном листочке глянцевого бумаги было старательно выведено печатными буквами: «Разносная книга».

— Осталось повестку сочинить — и будет всё, — сказал он сам себе и принялся писать. Морщил лоб, чесал затылок, писал, рвал написанные листочки и снова писал.

Много времени потратил Митька на сочинение повестки, иной раз к урокам меньше готовился, а всё-таки получалось как-то не так.

Уже в пять часов Митька ходил по берегу реки с разносной книгой под мышкой. Он был в школьной форме, хотя прежде всё лето бегал в трусах и майке. Держаться старался солидно. Его заметил Сенька и, подбежав, начал было разговор о рыбалке.

— Мы с тобой друг друга не знаем, — пробурчал Митька и отвернулся.

— Как так не знаем? — удивился Сенька.

— Ладно, ладно! Отходи. Так надо. Потом расскажу.

Сенька обиделся и ушёл. Митька остался один. Он ещё с час ходил по берегу, нетерпеливо заглядывая в переулочек, где стоял дом Душина. Наконец заметил, как в калитку дома, тяжело ступая, вошёл кряжистый бородатый мужик.

— Наверное, он, — решил Митька и, одёрнув рубаху, двинулся к калитке. Во дворе его встретила огромная лохматая собака, которая с яростным лаем металась на цепи, грозя порвать ржавую толстую проволоку, протянутую поперёк двора от сарая к стайке. Минут пять гремела цепь, визжала проволока под кольцом, пёс рвался к вошедшему, вставая на дыбы. То ли от ярости, то ли оттого, что при рывках её душил ошейник, собака начала хрипеть и брызгать слюной.

«Ух, зверюга! — думал Митька, прижавшись к калитке. — Такой доберётся — разорвёт в клочья».

На крыльцо вышла девчонка лет двенадцати и пронзительно крикнула:

— Разбой, перестань!

Собака сразу затихла и бросилась к девчонке, помахивая хвостом и подхалимски извиваясь всем телом.

— Тебе кого надо?

— Семёна Федотыча. Вот, по серьёзному делу, — Митька показал разносную книгу.

— Папаня, к тебе пришли! — крикнула девчонка.

На крыльцо вышел сам Семён Федотыч. Разбой заюлил около его ног.

— Тебе чего, углан? — угрюмо бросил хозяин. — Ну, поди сюда. Ага, боишься!.. То-то!

«Сейчас я тебя самого напугаю», — подумал Митька и звонко сказал:

— Вам повестка!

— Повестка?! Какая?

Семён Федотыч отпихнул сапогом Разбоя, тяжело спустился с крылечка и не спеша направился к калитке. Митька развернул книжку, уверенно отчеканил:

— Получите повестку, распишитесь в разносной книге. Приходите в указанное время. За неявку... сами понимаете...

Митька сунул в руку Душина карандаш: — Вот в этой строке расписывайтесь.

— Сперва надо узнать, за что расписываться. Роспись — дело не простое. — Душин взял повестку и, отнеся от глаз на вытянутую руку, принялся разглядывать. — Мелко написано, не вижу. Нюрка! Принеси очки!

— Давайте, дяденька, я вам прочту.

— Прочти, милоч, прочти, — ласковым голосом заговорил хозяин и тут же закричал: — Нюрка! Не надо очков! Копаешься там!

— Душину Семёну Федотычу. Улица Береговая, дом номер тридцать три, — скороговоркой читал Митька. — Повестка! Предлагаю явиться в сплавную контору шестнадцатого июля к одиннадцати часам утра по делу о незаконном присваивании государственных дров. Явка обязательна и аккуратна. Начальник сплавной конторы.

— Шестнадцатого — это завтра? — глухим голосом спросил Душин.

— Завтра, — сказал Митька, опустив глаза, боясь выдать свою радость. Он видел: Душин здорово перепугался.

— Это всё соседи наболтали. Уж такой народ пошёл, будь он неладен!

— Не знаю, — тихо ответил Митька и добавил решительно: — Вы распишитесь, товарищ Душин, а то с меня спросят.

Душин, кряхтя, нацарапал свою фамилию крупными буквами не в той строке, где указал ему Митька.

Уже вечером Митька думал: «Ну, придёт Душин в сплавную контору, а там скажут, что его не вызывали. Так и отделается он одним испугом и будет как раньше дрова воровать. Нет. Так оставить это нельзя».

Утром, ещё не зная, что делать дальше, он пошёл в сплавную контору и вертелся около крылечка. Увидев приближающегося Душина, юркнул в коридор. Семён Федотыч долго топтался перед дверями начальника конторы. Наконец решился, снял кепку, пригладил волосы и с робостью

открыл двери. Митька, поколебавшись с минуту, решительно взялся за никелированную скобу дверей.

— Ты куда, мальчик? — вскинулась сидевшая за пишущей машинкой секретарша.

— Я по важному делу, — ответил Митька и вошёл в кабинет.

За массивным столом сидел грузный человек. Настольный вентилятор обдувал его распаренное лицо. Вздёрнув роговые очки на лоб, он разговаривал с Душиным. Митька услышал его последние слова:

— Никакой повестки мы не посылали. Это какое-то недоразумение.

— Повестку я написал, — глядя начальнику прямо в глаза, сказал Митька.

— Ты! Зачем?

— Он дрова ворует. Куренные, которые по реке плывут. Наши дрова, государственные.

— Ой врешь ты, парень! — с кривой усмешкой проскрипел Душин.

— Я вру?! — крикнул Митька. — Вот сейчас пойдём да в твой сарай заглянем. Тогда увидим, кто врёт. Они ещё сырые, позавчера с воды взяты.

Душин мял в руках фуражку, стоял понурившись. Начальник нажал кнопку звонка. В кабинет заглянула секретарша.

— Позовите десятника Петрухина. Через минуту вошёл Петрухин.

— Вот, — недобро глядя на Душина, сказал начальник, — пойдёшь с этим гражданином и обмеряешь, сколько у него дров наших в сарае лежит. Составишь акт. Иск предъявлять будем. Пусть узнает, что покупать дрова дешевле, чем воровать.

Душин жалобным голосом начал оправдываться, но начальник махнул рукой:

— Идите. А ты, хлопчик, останься. Садись, потолкуем. Митька сел в большое мягкое кресло, поставленное вплотную к столу.

— Ну, как тебя зовут, пионер?

— Дмитрием. Дмитрий Кузнецов. А как вы узнали, что я пионер? На мне ведь галстука нет.

— И без галстука видно, что пионер. По делам видно. Только вот с повесткой ты, пожалуй, перемудрил. Этот Душин мог одним испугом отделаться. Надо прямо говорить, не бояться. Заметил непорядок — пришёл и сказал. Прямо! Не надо мудрить, друг Митя. Понял?

Астафьевскими тропами

...Без поэтов, музыкантов, без художников
и создателей земля давно бы оглохла,
ослепла, рассыпалась и погибла.

Виктор Астафьев

...Положительная оценка моих литературных опытов В. П. Астафьевым, поддержка чусовлян, знакомых с моим творчеством по публикациям в газете, побудили меня подготовить сборник стихов и рассказов, которые, смею надеяться, будут интересны чусовлянам, поскольку в героях моих произведений они увидят своих знакомых, соседей, друзей.

Виктор Хорошавцев

*Родной берег.
Худ. В. Н. Чаплыгин*



Виктор Семёнович Хорошавцев

(28.08.1919–20.11.2003)

Прозаик, поэт

Родился в 1919 году. С 1923 по 1930 годы семья Хорошавцевых жила в селе Акинiefиево, затем в городе Нижняя Салда, который находится под Екатеринбургом.

В. С. Хорошавцев вспоминает: «В середине 1920-х годов наша семья состояла из семи человек: отец, мать и пятеро детей, четверо из которых ходили в школу. Была пора НЭПа. Как мы жили материально? Помню, жили хорошо, не голодали. Больше того питались, дай бог так каждому. Часто на столе был жареный поросёнок, зимой постоянно тушёные зайцы... Моё раннее детство совпало с деревенской жизнью, и все воспоминания о той поре окрашены в розовый цвет.



Это и ловля пескарей в реке Талой и в пруду на самодельную удочку, и поход по ягоды, по грибы, по шишки (кедровые). В то время я уже посещал школу и был записан в пионеры, но красного галстука стеснялся и нарочно его «терял». В 1930 году мы переехали на жительство в город Нижнюю Салду. Не знаю почему, но в Нижней Салде мы не имели постоянного местожительства и за восемь лет сменили до десятка квартир.

По приезду в город продолжил учёбу в 4-м классе начальной школы. А затем перешёл в школу II ступени (средняя школа №1 — нынешнее название), учился легко и играючи.

Семья наша в это время состояла уже из восьми человек. Все дети, кроме малышки Вали учились. Герман заканчивал педагогическое училище, Шура после седьмого класса тоже поступила в педучилище, я учился в 6 классе, Петька — в 5-м, Мария во 2-м. Одевались бедновато, как большинство населения той поры. В доме была одна кровать — для родителей. Ребятня спала на полу на тулупе, укрываясь шубейками и разным барахлом».

В 1930-х годах Виктор Хорошавцев окончил 8 классов Нижне-Салдинской средней школы № 1, затем три курса Нижнетагильского рабочего факультета. В 1937 году окончил 10-месячные курсы Пермского педагогического института и стал работать учителем русского языка и литературы в Усолье. С октября 1939 по 1946 год служил в армии моряком-пограничником. В конце апреля 1940 года прошёл обучение в 3-ей Морпограншколе НКВД. Во время службы было присвоено звание старшины I статьи.

После демобилизации, осенью 1947 года приехал в г. Чусовой, поступил на работу в ремесленное училище № 9 преподавателем. Заочно окончил литературный факультет Пермского педагогического института, преподавал русский язык, обществоведение, эстетику.

В начале 1950-х годов состоялось знакомство с В. П. Астафьевым. В. С. Хорошавцев приносил в редакцию газеты «Чусовской рабочий» свои стихи, а В. П. Астафьев в то время уже работал штатным корреспондентом. Общение переросло в дружбу. Виктор Петрович и Виктор Семёнович стали постоянными напарниками по рыбалке.

В газете «Чусовской рабочий» было опубликовано около десятка рассказов, более десяти статей, около пятидесяти стихотворений. Кроме того, один рассказ был напечатан в московском журнале «Рыболов-спортсмен», в 2000 году два рассказа вошли в пермский альманах «Лабиринт».

Положительная оценка литературных опытов В. П. Астафьевым побудила В. С. Хорошавцева подготовить сборник стихов и рассказов «Рыбак рыбака...», герои которого чусовляне-земляки вместе с автором путешествуют по нашим чудесным рекам — Чусовой, Яйве, Усьве, Вильве, вспоминают незабвенные рыбацкие радости, полученные от общения с природой. Некоторые материалы сборника посвящены В. П. Астафьеву.

Умер в 2003 году, похоронен в г. Чусовом.

3 декабря 1976 г.,
г. Вологда
(В. Хорошавцеву)

Дорогой Виктор!

Привет тебе, Тоне и граду Чусовому, который я вспоминаю часто и недавно по какому-то поводу и тебя вспоминал. Наитие! Я с удовольствием прочёл твоё писание, ибо о рыбалке — да ещё об Усьве, да ещё о хариусах! — ещё и читать-то удовольствие. Беллетристикой, да ещё серой, я уже сыт по горло.

Мария Семёновна тоже шлёт вам поклоны. А я, прочтя твою страничку, нежно и с грустью вспоминал, как мы рыбачили на Яйве и как отпустили шуку-крокодила. Сейчас смешно и отраднo вспоминать всё это, ибо ничего в жизни лучше-то нет, как общение с природой — рыбалка и охота.

В. Н. Маслянка

Капсула времени*

Главная и единственная книга В. С. Хорошавцева называется «Рыбак рыбака...» и представляет собой сочетание поэзии, прозы, переписки и личных воспоминаний автора. Автор, коeму к моменту её издания было за 80, попытался очень своеобразно воссоздать портрет прошедшего времени, той половины прошлого века, которая закрыла занавес XX веку. Сделал это он через призму собственной судьбы и нашего отношения к окружающей природе. Автор незримо нитями соединил понятия «природа» и «нравственность» с понятиями «прошлое, настоящее и будущее человека разумного». Знаменательно, что судьба распорядилась так, чтобы это сделал на тот момент самый старший из владеющих Словом в Чусовом, не менее знаменательно и то, что именно его книгой открывается для чусовлян литературный XXI век.

Обманчиво название книги, обманчиво проста сюжетная линия многих рассказов, что, впрочем, не удивительно, ведь эта книга про нашу противоречивую жизнь и про нас с вами, околдованных яркими одеждами сиюминутного и не замечающих, как мимо безвозвратно проходит в скромных одеждах вечное...

* Чусовской рабочий. — 2003. — 7 января.

Виктор Петрович Астафьев, однажды вдруг на всю Россию (СССР) назвал Чусовой городом непризнанных гениев. Виктор Семёнович Хорошавцев был отмечен среди них в числе первых и отмечен таким особым поощрительно-родственным, астафьевским: «Тебе надо писать!» (чем не рыбак рыбака видит издалека?).



*Рыбалка на Яйве. В. П. Астафьев.
Фото В. С. Хорошавцева.
Из фонда Литературного музея В. П. Астафьева*

Умение Хорошавцева не только смотреть, но и видеть, различать те цвета-частности, из которых складывается спектр-целое, — это и есть тот его особый дар, который роднит его с истинными мастерами Слова.

Книга Хорошавцева вышла накануне годовщины ухода от нас Виктора Петровича. А ещё раньше, на его сороковой день, Виктор Семёнович, будучи на лечении в подмосковном санатории ветеранов войны, выступал перед бывшими воинами той прошедшей войны с воспоминаниями о своём знаменитом тёзке. Выступил и даже провёл своеобразный блиц-голосование: кому не нужна астафьевская правда о войне? Оказалось, что только тем, кому война — мать родная: старшим и высшим военным чинам.

В. С. Хорошавцев, менял рыбацкие пристрастия, но не изменял своим убеждениям. В этой связи вспоминается случай, почти комичный. 80-летний Виктор Семёнович стал победителем одного из конкурсов газеты «Чусовской металлург». Награждение проводил президиум во главе с генеральным директором ОАО «ЧМЗ» А. Е. Демидовым. Хорошавцев, получив награду, «отблагодарил» стихами... «Как мы потеряли ЧМЗ». Президиуму тогда можно было только посочувствовать, на него было больно смотреть.

Книга «Рыбак рыбака...» хотя и имеет в основе многих сюжетов простые рыбацкие истории, оказалась самой яркой на чусовском писательском небосклоне последних 15-20 лет. Говорит за это сочетание художественных достоинств и строгая документальная основа. В то же время отдельные реальные герои и события кажутся

простые рыбацкие истории, оказалась самой яркой на чусовском писательском небосклоне последних 15-20 лет. Говорит за это сочетание художественных достоинств и строгая документальная основа. В то же время отдельные реальные герои и события кажутся

художественным вымыслом, а это лишний раз говорит о зорком глазе автора и его тщательно-несуетном отборе правды жизни. Именно так писатель рождает образы, выходящие на уровень обобщения, завоевывающие читателя своей внутренней силой. Некоторые образы и сюжетные линии могли бы стать основой для других произведений. Разве тот же Емеля-дурачок, отчаянно веселящий детей, не смог бы стать прототипом героя ещё одной русской сказки, ведь в нём одном больше доброты (и смысла), чем во многих наших умно-скучных, правильно-рассудительных родителях? А бесстрашная жена лесника А. Ершова, боящаяся не столько медведя в лесу, сколько небрежных цивилизованных туристов и воспринимающая в отличие от них лес как часть чего-то неотделимого и от самой себя, и всей своей Родины? А рассказ «Крест»? Разве случайны ночные злключения одного из героев, разве не за наши общие грехи пострадал он в ту роковую ночь, и так ли невероятно то, что именно этот же крест спас всех нас от большей беды, сохранил нам красавицу Чусовую? Разве это не было знамением?

Не может не удивить поэтическая часть книги, говорящая о глубине и диапазоне души автора: здесь и проникновенные признания любимой жене и ставшей родной реке Чусовой, и даже гимн России! Есть и немало поэтических строчек, адресованных друзьям и просто уважаемым автором чусовлянам. Заключает книгу нечто поразительное: обращение автора-деда к своему внуку Василию. Читаешь и понимаешь, что это делает и сам Виктор Семёнович, и в то же время его устами говорят все предки Хорошавцевых, которых давно уж нет на белом свете. Да ведь это настоящая капсула времени, без нашей привычно-лишней риторики и митингов, оставляемая автором книги во спасение не только своего внука, но и нас тоже. Она напоминает нам, что мы по-прежнему пытаемся остановить время, ведя отсчёт ему только от себя (и только для себя), а не от своей великой истории, славных предков и тех маяков-достижений прошлого, когда в России ничего не говорили о заокеанском фермерстве, но работающие русские крестьяне не знали нужды сами и кормили ещё полмира, когда контроля за речной водой не было вовсе, но в Чусовой водился таймень по прозвищу царь-рыба, весивший до пуда...

Умение Хорошавцева не только смотреть, но и видеть, различать те цвета-частности, из которых складывается спектр-целое, — это и есть тот его особый дар, который роднит его с истинными мастерами Слова.

Говоря о Викторе Семёновиче Хорошавцеве нельзя не сказать и о другом его создании — знаменитой фотографии «В. П. Астафьев с щукой», сделанной им на рыбалке с В. П. Астафьевым на реке Яйва («Рыбалка на Яйве», «Рыбалка с Астафьевым»). Это фотография известна астафьеведам не меньше, чем знаменитый рисунок тушью «Дом В. П. Астафьева в г. Чусовом на ул. Партизанская, 76» другого чусовского «непризнанного гения» самодельного художника В. Н. Чаплыгина...

На Яйве*

очерк

Представляя читателям «Литературной России» молодого чусовского писателя М. Голубкова с повестью «Просека», В. П. Астафьев в 1980 году писал о нашем городе: «Ещё одна особенность этого города — творческий его зуд — нигде я не встречал столько стихоплётов, сказочников и просто словоохотливых людей, как в Чусовом. Когда-то на детской технической станции, расположенной среди города, существовал «ток» — сюда после трудового дня собирались мужики, курили табак и вели трёп про охоту, рыбалку и прочее, порой за полночь возвращаясь домой...».

Вот на этом «току», где я был завсегдатаем, поскольку жил поблизости от ДТС и подружился с его работниками, в начале пятидесятых годов мне довелось познакомиться с будущим писателем и напарником по рыбалке В. П. Астафьевым.

В то время у нас шло повальное увлечение спиннингом, трофейной рыболовной снастью, завезённой победителями с запада. В наших спортивных магазинах ещё не было в продаже ни спиннинговых катушек, ни удилищ, ни капроновой жилки. Умельцы из ДТС, Курочкин Михаил Александрович и Мочалов Николай Саватеевич, освоили изготовление новой снасти. Первый клеил шестигранные бамбуковые удилища, второй точил дюралевые катушки, конечно, не для всего города, а для узкого круга лиц, в который попали и мы с Виктором Петровичем. Здесь же изготавливались самодельные блёсны из латуни, нержавеющей стали, бронзы, но более всего ценились и были самыми уловистыми блёсны из раскатанных серебряных полтинников. Труднее было достать капроновую жилку, её привозили из Москвы, где за большие деньги покупали с рук на Птичьем рынке или возле рыболовных магазинов.

В окрестностях Чусового сливаются три реки: Чусовая, Усьва, Вильва — раздолье любителям-рыболовам! Только чуть схлынут полые воды, начинается нерест ельца, подуста, язя. Уже в начале мая берега рек в городской черте залеплены рыболовами, а на торцевой гавани на Вильве, у Ротомских ключей их было так густо, что между ними некуда было протиснуться. Я тоже не пренебрегал поплавочной удочкой, но с нетерпением ждал посветления воды после половодья, чтобы пустить в дело спиннинг.

Вблизи города наши реки выглядели весьма неряшливо: вода загрязнена сбросами промышленных предприятий, дно устлано топляками сплава, захлапанные неухоженные берега — не на что порадоваться глазу. Спиннинговать ходили подальше за город в основном по Вильве и Усьве.

Меня больше привлекала Усьва, куда мы частенько ходили с Виктором Петровичем на пару. Некоторые предприимчивые рыболовы забирались дальше: в верховья Усьвы и Вильвы, на Кутамыш и Сылву и на другие реки, слухи о «новооткрытых» водоёмах, в первую очередь, приносились на наш рыбацкий «ток» — в ДТС.



Худ. В. Н. Чаплыгин

Первыми о реке Яйве заговорили чувовские железнодорожники. Яйва — левый приток Камы — в верхнем течении быстрая горная, в нижнем — спокойная лесная река, впадающая в Каму напротив села Орёл, ниже города Березники, по счастливым обстоятельствам сохранившая в пятидесятых годах девственную чистоту своих вод. Рассказы об этой реке и обилии в ней рыбы передавались из уст в уста.

Виктор Петрович, страстный охотник и рыболов, подогретый слухами, агитировал меня:

— Поедем! Маршрут простой: шесть часов поездом до станции Яйва, здесь в леспромхозе берём лодку, забираемся кверху на двадцать-тридцать километров и самосплавом обратно.

Авантюренность предложения была очевидна — легко сказать: берём лодку, а кто её даст без предварительной договорённости? Заберёмся вверх — это в начале-то июня, по высокой ещё воде, на шестах, легко ли? Тем более, что Виктор Петрович ещё не вполне поправился после перенесённой операции. Он получил удар ножом в лёгкие от пьяного мужика-дебошира в отместку за публикацию в газете заметки о неблагоприятном поведении того в быту.

Можно представить, какая страсть руководила нами, если он предложил, а я без раздумья согласился на этот рискованный план и взял недельный отпуск без содержания. Но мы тогда были молоды и легки на подъём.

Через два дня утром мы были на Яйве. Сложилось всё как нельзя лучше. Только мы вышли из поезда на станции Яйва, как тут же столкнулись нос к носу с подполковником Ашуатовым, бывшим военкомом Чусового, уволенным в отставку. Нам решительно везло: здесь, в леспромхозе, он занимал какую-то командную должность, если не ошибаюсь, должность замполита. Узнав о наших проблемах, он уверенно обнадёжил:

— Всё в наших руках — и лодка будет, и вверх доставим.

Затем, подойдя к кому-то из местных, отдал распоряжение:

— Найди Ивана Коваленко и пришли ко мне на дом.

И нам, как о деле уже решённом:

— Пошли завтракать!

С бывшим военкомом мы были только знакомы, но принял он нас, как давнишних друзей. По-моему он увидел в нашей встрече возможность опохмелиться и повёл дело по-военному, чётко. И дома у него был военный порядок. Переступив порог, он с ходу подал команду жене:

— Глазунью на троих и ещё чего-нибудь! — А нам: — Раздевайтесь, у нас есть время посидеть.

При таком повороте дел, как было не подчиниться.

За глазуньей из моих запасов, взятых в дорогу с расчётом на несколько дней, ушла сначала одна бутылка, потом и вторая, последняя, на стол. У Виктора Петровича была фляжка со спиртом, но до неё, слава Богу, не дошло...

Иван Коваленко оказался старшиной катера, отправлявшегося в этот день в рейс до посёлка Камень, на 30 километров выше по реке, и, когда он явился, в перерыве между первой и второй бутылками, мы услышали из уст подполковника распоряжение, за которое не жалко было бы поставить и третью:

— Найти лодку, доставить этих товарищей кверху, показать лучшие рыбацкие места, ясно?

— Ясно.

— Исполняйте!

— Катер у причала, отчалим в двенадцать, — сообщил старшина и удалился.

Отчалили ровно в полдень. Борясь с сильным встречным течением, катер двигался вперёд со скоростью не более пяти километров в час. Бурные стремительные перекаты сменялись широкими плёсами с заводями и омутами, низкие луговые берега, белые от цветущей черёмухи, чередовались с крутыми склонами гор, доверху заросшими синим хвойным лесом. Река нам положительно нравилась. Не нравилась погода: ветер с утра крутивший неустойчиво, стал определённо склоняться на северный, он морщил гладь реки, гнал по её поверхности тёмными полосами прерывистую рябь, от чего казалось, что река ёжится от холода. Ёжились и мы, стоя на ветру на палубе. Хмель, согретый по началу, прошёл. Можно было спуститься в кубрик, но Иван, не надеясь на прочность буксира, попросил присматривать за лодкой, которая, задирая нос на кильватерной струе, на коротком расстоянии следовала за нами...

Иван, выполняя полученное распоряжение, взял для нас казённую сплавную лодку, длинную и широкую, нам бы такую на шестах и на пять километров за день не поднять, а обратно по течению и на такой спуститься можно, даже лучше — в ней хоть спи-лежи, хоть танцуй.

К пяти часам вечера катер поравнялся с маленькой деревушкой Нартино, прилепившейся на самом верху горы по правому берегу.

Старшина катера не только как лоцман отлично знал реку, но, оказалось, он был и заядлым рыболовом и не хуже знал, где и какая рыба водится. Он посоветовал нам остановиться за деревней, на острове у Солонной протоки:

— Место надёжное и есть где развернуться. Можно на главном русле у омута, там завсегда держится щука, можно и остров обогнуть и всю Солоную протоку «прохлестать» — тоже рыбное место. Меня заинтересовало название:

— А почему Солоная? Кто кому насолил?

Катер входил в пережат, держась близко к берегу, Иван усиленно работал штурвалом и ответил не сразу. За поворотом показался большой остров. Иван показал рукой вправо:

— Вот она — Солоная протока. Видите, на поляне, метров двести отсюда, крест стоит? Это могила здешнего рыбака. Рядом избушка его стояла, уж давно развалилась. Всю жизнь старик прожил на этом месте и похоронить наказал на берегу. А повыше могилы ручеёк впадает в протоку. Вода в нём очень солёная. Рассказывают, старик при жизни никогда соль не покупал, из этой солёной воды выпаривал. Охотники у этого ручья сохатых караулят. Вот по этому и название протоки пошло.

Слово «солоная» Иван произносил с ударением на «а». Давнее, видать, название, мы бы сказали: солёная.

Миновав выход Солонной протоки, катер шёл вдоль острова по главному руслу. У омута Иван сбавил ход, круто взял вправо, затем выключил скорость, катер по инерции, мягко ткнулся в глинистый берег.

— Приехали. Подходящее место для стана и дров навалом, — объявил Иван.

Мы попрощались с радушным старшиной катера и, забрав лодку, высадились на берег. Иван с палубы прокричал:

— Ни пуха, ни пера! На обратном пути увидимся!

Мы помахали ему, катер задним ходом отвалил от берега, развернулся и вскоре скрылся за поворотом.

Прошло больше сорока лет с того дня, а он остался в памяти во всех мельчайших деталях. Недаром говорят: жизнь — это не те дни, которые прожил, а те, которые запомнились. Конечно, нам невероятно повезло в этот день: и случайная встреча с подполковником Ашуатовым, и случайное совпадение дня нашего приезда с плановым рейсом катера вверх по Яйве, и знакомство с добрым человеком Иваном Коваленко. Ещё вчера мы были дома, собирали рюкзаки и не очень надеялись, что всё произойдёт гладко, без сучка, без задоринки. А сегодня, как по щучьему веленью,



На рыбалке

без всяких хлопот и усилий мы на острове желанной реки Яйвы, за много километров от железной дороги, а впереди ещё рыбацкие радости и невероятные удачи. Такое случается не часто.

Оставшись одни после ухода катера, мы снесли рюкзаки под развесистую пихту, натаскали груды разного древесного хлама для костра. С северной стороны вбили колья с рогатками и соорудили наклонный навес, застелили его плотным слоем пихтового лапника. Получилась односкатная крыша — укрытие на случай дождя и отражатель тепла от костра, которому определили место рядом. Стан был готов, оставалось «нарисовать» уху. Было ещё светло, сумерки спустятся не скоро. Виктор Петрович решил проверить омут и покидать с лодки. Я отправился к верхней части острова и по берегу протоки спустился вниз. Хороших мест для рыбалки было много, в каждом я делал забросы, но безуспешно — поклёвок не было. Так я дошёл до солёного ручья, журчавшего на противоположном берегу протоки и ветхого креста на одинокой могиле рыбака. Дальше, до конца острова, шёл плёс с чуть заметным течением. Подступа с берега к нему не было: низкий и вязкий, он сплошь зарос непролазным кустарником.

Напротив креста мне удалось всё-таки, не совсем обычным путем, поймать килограммовую щуку. Или она «промазала», бросаясь за блесной, или случайно блесна нашла щуку спину, только крючок зацепил её за хребет в середине туловища. Её сопротивление взволновало меня, казалось, что я имею дело с очень крупным экземпляром. Сойти ей не удалось. Осторожно подмотав лесу почти до грузила, я выбросил её на берег.

Виктору Петровичу посчастливилось взять в омуте щуку побольше моей вдвое. Но как и у меня, это была единственная поклёвка. Я высказал свои опасения о погоде.

— Да, — согласился он, — северок подул — добра не жди...

Ужинали уже в темноте. Хоть щука — не стерлядь, но изрядно проголодавшиеся, мы начисто опорожнили трёхлитровый котелок.

Закурив, я поудобнее устроился на пихтовой подстилке протянув к костру ноги. Напарник сушил портянки на воткнутых перед костром колышках. Пламя ярко освещало черты его простого мужицкого лица, выглядевшего старше своих тридцати лет. На моё замечание об этом несоответствии он серьёзно и не спеша ответил:

— Пройти всю войну — не только постареть, но и умереть немудрено. Мне, считаю, повезло. Сколько нашего брата, солдат, полегло в эту войну. Едва ли на свете есть другая земля, так обильно политая кровью, как наша, русская...

После операции, при ранении в голову, он утратил зрение на левый глаз и сильно косил. Когда он смотрел на собеседника здоровым правым глазом, левый, казалось, был занят самостоятельной работой, нащупывая что-то в стороне.

Помолчав, он вскинул на меня цепкий правый глаз, предоставив левому исследовать темноту за костром, и уже шутливо закончил:

— А я вот как «счастливый» некрасовский солдат, был в сорока сражениях и ранен, и контужен был, и всё же не убит...

Я тогда, разумеется, не предполагал, что этот «счастливый» некрасовский солдат сорок лет спустя напишет такую жуткую правду о войне, какую до него никто не смог показать и озаглавит книгу жутким названием «Прокляты и убиты».

Становилось холоднее, поджав ноги, я подвинулся ближе к костру и плотнее укутался плащом. Виктор Петрович положил в костёр несколько толстых валежин и лёг рядом со мной. Прижавшись спинами, мы задремали. Потрескивал костёр, тихо шумели вершины деревьев. С ближнего переката доносился однообразный несмолкаемый говор реки.

Наши опасения по поводу погоды оправдались. В последующие два дня, усиливаясь днём и немного стихая на ночь, дул холодный северный ветер. Скупое, по-осеннему, выглядывало солнце, изредка моросил мелкий дождь вперемешку со снегом. Мы не снимали своих ватников и плащей.

Приспособившись донками на червя ловить окуней, мы проводили время в этом нехитром занятии. Вечером второго дня, возвращаясь обратно, к нам подвернул катер Ивана Коваленко. Мы встретили его, как полагается, пригласили к окуневой ухе. По этому случаю, Виктор Петрович достал заветную фляжку, налил каждому «солдатскую» норму, мы выпили за дружбу и будущую удачу...

На третий день потеплело, а к вечеру погода совсем разгулялась. Повеселели и мы, укладывая в специальные мешки из детской клеёнки трофеи этого дня. Но настоящая рыбацкая удача нас порадовала на следующий день.

К восходу солнца мы поднялись на лодке до верхней части острова и стали спускаться по Солонной протоке, на ходу делая забросы. Напротив солёного ручья со стороны острова открылось примечательное место. Чтобы его не проскочить, мы отдали якорь — сбросили пудовый камень на верёвке, закреплённой за нос лодки.

Место казалось надёжным: над обрывистым берегом острова нависли кусты — там глубинка, в воронке крутится мусор и пена, дальше струя отворачивается влево и переходит в короткий пережат, за ним угадывается омут — там спокойная тихая вода. Наша широкая плоскодонка устойчива, мы кидаем стоя, я — с кормы, напарник — с носа, а она и не качнётся. Виктор Петрович целится под кусты — туда, где воронка и пена, я, взмахнув двуручником, посылаю блесну далеко под пережат в предполагаемый омут. Не торопясь подматываю лесу, и вдруг — сильнейший рывок — конец удилица съётся в воду...

Не раз пережитая, знакомая каждому спиннингисту волнующая дрожь, как электрический заряд пробегает по всему телу. Мускулы напрягаются, руки собранным привычным движением делают подсечку, чуткое удилице, согнутое дугой, передаёт могучее сопротивление невидимого хищника. Снасть крепка, должна выдержать. С трудом делаю несколько оборотов катушки. Виктор Петрович наблюдает за мной. Слышу за спиной его голос:

— В пережате взял, должно быть, таймень, выводи осторожно. Неожиданно леса ослабла. «Сошёл» — мелькнула досадная догадка. Но нет, леса снова натягивается. Видимо рыба сделала рывок против течения. Снова понемногу отвоёвываю лесу. С трудом даётся каждый оборот катушки. Вот рыба уже в заводи, но ходит у дна. Сдерживаю на кругах, боясь отпустить под лодку.

Виктор Петрович с подсачком в руках ждёт момента, чтобы помочь мне. Рыба уже сдаёт, я поднял её со дна, подвожу к лодке, в воде видна громадная щучья пасть и полутораметровая тёмная спина. Я вижу, что подсачек нам не поможет, советую:

— Брось подсачек, бери за грузило!

Виктор Петрович, сидя на средней банке, берёт рукой подведённую к нему лесу, добирается до грузила и поднимает его на вытянутую руку...

Из воды на две четверти выше борта показывается щучья голова...

Тут мой приятель, опытный и хладнокровный рыбак, допускает неприятельную ошибку: движением руки к противоположному борту он силится перегнуть щуку в лодку. Щука судорожно трясёт головой, раскрывает крокодилью зубастую пасть, делает резкий удар хвостом и отскакивает от борта в воду...

В вытянутой руке моего помощника одиноко качается блесна с обломленным крючком на тройнике. С безмолвно открытым ртом, кося левым глазом на берег, правым, раскрытым до предела, не мигая, он смотрит на меня...

Не знаю, как выглядел я в эту минуту безмолвия, помню, что стоя, я молча взирал на расширенный глаз приятеля и его раскрытый рот, ощущая неприятную дрожь в пятках и под коленками. Наконец, чтобы справиться с дрожью в ногах я сел, плюнул, и не без злости произнёс:

— Шляпа! Что ты как идол уставился на меня?

С лица напарника сходит мина застывшего удивления, он переводит взгляд на тройник с обломленным крючком и без нотки оправдания, а как бы констатируя, замечает:

— Плохие крючки продают.

— Плохие крючки! Такую шуку упустить! Почему ты не догадался встать на ноги и поднять её всю из воды? Никуда бы она не ушла!

— Пожалуй, верно... Дело — пустяк, а вот не сообразил... Теперь ищи-свищи!

— Эх тебя угораздило, ищи-свищи! Жди вот, когда ещё такая клонет.

— Мда-а, хороша была красуля! Ты заметил, каким взглядом она на меня смотрела? Нет? Куда злее тебя!

— Может быть, может быть...

Удивляясь и ахая, смеясь и чертыхаясь, мы ещё долго толкуем о злополучной шуке, так счастливо отделавшейся от нас. После нескольких безуспешных забросов, наш «якорь» был поднят, и лодку понесло к последнему плёсу протоки, начинавшемуся от солёного ручья.

На траверзе креста у Виктора Петровича взяла крупная щука.

Он дал ей вволю «уходиться» и спокойно подвёл к лодке. Багрика у нас не было а подсачек для крупной щуки — вещь не весьма удобная. На этот раз роль помощника пришлось выполнять мне. Упустив щуку-крокодила, мы обсудили вопрос — что делать, если повторится подобное? И пришли к решению: надо щуку сначала оглушить, оглушённая она успокоится и затем брать её из воды за глаза. В лодке как раз валялась метровая берёзовая палка — подходящее орудие для такой операции. Мы обдумали и приём нанесения удара — надо торцом палки легонько стукнуть в «темечко» — в точку чуть выше щучьих глаз.

Пока Виктор Петрович вываживал, я быстро смотал свою лесу и, положив спиннинг, вооружился палкой, орудием глушения, и стоял наготове. Уходившаяся щука вела себя спокойно, мой удар торцом палки пришёлся точно в темечко. Одновременно с ударом Виктор Петрович ослабил катушку — это тоже было предусмотрено. Щука сделала короткий рывок и всплыла кверху брюхом. Теперь взять её из воды за глаза не представляло никакого труда и риска. В ней было не менее пяти килограммов веса. Когда щука была уже в лодке, Виктор Петрович оценил наши общие действия:

— Классно! Вот бы знать раньше и твою бы не упустили.

— Век живи, век учись, — что я ещё мог сказать?

Минут через пять у напарника снова затрещал тормоз катушки, известная о борьбе с очередной жертвой. У меня дело не клеилось. При сильном забросе леса сбегала с катушки и вся перепуталась. Эта «борода» отняла у меня немало времени. Подхлётнутый удачей товарища, я спешил и усложнял свою работу по распутыванию, между тем моему напарнику положительно везло. Он уже вываживал третью щуку, приговаривая нараспев:

— Давай, давай, голубушка! Не упирайся, не брыкайся! Хочешь в сторону? Не уйдёшь далеко! А мы тебя к бортику... Семёныч, готовь дубину!

Признаюсь, эта весёлая болтовня была мне неприятна, больше того, она раздражала меня.

Жадность? — Нет.

Зависть? — Может быть.

Не знаю, есть ли рыбак, который испытывая неудачу, был равнодушен к успехам соседа.

Наконец я справился с «бородой». Положив третью щуку в нос лодки под доски, Виктор Петрович внимательно, с хитринкой посмотрел на меня и предсказал, как ворон прокаркал:

— Сейчас у тебя будет зацеп.

— Какой зацеп?

— Самый обыкновенный, за корягу.

— Ерунда, не каркай! — отмахнулся я и сделал заброс.

— Вот-вот, как раз на корягу забросил — тут тебе и зацеп. Чтобы не дать блесне утонуть, я быстро начал крутить катушку.

— А-а, ты поверху тянешь. Так, конечно, зацепа не будет. Но и рыбки не будет, всем известно: рыбка плавает по дну...

— Отстань!

Я не в шутку начинал сердиться, а в ответ слышал дружелюбное ворокованье.

— Не горячись, Семёныч. Тебе надо перестроиться. Неудача с первой щукой тебя взволновала, а «борода», которую ты распутывал по меньшей мере четверть часа, — обозлила. Насколько я понял, не рад ты и тому, что твой товарищ методично увеличивает счёт, тебе во что бы то ни стало хочется его догнать. Ты будешь торопиться и делать частые забросы куда попало, а в таких случаях зацеп или «борода» обеспечены.

В душе я полностью был согласен с ним, но почему-то сказал:

— Ерунда.

— Не ерунда, по себе знаю, бывал в твоём положении. Вот что, Семёныч пока ты не поймашь щуку, я не сделаю ни одного заброса, только не горячись.

Он зацепил тройник за катушку, положил вдоль борта спиннинг и прилёг в лодке на доски, прикрыв кепкой лицо.

Странно устроен человек! Доброжелательная речь друга ещё больше взвинтила меня:

— Ты что, глумиться надо мною вздумал? Начал с психологии, кончил великодушием, бери спиннинг и не валяй дурака!

Мой друг молчал, как уснувшая рыба. Я машинально продолжал делать забросы, меньше думая о рыбе, больше о своей нервной реакции. Злость перешла на самого себя. Стыдно стало за свою горячность: «Расходился, как петух перед боем, а где твоя выдержка?».

Знакомый рыбок поклёвки мгновенно прогнал неприятные мысли. В глубине ходила крупная рыба, её упругие толчки приятно радовали сердце...

— Витя, бери дубину!

— Это не та, которую ищи-свищи?

— Не знаю, кажется, нет, та потяжелее была.

Знакомая процедура вываживания закончилась тем, что мой счёт открылся.

Медленное течение снесло лодку вниз плёса. Дальше шёл пережат, соединяющий протоку с основным руслом. Мы решили повторять рейсы по плёсу от креста и в продолжении полутора-двух часов совершили несколько заездов. То, что произошло в эти последующие заезды трудно описать со всеми подробностями.

Погода стояла удивительно тихая. На полированной глади плёса ни одной морщинки. Влажный воздух, насыщенный ароматами луговых трав и весеннего леса, слегка кружил голову. Густой запах цветущей черёмухи волнами, то усиливаясь, то ослабевая обдавал лицо, невольно побуждая делать глубокие, на весь объём лёгких, вдохи. Испарения были так плотны, что можно было в упор смотреть на солнце, в сетке тумана оно казалось громадным яичным желтком.

Мы уже хорошо изучили дно плёса, знали где яма, где бороздка, где поросль молодой подводной травы. Было замечено, что щука, как правило, берёт у самого дна и чаще в бороздках возле кромки ещё не поднявшейся травы. С небольшими интервалами, через шесть — восемь «холостых» забросов следовала поклёвка. То у меня, то у Виктора Петровича, то, иной раз, у обоих вместе. Наша «дубина» переходила из рук в руки. В каком-то отчаянном упоении, с весёлой лихостью, мы работали спиннингами. Каждая вываживаемая щука сопровождалась прибаутками. И я с детской непосредственностью приговаривал слова, так недавно принятые мною без всякого энтузиазма: «А мы тебя к бортику, а мы тебя к бортику». Щука брала жадно и сходы наблюдались очень редко. Был случай, когда я подсёк великана, которого не удалось не только посмотреть, но даже повернуть к лодке. Сразу после подсечки он смотал у меня почти всю лесу. Я обхватил обеими руками катушку и упёрся ногами в лодку. Наша тяжёлая плоскодонка заметно пошла в сторону натянутой лесы. И когда рыба сошла, разогнув крючок, я не испытал никакой досады.

— Недалеко же она нас увезла, — шутил Виктор Петрович, — а я думал, до креста дотянет.

— А не пора ли нам прекратить паломничество к кресту? — предложил я. — Пальцы болят от катушки; да и рыбу пора обиходить.

— Согласен. Вот как раз полянка, давай причалим к ней.

На этой полянке я сфотографировал Виктора Петровича, с крупной, ещё не полинявшей, сохранившей живую раскраску, щукой. На снимке тридцатилетний Виктор Петрович стоит на полянке перед Солоной протокой. Под ногами — молодая трава, цветущая купава, по-астафьевски — жарки, гнездо широколистной чемерицы. В левой руке — спиннинг, правой, напряжённой от тяжести, он держит взятую под жабры щуку, на другой стороне протоки виден кусочек приютившего нас острова, за ним — главное русло и правый берег Яйвы. Неподалёку, вне кадра, стоит ветхий, почерневший от времени, могильный крест. Задумчивый взгляд рыболова устремлён на этот крест, о чём он думает, глядя на него?

Я часто и подолгу гляжу на эту фотографию, и кажется мне, что Виктор Петрович думал в тот час о старом рыбаке, о его жизни, проведённой в этом благолепии, может быть завидовал ему, дышавшему этим божественным воздухом, может быть благодарил добрый дух старика, пославший нам такую невероятную удачу...

По приезду домой, я проявил плёнку, сделал и увеличил несколько фотографий, разумеется, подарил Виктору Петровичу сколько-то. Снимок ему понравился.

Несколько лет назад я увидел этот снимок в пермской «Звезде», потом в «Пермских новостях» за подписью «Репродукция Угольникова». Позднее он появился в журнале «Юность», может быть и ещё где-нибудь публиковался.

Друзья-журналисты, которым я показал сохранившийся негатив, предложили мне заявить об авторских правах. Я отказался — не люблю тягбы. Я доволен и тем, что этот снимок стал популярным. Но сказав о публикациях Угольникова, я должен внести поправку. Угольников ввёл в заблуждение читателей, сделав под фотографией подпись «Астафьев на реке Усьве». Читающий эти строки поймёт, что здесь Усьвой и не пахнет.

Эту щуку, что на фотографии, Мария Семёновна, супруга Виктора Петровича, приготовила в фаршированном виде.

Не помню, или я был приглашён на это блюдо, или случайно зашёл в маленький домик Астафьевых по улице Партизанской, ведущей к городскому кладбищу. Помню, что пришёл я вовремя: на столе стояло большое блюдо с порезанной на доли фаршированной щукой. В тесной комнатке, кроме хозяев, находился коллега Виктора Петровича по газете Сергей Балахонов. Помню, что направляясь к Астафьевым, я прихватил бутылку вермута, оказалось кстати — рыба посуху не ходит...

А тогда на берегу Солонной протоки, запечатлев трофей Виктора Петровича на плёнку и, таким образом, увековечив его, мы принялись за разделку рыбы, надо было её выпотрошить, подсолить и сложить в мешки, сшитые из детской клеёнки по объёму рюкзака. Тогда ещё не было целлофановых мешков, а детскую клеёнку можно было купить в аптеке.

Положив последнюю разделанную щуку в рюкзак, Виктор Петрович взял спиннинг и со словами:

— Ещё одна войдёт, — сделал заброс.

Не прошло и минуты, я снова слышу его весёлый голос:

— Вот она, голубушка! А ну, пожалуй к берегу. Не хочешь? Ну погуляй, погуляй!

Смотрю на него — действительно, кого-то вываживает.

А я что, рыжий? И моя должна быть здесь, — я взял спиннинг, отошёл чуть ниже и тоже сделал заброс...

Невероятно, непостижимо, невозможно понять, может быть, действительно, добрый дух покоящегося под крестом рыбака покровительствовал нам в тот день — едва я выбрал слабину провисшей леси после падения блесны в воду, как тут же ощутил рывок поклёвки. При ловле с берега «дубина» не нужна, оба вытащили посланных нам щук волоком на берег.

Изумлённые происшедшим, не веря собственным глазам, не находя другого объяснения, мы восприняли это, как чудо, ниспосланное свыше.

— Всё, больше ни одного заброса! — решительно объявил Виктор Петрович.

Я поддержал его, думая про себя: «Хватит искушать судьбу». От мысли, что это было чудо, я не отказываюсь до сих пор.

Впечатления от пережитого были так сильны и ярки, что я не удержался и написал об этом свой первый рассказ, назвав его «Солоная протока». К тому времени мы с Виктором Петровичем разъехались — меня перевели в Кунгур на новое место работы, он оставался в Чусовом. Не долго думая, послал рукопись Виктору Петровичу, он, не задерживаясь, ответил: «Не ожидал от тебя такой прыти, рассказ для начинающего очень не плох, но я бы советовал изменить настоящие имена героев»...

После такого отзыва я послал рассказ в альманах «Рыболов-спортсмен». Через какое-то время пришёл ответ из Москвы: положительная рецензия М. Руднева с заключением «Рассказ надо готовить к печати» и совет составителя альманаха Д. Самарина — «Доработать рассказ: сжать начало, убрать упоминания о баснословных уловах».

Сжать начало — не проблема, можно. Убрать упоминания о баснословных уловах, писать неправду, тоже можно, если хочешь напечататься, но я не смог — рассыпалось чудо.

Кстати, на следующий год мы ещё раз побывали на острове у Солоной протоки, но уже не вдвоем, а впятером — к нам примкнули ещё трое из наслушавшихся наших рассказов на «току». На этот раз никто нас не встретил радушно на станции, катер был где-то в рейсе. Почти двое суток с тяжёлыми рюкзаками и резиновыми лодками мы пешком добирались до Нартино. Проведя несколько дней на острове, мы вернулись ни с чем — чуда не было, хотя река была той же, никто её не испоганил, не отравил, и время было то же — начало июня. В чём дело? Попробуй, разберись...

Тогда же мы погрузили в нашу надёжную плоскодонку полные, подвязку, рюкзаки, благодарно посмотрели на крест, на поляну с жарками-купавами и оттолкнулись от берега. Впереди, до станции Яйва, двадцать семь километров пути, вниз по течению. Вода ещё высокая, часов за пять одолеем. В лодке шест и кормовое весло. Шест — толкаться на плёсах, весло — рулить на перекатах.

Виктор Петрович лежит в носу лодки на досках, застеленных пихтовым лапником. Я в корме, шестом подгоняю лодку на плёсе. Минуем остров — протока сливается с главным руслом — лодку подхватывает перекат. Я кладу шест, беру весло, направляю лодку по струе.

Вот справа на крутом берегу проплыла деревушка Нартино, слева потянулись низкие луговые берега в сугробах цветущих черёмух. Вода у берега запорошена снежинками их лепестков, они сопровождают нашу лодку до первого переката и тают в нём, захваченные кипящим водоворотом.

Чусовская
туристическая

Мы плывём, плывём по Чусовой —
Горы, лес да небо над рекой.
День стоит такой погожий,
Золотит нам солнце кожу,
На корме не дремлет рулевой.

Припев:
Речка Чусовая,
Лодка дощаная,
По родному краю
Нас несёт вода,
Мчит на перекатах
Мимо скал горбатых,
Зори да закаты —
Память навсегда.

Путь-дорожка наша далека,
Мчи быстрее, красавица-река,
Пусть дивят твои просторы.
Чудо-скалы, чудо-горы,
Нет таких нигде, наверняка!

Припев.

Нам туристам незнаком покой,
Мы готовы на маршрут любой,
мускул крепнет медью гладкой,
Мы прописаны в палатке,
Против неба, прямо под луной.

Припев.

1960 г.

Урал

Как родилось это слово,
Кто наш древний горный вал,
Край лесов глухой, суровый
Звонким именем назвал?
Может быть пройдя увалы
И пороги Чусовой,
Сам Ермак в преддверье славы
Слышал эхо над тайгой?
Может быть над перевалом,
Что в Сибирь путь открывал,
Закричал казак бывалый:
— Други, вот он перевал!
И поплыл рекой с откоса
Рати гул разноголосый,
Крик «Ура!» и «Перевал!»
Эхо вторило:
— Ура-ал...

Я подслушал слово это,
Как начало всех начал,
В птичьих трелях на рассвете,
В песне горного ручья,
Мне о нём леса шумели,
И в грозу, как пробу сил,
Ветры тенорами пели,
Гром раскатами басил.
И всегда мой слух привычный
Различать не уставал,
Что поёт гудок фабричный
Эхом спетое: Ура-ал...
В этом слове — голос стали,
В этом слове — гул машин:
На Ур-рале на Ур-рале
Нас ковали на Берлин!
Помнят старые солдаты,
Однокашники мои,
Что кончали в сорок пятом
Те, последние бои,
Помнят голос нашей стали,
Потому он дорог мне,
С ним горели — не сгорали,
Шли вперёд и побеждали,
С ним пришёл конец войне!

1961 г.

Чусовой

В междуречье, у слиянья
Усьвы, Вильвы, Чусовой,
Взяв себе реки название,
Встал посёлок заводской.

Из России, бросив сёла,
Убегая от невзгод,
Шёл сюда волгарь весёлый,
Вятский сметливый народ.

Рудознатцы, углегоги,
Лесорубы, сплавщики,
Ваши разные дороги
Здесь скрестились у реки.

Коренные чусовляне,
Унаследовали мы
Дух пришельцев этих ранних,
Их пытливые умы.

Октября волна крутая
Всколыхнула весь Урал, —
Забурлила Чусовая —
Наш завод народным стал!

Пятилетками шагая,
Рос завод и в ширь, и в высь,
Выше гор родного края
Домны в небо поднялись!

Жизнь с заводом нас связала,
Зной печей нас закалял,
Главным делом нашим стало —
Сталь варить, катать металл.

И работаем мы споро —
Сил для Родины не жаль,
Для брони и для рессоры
Чусовская, лейся, сталь!

1975 г.

Плеса

Хоть пешком, хоть на колёсах
Всё равно я буду в Плесах,
Где одни пенсионеры
В редких домиках живут.
Там река, холмы красивы,
Там бурьян: репы, крапива
По заброшенным подворьям
Чью-то память стерегут.

Там от шума, суматохи
Отдохнуть порой неплохо
И рыбалкой насладиться
Ранним утром в островах,
Позабыв про сон и скуку,
Судака поймать иль щуку,
С тётей Оней покалякать
Об ухе, о пирогах.

Хорошо в деревне дикой —
Пахнет воздух земляникой.
Если гложет ностальгия
По ушедшим временам,
Хоть пешком, хоть на колёсах
Всё равно я буду в Плесах
Там с Ананичем за чаркой
Мы споём «Гори, звезда»...

1991 г.

...Интонация — боль, интонация — вопль.
Чтобы найти хорошую интонацию стиха, нужно быть актёром, надо действительно вложиться в тот образ, в то состояние, о котором пишешь, надо пережить потрясение.

В. В. Армишев

...Поэзия — это звук, услышанный в детстве.

В. В. Армишев

*Этюд В. В. Армишева.
Из фонда Литературного музея В. П. Астафьева*



Владимир Васильевич Армишев

(1927–19.09.1999)

Поэт

Родился в 1927 году в Чусовом, в большой семье. В чусовской период своей жизни В. Армишев совмещал работу в школе в качестве художника, лаборанта, руководителя созданного им музыкального кружка с сотрудничеством в районной газете. Публиковал статьи, в основном, на темы культуры.

В 1956 году уехал к будущей жене Лилии Владимировне Таран в Бугульму, откуда в 1962 году вместе с дочерью Наташей они переехали в Пермь.



Художник, изобретатель, поэт, математик, музыкант, композитор — в каждой из этих областей он достиг высот. С математической точностью разработал теорию цвета, позволяющую теперь любому заурядному художнику достигать превосходных результатов.

Самостоятельно овладел игрой на фортепьяно настолько профессионально, что был приглашён в оркестр оперного театра. Он не учился композиции, но сочинил много прекрасных

Владимир Армишев — это явление. Наблюдения, исследования, погружения в самые разные сферы человеческого знания, видения проблем в корне и открытия... Миру приготовлен прекрасный подарок — знакомство с удивительно тонкой, искренней поэзией строгого мыслителя.

музыкальных произведений. Он разработал свою теорию музыки и простую систему записи нот, усовершенствовал рояль и ряд других музыкальных инструментов.

В математике открыл способы решения уравнений любой степени, извлечение любого корня из любого

числа, новый способ моментального определения просто числа, каким бы огромным оно не было. Жаль, что свои лучшие открытия он унёс в могилу.

У него было более сотни изобретений, о которых он не любил говорить, но каждое из них было потрясающим: танк-шар, ветер, дающий электричество без всяких вращающихся деталей и другие. Тяжело заболев раком, он посвятил целый год изучению этой болезни и, в конце концов, открыл способ её лечения.

Во время Великой Отечественной войны служил штурманом бомбардировщика, был ранен. После войны он учился на философском факультете Московского университета, знал многих выдающихся людей ушедшего столетия. С известным русским писателем Виктором Астафьевым вместе начинал работать корреспондентом в газете «Чусовской рабочий».

Виктор Петрович Астафьев одну из своих затесей «Город гениев» посвятил Владимиру Армишеву.

Владимир Армишев умер 19 сентября 1999 года. Похоронен в Перми.

В. А. Шемшук

Мой друг и учитель*

предисловие к книге В. В. Армишева
«Живопись мысли»

Владимир Васильевич Армишев родился в сентябре 1927 года. Художник, изобретатель, поэт, математик, музыкант, композитор — в каждой из этих областей он достиг высот, однако большую часть своей жизни представлялся художником, другие его достижения оказывались невидимыми потустороннему взгляду. Как художник он отличается, прежде всего тем, что с математической точностью разработал теорию цвета, позволяющую теперь любому заурядному художнику достигать превосходных результатов.

Он не кончал консерватории, но самостоятельно овладел игрой на фортепьяно настолько профессионально, что был приглашён в оркестр оперного театра. Он не учил композиции, но сочинил много прекрасных произведений, ещё ждущих своего часа. Он разработал свою теорию музыки и простейшую систему записи нот, усовершенствовал рояль и ряд других музыкальных инструментов.

В математике он оставил наше время далеко позади. Открытые им способы решения уравнений любой степени, извлечение любого корня из любого числа, новый способ ментального определения простого числа, каким бы огромным оно не было и т. д., он неоднократно демонстрировал нам, решая наши задачи в течение нескольких минут, а то и секунд, в то время как мы, будучи студентами физмата, программировали эти задачи на ЭВМ и тратили на это не один день. Жаль, что все свои лучшие открытия он унёс в могилу, так и не захотев осчастливить Человечество. Эта странная позиция вызывала нападки на него не только со стороны врагов, но и друзей.

У него было более сотни изобретений, о которых он не любил говорить, но каждое из них было потрясающим: танк-шар, пароход, скользящий по речной глади как с горки, ветер, дающий электричество без всяких вращающихся деталей и т. д. Тяжело заболев раком, он посвятил целый год изучению этой болезни и, в конце концов, открыл способ её лече-

* Армишев В. В. «Живопись мысли»: стихи / сост. М. Н. Болконская. — М.: Изд-во Всемир. фонда планеты Земля и К, 2004. — С. 5-7.

ния. Ему также удалось вылечить несколько людей, обратившихся к нему, но он отказался от патентования своего открытия, как, в прочем, и патентования всех других своих открытий и изобретений.

Он застал конец Великой Отечественной войны, куда был призван как штурман бомбардировщика, и был ранен. После войны он учился на философском факультете Московского университета, знал многих выдающихся людей ушедшего столетия. С известным русским писателем Виктором Астафьевым вместе начинал работать корреспондентом в газете «Чусовской рабочий», их долго связывала дружба.

Мы много времени проводили в спорах и совместных рассуждениях, иногда он нам читал свои стихи. Его называли пермским Сократом. Но в отличие от последнего, имевшего жену со скверным характером, его супруга Лилия Владимировна — добрая мягкая женщина. Перед очередным нашим бдением, она готовила нам поесть, чтобы мы не оставались голодными.

Он мучился поиском смысла жизни, и это нашло отражение в его поэзии. Сочетание современности, мудрости и лирики делает его непохожим на других поэтов, в то же время в его стихах мы ощущаем давно нам известное и родное: свои мысли, чувства, даже события. Как всё удивительно похоже!

Наше издательство надеется, что Вы, дорогой читатель, откроете для себя не просто нового поэта, а друга и учителя. И вы, также как и я, полюбите его творчество, как полюбили его те, кому он читал свои стихи, подобно Диогену Кинику, бродившему по городу в поисках Человека.

Мне и моим друзьям выпала честь находиться рядом с Великим человеком, который так никогда и не станет по настоящему известным, как ему было положено быть ещё при жизни. Об этом тоже пойдёт речь в его стихах.

Лана Аширова, поэтесса

Владимир Армишев — это явление. Наблюдения, исследования, погружения в самые разные сферы человеческого знания, видения проблем в корне и открытия... Миру приготовлен прекрасный подарок — знакомство с удивительно тонкой, искренней поэзией строгого мыслителя.

Строчки — бусы, ожерелья, полёт фантазии. И необыкновенная любовь к жизни... То, чего ждёт уставший, потускневший язык Человечества — переворот, взлёт к головокружительным вершинам творчества, умение преодолеть любую преграду, решить самую немислимую задачу и стать на «ты» с величайшими силами природы.

...Счастлива, что была рядом, общалась, училась у человека-творца, художника, ценителя женской красоты.

Взяты вечные вопросы.
И почти не человек,
Маг, мудрец, поэт, философ
Входит он в свой N-ный век.

«Я пришёл. Принёс вам, люди,
Смысл бессмысленных дорог».
А в ответ ему: «Подсуден,
В ссылку! В камеру! В острог!».

О поэзии*

Мысли из дневника

Всего 10 месяцев назад я понял, что уральский пейзаж богаче художественными деталями, чем пейзаж есенинской зоны. Моя детская память всё сфотографировала и записала на магнитофон. Эти впечатления вдруг ожили в моей душе до камушка, до травинки, до неуловимого вздоха ночной реки, до неслышного шороха в горах. Я любил созерцать ничтожность и никчёмность человеческих деяний на фоне вечных гор. Что это — гипнотическая сила гор? Не знаю.

30 октября 1979 г.

...Роль женщины в моём творчестве — не более чем роль камушка, брошенного в озёрную гладь. Лишь бы в душе что-то заколебалось. Для производства стихов одинаково пригодны как положительные, так и отрицательные эмоции. Страдание глубже, чем радость. Стихи пишутся для женщин и по поводу женщин. Всё остальное — либо рифмованная философия, либо рифмованная пропаганда.

* Армишев В. В. «Живопись мысли»: стихи / сост. М. Н. Болконская. — М.: Изд-во Всемир. фонда планеты Земля и К, 2004. — С. 199-217.

...Мозг — не орган поэзии. Единственно надёжный адрес поэзии — душа.

...Поэзия — это печаль. Оптимистическая поэзия — это такая же нелепость, как сладкая соль. Поэзия — это то, о чём не говорят, но все чувствуют. Это мир семантических связей, мир едва уловимых значений.

...Нейтрализация моей живописи и стихов может развиваться и под влиянием зрителя. Я так остро чувствую собеседника, что начинаю видеть его глазами, слышать его ушами. Это нечто вроде гипноза. Возможно, что только высокая степень деликатности не позволяет обижать собеседника несогласием. А возможно и неосознанное стремление проникнуть в душу собеседника, интуитивная настройка на его духовный камертон. Не от этого ли мне часто кажутся черепные коробки стеклянными. Ясно вижу течение мыслей, особенно чёрных и тайных. Вот здесь-то и обитают корни поэзии, самые тонкие и тайные пружины человеческого общения.

17 января 1989 г.

...Инфузории, нейтроны, болты, гайки не являются объектами поэзии.

...Поэзия имеет тонкую, легко уязвимую границу, и малейший нажим на неё грозит поэту оказаться за пределами поэзии.

2 декабря 1978 г.

...Сознательный выход за границы поэзии — это самоубийство.

Как человек не может дышать за пределами атмосферы, так и поэзия быстро задыхается за своими границами.

Объектами поэзии могут быть только те предметы и те состояния души, которые существуют веками, которые вошли уж не только в сознание, но и в подсознание, в сферу генетики и инстинктов. Вот почему дерево — поэтично, пластмасса — нет.

22 августа 1981 г.

...Поэт сначала что-то почувствует или увидит красочный образ, а потом уже пишет, т.е. ищет словесные эквиваленты... В поисках эквивалентов он пробует десятки аналогов... Трудность выбора аналога состоит в том, что благодаря первичности воображения автор ослеплён внутренним образом и поэтому плохо видит слово. А чтобы увидеть слово автор мгновенно (на долю секунды) должен превратиться в читателя, т.е. в постороннего человека!!! А у читателя всё наоборот: слово первично (возбудитель), воображение вторично. Слово — провокатор работы мозга, т.е. для правильного выбора необходимо полное отстранение поэта от собственной работы, для чего опытные поэты прерывают работу, чтобы стихи отлежались.

...Может возникнуть иллюзия, что отсутствие поэтического дара можно скомпенсировать талантливой методикой, но это лишь мечта.

11 марта 1979 г.

...Интонация — боль, интонация — вопль.

Чтобы найти хорошую интонацию стиха, нужно быть актёром, надо действительно вложиться в тот образ, в то состояние, о котором пишешь, надо пережить потрясение.

12 марта 1979 г.

...Гениальная есенинская метафора: «В сердце — ландыши вспыхнувших сил». Именно такие метафорические жемчужины, которые никогда не придут в голову. Хоть думай сто лет, и есть истинная поэзия. Сам того не ведая, 18 января 1979 г. в своем стихе № 500 я нашёл нечто подобное:

В лютой стуже во тьме чердака
Губы ищут губами согреться,
А заглянешь в тебя — облака,
Да ромашки, проросшие в детство...

Когда в душе девчонки увидел небо с белыми облаками, то под ними механически увиделась и поляна с ромашками, как символ детства. Осталось только найти соединение ромашек с детством. Этим соединением является слово «проросшие».

16 мая 1979 г.

...Поэзия — это звук, услышанный в детстве.

24 мая 1979 г.

...Поэзия — это искренность до конца.

9 мая 1979 г.

...Поэзия — это звук, это логика звука. Писать надо так, чтобы не терять звук. Лучше потерять мысль, ибо потеря мысли в поэзии — явление нормальное и называется недосказанность, а потеря звука приводит к потере самой поэзии. Нет звука — нет поэзии.

25 октября 1979 г.

...Поэзия — это простота, поэзия — это задушевность. Поэзия — это искренность. Сохранив привычку к искренности, увеличивается шанс на создание истинной поэзии.

СТИХИ ИЗ КНИГИ «ЖИВОПИСЬ МЫСЛИ»*

* * *

Отшумели лазурные годы.
Я к закату бреду не спеша.
И в озёрные очи природы
Очарованно смотрит душа.

Созерцая порой до озноба,
Затаённо чего-то боясь,
С отражённым огнём небосвода
Сердце слышит незримую связь.

В этот час исключённых событий
Даже лист не роняет ветла.
Сердце слышит, как звёздные нити
Проникают в земные дела.

Мы приходим из звёздного края
С вековым тяготеньем назад.
Всё живёт, неизбежно сгорая,
Как в озёрах закат...

6 октября 1979 г.

* * *

Если я сейчас глаза закрою,
То увижу серенький барак,
Угольные печи под горою
Да луной лужёный березняк...

Если ты сейчас глаза закроешь,
То увидишь розовый туман —
Полыханье вишен над рекою,
Беленькие хаты по холмам...

Холодно тебе и неуютно —
Ветром занесенный мотылёк!
Здесь — под небом ноющим и мутным
Затухает слабый огонёк.

Оба стали мы как будто выше,
Вдруг соединив свои мечты.
Полюбил я аистов на крыше...
В общем всё, о чём тоскуешь ты.

28 февр. — 1 марта 1980 г.

* * *

Читатель мой, с уныньем не спеши!
Дано мне под луной родиться дважды.
Крутая диалектика души
Даёт мне силы жить, где гибнет каждый.

14 мая 1982 г.

* Армишев В. В. «Живопись мысли»: стихи / сост. М. Н. Болконская. — М.: Изд-во Всемир. фонда планеты Земля и К, 2004. — 224 с.



*Этюд В. В. Армишева.
Из фонда Литературного музея В. П. Астафьева*

* * *

В удобном случае, без признаков сомненья,
Стремится даже друг унизить и обидеть.
По логике вещей пора бы ненавидеть
Всех яростно и сплошь — без исключения.
Но, верный сущности земного назначения,
Обязан неизменное попросту не видеть.

9 мая 1973 г.

Размышления у книгохранилища

Над потоком обывателей
В нишах мраморных — писатели.

Смотрят каменные классики,
Как играют дети в классики.

Глухо бродят мысли вечные,
Даже в камне — человеческие:

«Мы культуру не калечили.
Человека — человечили.

Зло клеймом позора метили,
Но чего-то не заметили.

Прорвалась душа звериная
В эру атома... с дубиной.

И в нейлоне засверкал
Питекантропа оскал!»

Смотрят каменные классики,
Как играют дети в классики.

Мудростью тысячелетия
Судят бурное столетие:

Ваш прогресс хромает этикой.
Мир кольцует кибернетикой.

Землю, небо, с веским доводом
Обмотал колючим проводом.

Поразил интеллигенцию
Злом духовной импотенции.

Муза безобразна формами,
Вместо молний мечет формулы.

Давит цифр оледенение.
Ум закован в цепи гениев.

Над планетой коброй встал
Символ века — интеграл!

Смотрят каменные классики,
Как играют дети в классики.

Смотрят, как они играют,
Сердце каменное тает:

Может, станет кто писателем,
Открывателем, мечтателем?

Может, физики-фанатомы
Расфасуют их на атомы?

Смотрят каменные классики
Как играют дети в классики.

Каменным воображением
Видится землекрушение:

Сорвались с замков реакции.
В небе — зелень радиации.

Сквозь сиянье это грозное
Не видны узоры звёздные.

Муравьи да вши зелёные
Населят подвалы тёмные.

Наши думы многотомные
Прочитают ...насекомые.

И оплавленный Толстой
Капнет каменной слезой!

Смотрят каменные классики,
Как играют дети в классики.

Дети солнцу улыбаются.
Мир на лезвии качается.

29 апреля — 23 октября 1968 г.

Валерий Николаевич Чаплыгин

(14.12.1931–24.02.2011)

Художник



Автопортрет.
Худ. В. Н. Чаплыгин

Родился 14 декабря 1931 года в г. Чусовом. Чусовой стал для Валерия Николаевича судьбой, личной и творческой. Он любил свою малую родину, прочувствовал её и запечатлел в своих работах: рисунках, картинах, пейзажах, портретах.

Учился в народном университете искусств им. Н. Крупской в Москве (1962–1964 гг.). Трудовая биография связана с Чусовским металлургическим заводом, с этнографическим парком истории реки Чусовой.



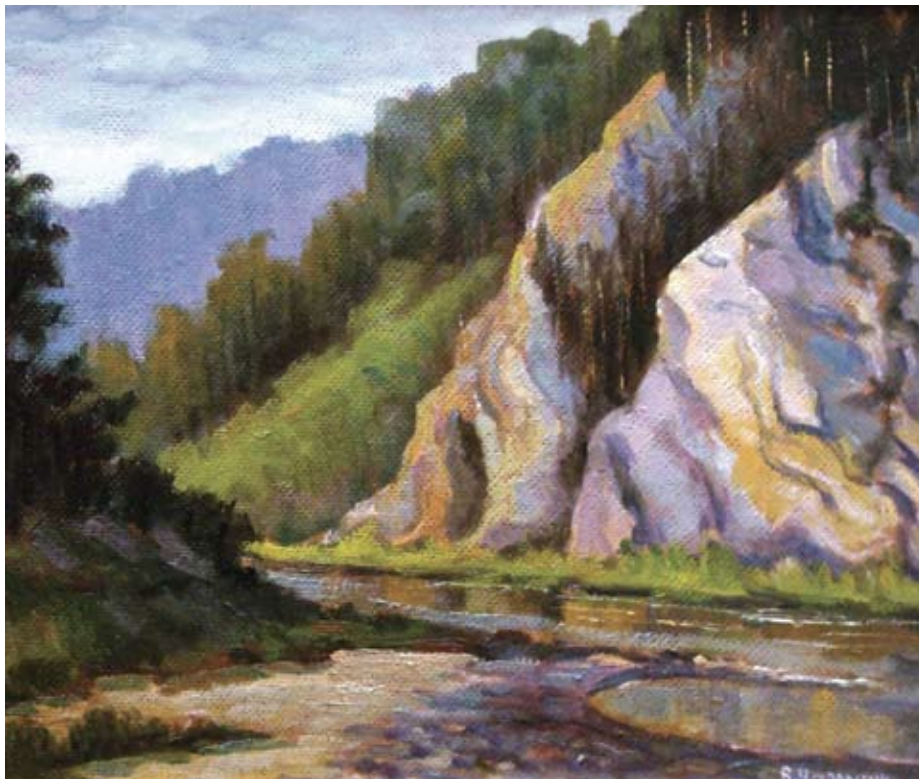
*Первый лёд.
Худ. В. Н. Чаплыгин*

А. М. Кардапольцева

Дар чувствовать и понимать

Талантливый художник, неутомимый труженик. Герой астафьевской затеси «Город гениев».

В этом редкостно одарённом человеке слились воедино талант, природная способность, взыскательность к своему труду, искренность, скромность. Валерий Николаевич любил жизнь, ценил её, видел красоту, умел её чувствовать. Ценил людей. Жил по совести, не требуя к себе внимания, благодарности. Он сам и его работы — предмет гордости для Чусового. Работы Валерия Николаевича — это величественная ода городу, историческому и современному, ода людям, его населяющим, ода природе, которая нас окружает, ода истории.



*Река Чусовая.
Худ. В. Н. Чаплыгин*

С детства любил рисовать. Карандашные рисунки, наброски, небольшие этюды, первоначальное копирование известных картин, полотен великих художников... Во время учёбы в ремесленном училище, службы в армии не покидала мечта заниматься живописью. Зоркий взгляд подмечал всё красивое, необычное, удивительный мир, который так хотелось запечатлеть в рисунках, картинах. Писал в мыслях, видел картины во сне... Сорок с лишним лет связано с Чусовским металлургическим заводом. Работал и кузнецом, и заливщиком металла, и художником–оформителем. Чем бы ни занимался, был предан своей мечте. По крупицам формировался талант, накапливался опыт. Заочная учёба в народном университете искусств им. Н. Крупской в Москве (1962–1964 гг.), где проходил курс «Рисунок и живопись», позволила познакомиться с разнообразными направлениями, жанрами. Рождаются пейзажи, портреты, натюрморты. Молодой художник ищет, пробует,

выдумывает, творит. Валерий Николаевич всегда отмечал, что годы учёбы воспитали терпение и усидчивость, самостоятельность и целеустремлённость. Первая персональная выставка открылась в 1963 году в родном Чусовом, а уже через год работы Чаплыгина были выставлены в Пермской художественной галерее. С его работами можно было познакомиться и в центральном выставочном зале в Перми (1988 г.), и в залах Чусовского металлургического завода, центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, краеведческого музея, а сейчас они выставлены в экспозициях этнографического парка истории реки Чусовой и Литературного музея В. П. Астафьева.

В период, когда в городе ещё не было художественного отделения, Валерий Николаевич организовал во Дворце металлургов работу изостудии, руководителем которой был шесть лет. Для его воспитанников это был особый мир искусства, мир творчества, мир вдохновения. Занимались рисунком, графикой, чеканкой, акварелью. Занятия в изостудии для некоторых из них стали путёвкой в жизнь.

Немало труда вложил художник в становление этнографического парка истории реки Чусовой, где они вместе с основателем музея Леонардом Дмитриевичем Постниковым воплощали в жизнь задуманные идеи. Картины В. Н. Чаплыгина, посвящённые чусовским героям затеси «Город гениев», украшают Литературный музей В. П. Астафьева.

За годы напряженного и плодотворного труда Валерий Николаевич сделал столько, что трудно себе представить. Написал не одну сотню картин, пейзажей, ряд портретов.

Известен как талантливый копиист: Евгений Евтушенко, увидев работы Чаплыгина был восхищён и лично позвонил по телефону, чтобы выразить слова благодарности и поддержки. Благодаря Валерию Николаевичу — портретисту, появились серии портретов знаменитых личностей истории Урала, ветеранов Великой Отечественной войны, передовиков производства. В. Н. Чаплыгин — мастер рисунка: известные объекты этнографического парка истории реки Чусовой, чусовские храмы, запечатлённые



Анна Трофимовна и Валерий Николаевич Чаплыгины

в рисунках художника, знакомы в разных уголках страны. Блестящий пейзажный живописец, известен своими лирическими этюдами. Различные лики природы нашли отражение в творчестве художника: притихшие перед грозой деревья, изумрудная зелень леса, серебро вымытых дождём домиков, светлая осень, ясная лазурь бездонного июньского неба... «Речка Архиповка», «Осень на Урале», «Скала Бревно», «Часовня», «Дачный домик», «Начало зимы», «Родная Чусовая»... — в работах В. Н. Чаплыгина чувствуем светлую благотворную энергию природы, преклонение художника перед вечной земной красотой. Покой и движение, печаль и свет, сиюминутное и вечное всегда и навечно остались в прекрасных творениях мастера. Валерий Николаевич оставил память о себе и как иконописец — в храме Георгия Победоносца иконы, главные врата храма полностью расписаны художником. Чусовляне помнят его и как художника-оформителя (оформлял многие помещения в городе, на металлургическом заводе, на «Огоньке», в Доме культуры имени К. Маркса). Для чусовских читателей Валерий Николаевич — иллюстратор книг чусовского писателя И. И. Хомякова.

*Весенняя нежность.
Худ. В. Н. Чаплыгин*



Монументалист — как не вспомнить, что одним из авторов памятника Победе, который известен в Чусовом как «старый «Вечный огонь» был В. Н. Чаплыгин. Для нескольких поколений чусовлян этот памятник стал символом патриотизма, любви к родине, гордости за свою историю.

Семья Чаплыгиных — Валерий Николаевич и его жена Анна Трофимовна — бережно сохранили в своей памяти историю Чусового. Благодаря их рассказам, воспоминаниям, работам оживают страницы истории через события, лица, судьбы людей.

Много выдающихся работ, но так или иначе наибольшую известность принёс рисунок «Дом В. П. Астафьева в Чусовом, на улице Партизанская, 76».

Этот на первый взгляд неброский рисунок имеет счастливую судьбу. Именно этот рисунок размещён на сайтах в сети Интернет (так он путешествует по всему свету), напечатан в различных журналах, изданиях, воспроизведён уже не в одном десятке самых разных печатных изданий России. И этот процесс уже не остановить, время только множит и множит тираж этой замечательной работы. Благодаря этому рисунку многие узнали о нашем городе. Большинство читателей и поклонников таланта Виктора Петровича (а его книги издаются на многих языках мира), знают дом писателя именно по этому рисунку.



*В. Н. Чаплыгин на фоне своей работы.
Фотоколлаж В. Н. Маслянки*

Каждый мастер со сложившейся творческой судьбой, вне зависимости от известности, от регалий и званий, всегда интересен. Неслучайно именно работы В. Н. Чаплыгина украсили книгу «Чусовой литературный».

Валерий Николаевич Чаплыгин оставил в наследство целый мир, созданный большим и честным художником.

Указатель имён

- Агин Александр Алексеевич**, художник — 134, 168
- Аннинский Лев Александрович**, публицист, литературный критик, г. Москва — 86
- Армишев Владимир Васильевич**, поэт, художник, г. Чусовой — 6, 326, 328-331, 334, 337
- Астафьев Андрей Викторович**, сын Астафьевых, г. Вологда — 11, 77, 99, 100, 103
- Астафьев Виктор Петрович**, писатель — 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 35, 36, 41, 44, 58, 71-88, 90, 93-95, 97, 98, 103, 105, 106, 118, 119, 121, 123, 124, 126-128, 130, 131, 134, 135, 142, 143, 146, 150, 152-155, 157, 158, 160, 162-164, 166, 168, 170-72, 174, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 195, 198, 217, 253, 254, 261, 263, 279, 289, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 316-323, 328, 330, 338, 340, 343
- Астафьева-Корякина Мария Семёновна**, писательница — 4, 10, 11, 13, 14, 16, 31-33, 39, 73-76, 78, 81, 86-88, 93, 96, 97, 104, 105, 110, 111, 118, 119, 121, 123-126, 128-131, 135, 142, 151-155, 157, 158, 186, 309, 322
- Астафьева Ирина Викторовна**, дочь Астафьевых — 11, 13, 58, 60, 63, 68, 69, 75, 91, 92, 99.
- Бажов Павел Петрович**, прозаик, фольклорист — 134, 161, 217, 225, 230
- Балахонов Сергей Николаевич**, прозаик, поэт, журналист, г. Чусовой — 6, 262, 263, 264, 322
- Беликов Юрий Александрович**, поэт, журналист, г. Пермь — 6, 189, 214, 215, 225-227, 229, 231
- Белов Роберт Петрович**, прозаик, г. Пермь — 78, 143
- Белугин Виктор Александрович**, прозаик, г. Чусовой — 6, 254, 255, 261
- Блинов Геннадий Александрович**, сотрудник газеты «Чусовской рабочий» в 1950-е годы — 299
- Богомолов Виталий Анатольевич**, прозаик, поэт, публицист, г. Пермь — 187, 346
- Бородин Леонид Иванович**, прозаик, редактор журнала «Москва» — 76
- Вершинин Геннадий Васильевич**, поэт, журналист, г. Лысьва — 78, 150, 153
- Влодов Юрий Александрович**, поэт, литератор, г. Москва — 217
- Вознесенский Андрей Андреевич**, поэт, г. Москва — 214, 225
- Гайдар Аркадий Петрович**, прозаик — 35, 230, 263
- Гейченко Семён Степанович**, директор Пушкинского заповедника в с. Михайловском Псковской области — 160, 166, 168, 169, 171
- Гинц Савватий Михайлович**, журналист, редактор Пермского книжного издательства — 35
- Глухов Вилорий Васильевич**, журналист, г. Чусовой — 215, 239, 240, 241
- Голубков Михаил Дмитриевич**, прозаик, г. Пермь — 5, 78, 134, 135, 144, 149, 154, 173-175, 182, 185, 186, 188, 191-195, 312
- Гребнев Анатолий Григорьевич**, поэт, г. Пермь — 187, 188, 192-194, 346
- Гремичкая Агнеса Фёдоровна**, редактор книг В. П. Астафьева, г. Москва — 165
- Грин Александр Степанович**, писатель — 141, 148, 225
- Данской (Попов) Григорий Геннадьевич**, поэт, музыкант, г. Пермь — 6, 244-246
- Дружинина-Завалина Зоя Павловна**, учитель русского языка и литературы, г. Чусовой — 97, 99, 103, 105
- Дружининский Николай Васильевич**, поэт, прозаик, журналист, г. Вологда — 126
- Евтушенко Евгений Александрович**, поэт, прозаик, драматург, г. Москва — 6, 216, 224, 341, 346
- Зальгин Сергей Павлович**, прозаик, редактор журнала «Новый мир», г. Москва — 35, 76
- Зеленов Владимир Алексеевич**, скульптор, художник, г. Красноярск — 14
- Исакова Прасковья Кузьмовна**, учитель железнодорожной школы № 25, г. Чусовой — 97, 99
- Исмагилов Равиль Бариллович**, заслуженный художник — 187, 189
- Каменский Василий Васильевич**, поэт-футурист, г. Пермь — 35, 139, 141, 225
- Кардапольцева Альмира Михайловна**, директор Центральной районной библиотеки имени А. С. Пушкина, г. Чусовой — 87, 131, 150, 338, 346
- Кобзев Вячеслав Михайлович**, певец, г. Москва — 232
- Конецкий Виктор Викторович**, прозаик, г. Санкт-Петербург — 166
- Куранов Юрий Николаевич**, прозаик, г. Псков — 155, 156, 162
- Курбатов Валентин Яковлевич**, литературный критик, писатель, публицист, г. Псков — 5, 8, 31, 58, 73-75, 77, 80, 86, 88, 92, 118, 121, 128, 131-134, 144, 150, 153, 162, 164, 166-170, 174, 185, 186, 189
- Логинов Андрей Прохорович**, дед М. С. Астафьевой-Корякиной, г. Чусовой — 99
- Макаров Александр Николаевич**, критик, г. Москва — 22, 151, 152
- Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович**, писатель — 41, 64
- Маслова Ирина**, корреспондент газеты «Жуковские вести», г. Жуковский — 232, 241
- Маслянка Владимир Николаевич**, директор Литературного музея В. П. Астафьева, г. Чусовой — 86, 95, 111, 127, 137, 150, 309, 347

- Мишланова Лидия Витальевна**, журналист, редактор, архивист, краевед, г. Пермь — 131
- Молева Нина Михайловна**, преподаватель истории искусств Высших литературных курсов, г. Москва — 38
- Нагибин Юрий Маркович**, прозаик, киносценарист, г. Москва — 27, 28
- Назаровский Борис Никандрович**, литературовед, редактор Пермского книжного издательства — 34, 35, 39
- Никольский Аркадий Федорович**, поэт, г. Чусовой — 6, 279, 288, 289
- Обыдёнкин Анатолий**, журналист, г. Рязань — 244
- Ольховиков Анатолий**, поэт, прозаик, г. Чусовой — 78
- Пепеляев Григорий Иванович**, ответственный редактор газеты «Чусовской рабочий» в 1950-е годы — 19, 79
- Пермякова Маргарита Осиповна**, поэт, г. Жуковский — 6, 233, 234, 239, 241-243
- Писарев Дмитрий Иванович**, критик, публицист — 29, 36
- Попов Виктор Михайлович**, поэт, журналист, г. Чусовой — 6, 279, 282-287
- Постников Леонард Дмитриевич**, основатель спортивной школы «Огонёк» и этнографического парка истории реки Чусовой — 4, 76, 77, 107, 135, 139, 141-143, 148, 163, 189, 217, 225, 230, 231, 341
- Потылицын Илья Евграфович**, дед В. П. Астафьева — 9
- Потылицына Екатерина Петровна**, бабушка В. П. Астафьева — 9, 158
- Пришвин Михаил Михайлович**, писатель — 134, 168
- Пушкин Александр Сергеевич**, поэт, прозаик, драматург — 29, 30, 134, 157, 161, 165, 170, 241
- Распутин Валентин Григорьевич**, прозаик, г. Москва — 134, 161, 164, 168, 170, 171, 347
- Реутов Иван Тимофеевич**, писатель, г. Чусовой — 6, 11, 155, 269, 270
- Римская Людмила Сергеевна**, директор Пермского издательства в 1950-е годы — 34, 261
- Рождественская Клавдия Васильевна**, прозаик, г. Пермь — 23-25, 35, 261
- Рождественский Игнатий Дмитриевич**, школьный учитель В. П. Астафьева, г. Игарка — 9, 20-23, 33, 152
- Ростовцев Юрий Алексеевич**, редактор журнала «Студенческий меридиан» — 87
- Рубцов Николай Михайлович**, поэт, г. Вологда — 125
- Сапиро Евгений Саулович**, доктор экономических наук, профессор, советник министра природных ресурсов России, г. Москва — 76
- Сапиро Саул Исаевич**, прозаик, г. Пермь — 6, 292, 293
- Сапронов Геннадий Константинович**, журналист, книгоиздатель, г. Иркутск — 14, 72, 86, 88, 151, 170, 171, 309
- Селивёрстов Юрий Иванович**, художник-график, г. Москва — 134, 169, 171
- Селянкин Олег Константинович**, прозаик, г. Пермь — 5, 189, 200, 201, 204, 206, 207, 211-213
- Ситнов Юрий Николаевич**, фотограф, скрипичный мастер, г. Чусовой — 108, 136, 138
- Скачков Алексей Яковлевич**, поэт, г. Чусовой — 6, 279, 280
- Смирнова Вера Васильевна**, член приёмной комиссии Союза писателей РСФСР, г. Москва — 35-37
- Смородинов Михаил Романович**, поэт, г. Пермь — 200, 208, 347
- Соколов Василий Иванович**, воспитатель детского дома в 1930-е годы, г. Игарка — 21, 23
- Солженицын Александр Исаевич**, прозаик, г. Москва — 14
- Толстиков Александр Максимович**, прозаик, журналист, г. Чусовой — 6, 154, 155, 299, 300
- Толстой Лев Николаевич**, прозаик, мыслитель, публицист — 40, 121, 123, 134, 161, 170
- Тупицын Сергей Анатольевич**, прозаик, поэт, г. Пермь — 81
- Тымина Зоя Валентиновна**, заведующая отделом инновационно-методической работы ЧРЦБ имени А. С. Пушкина, г. Чусовой — 87, 131
- Хайруллин Галимула**, сосед, постоянный спутник по рыбалке и охоте В. П. Астафьева, г. Чусовой — 59, 62-65
- Хлебников Велимир**, поэт — 217, 230
- Хомяков Олег Михайлович**, прозаик, г. Кострома — 77
- Хорошавцев Виктор Семёнович**, прозаик, поэт, г. Чусовой — 6, 306-309, 311, 321
- Хохолок Владимир Михайлович**, секретарь Чусовского горкома партии — 32
- Хромов Николай Николаевич**, скульптор, г. Пермь — 15, 25
- Чаплыгин Валерий Николаевич**, художник, г. Чусовой — 4, 6, 311
- Чацкий Павел Васильевич**, прозаик — 72
- Черненко Владимир Александрович**, прозаик, ответственный секретарь Пермской областной писательской организации в 1960-е годы — 35, 261
- Шардаков Павел Фёдорович**, заслуженный художник РФ, г. Волгоград — 141
- Шемирук Владимир Алексеевич**, прозаик, учёный-биолог, исследователь, г. Москва — 329, 347
- Широв Евгений Николаевич**, народный художник СССР, г. Пермь — 35, 40, 77, 134, 168, 169, 185
- Шпигель Роман Эдвардович**, г. Чусовой — 145, 146
- Шпигель Эдвард Германович**, г. Чусовой — 146
- Шуплецов Сергей Борисович**, чемпион мира по фристайлу, г. Чусовой — 75, 135, 136, 138, 143

Сведения об авторах

1. Богомолов Виталий Анатольевич

(р. 1948) — пермский писатель-публицист, поэт. Член Союза писателей России с 1990 г. Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина (1998 г.), областной премии в сфере культуры и искусства (1999 г.), премии имени русского поэта А. Ф. Мерзлякова (2009 г.). За заслуги в развитии литературного искусства в Пермском крае награжден орденом Ф. Достоевского (2011 г.). В 1987 г. в издательстве «Современник» (г. Москва) вышла его первая книга «Глухариное утро». Сегодня В. Богомолов — автор 17 книг и более 450 публикаций в периодике и коллективных сборниках (рассказы, статьи, очерки, эссе, стихи).

2. Гребнев Анатолий Григорьевич

(р. 1941) — пермский поэт. Член Союза писателей России с 1978 г. Заслуженный работник культуры РФ (2004 г.). Лауреат премии им. А. Гайдара (1980 г.), лауреат премий Прикамья за книги «Колокольчика вятского эхо» и «Родины свет» (2002 г.), лауреат премии журнала «Москва», лауреат премии «Имперская культура» имени Э. Володина за книгу «Берег родины» (2004 г.), лауреат премии А. Решетова (2007 г.), лауреат премии им. Н. Заболоцкого (2008 г.). За заслуги в развитии литературного искусства в Пермском крае награжден орденом Ф. М. Достоевского (2011 г.).

3. Евтушенко Евгений Александрович

(р. 1932) — русский, советский поэт, прозаик, публицист, киносценарист, кинорежиссёр, член Союза писателей России. Почётный член Американской академии искусства, действительный член Европейской академии искусства и наук. Лауреат интернациональной премии Aquila (2002 г., Италия). Награжден золотой медалью «Люмьеры» за выдающийся вклад в культуру XX века и популяризацию российского кино (2002 г.). Награжден общественным орденом «Живая легенда» и орденом Петра Великого, грузинским «Орденом Чести» (2003 г.).

4. Кардапольцева Альмира Михайловна

— директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Чусовская районная центральная библиотека имени А.С. Пушкина». За заслуги в развитии литературного искусства в Пермском крае награждена орденом Ф. М. Достоевского (2012 г.). Автор 25 публикаций. Составитель сборников «Всё о тебе, мой Чусовой» (2008 г.), «Когда гремела война... Чусовская летопись Великой войны» (2010 г.), «Не умолкает во мне война» (В. П. Астафьев о войне) (2010 г.); ежегодных сборников Малых (детских) Астафьевских Чтений (2007-2011 гг.).

5. Маслянка Владимир Николаевич

(р.1954) — директор государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Литературный музей В. П. Астафьева». Автор 50 публикаций, книги «По следам весёлого солдата» (2004 г.), ежегодных сборников Малых (детских) Астафьевских Чтений (2006-2011 гг.). Фотолетописец Малых Астафьевских Чтений.

6. Распутин Валентин Григорьевич

(р.1937) — русский прозаик, Герой Социалистического Труда (1987 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1977 г., 1987 г.); лауреат премии имени Л. Н. Толстого (1992 г.); лауреат премии имени Святителя Иннокентия Иркутского (1995 г.); лауреат премии Александра Солженицына (2000 г.); лауреат Литературной премии имени Ф. М. Достоевского (2001 г.); лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства (2003 г.); премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2004 г.); лауреат премии «Лучший зарубежный роман года. XXI век» (Китай, 2005 г.); лауреат Всероссийской литературной премии имени Сергея Аксакова (2005 г.); премии Правительства России за выдающиеся заслуги в области культуры (2010 г.); лауреат премии Международного фонда единства православных народов (2011 г.).

7. Смородинов Михаил Романович

(1943–2006) — пермский поэт, журналист. Член Союза писателей (1978 г.). Работал литературным сотрудником газеты «Мотовилихинский рабочий», корреспондентом областной газеты «Звезда», вёл литературный клуб «Лукоморье». Автор 14 книг.

8. Шемшук Владимир Алексеевич

писатель, учёный-биолог, исследователь, возглавлял Уральский фонд Рерихов и Пермскую комиссию по аномальным явлениям. Автор книг: «Диалог Земля-Космос», «Этическое государство» и др. Является действительным представителем Комитета по космической безопасности.

Содержание

Предисловие	3	Сотворение нимбов	218
		Венчание на царство в чувовских лесах	219
		Запах Флоренции	220
		Дума	221
		Перевоз под наигрыши гармошки	222
		136-й километр	223
		Е. Евтушенко. Часовой поэзии из городка Чусовой	224
Жизнь на миру			
В. П. Астафьев	8	М. О. Пермякова	232
Подводя итоги	16	Родина	234
Город гениев	41	Чусовой	235
Сибиряк	44	Пишу я вам про самое святое	236
Ягоды для папы	58	Улыбаясь, иду я по улице	236
		Отчий дом	237
М. С. Астафьева-Корякина	88	Уточка	238
Я не могла сказать: «Прощай!..»	96	Поэзия	238
Электровоз: глава из повести «Отец»	110	Воспоминания о поэте В. В. Глухове	239
В. Я. Курбатов. Свеча, зажжённая с двух концов	118	И. Маслова. «Всё ж рождаются на земле отцов корни новые от славянских слов»	241
В. Я. Курбатов	132	Г. Г. Данской (Попов)	244
И не напрасно в мире жить	136	Ермаковы дни	246
Дома, в истории	144	Книги сами читают нас	247
К Астафьеву, в Быковку	150	Ангелы на шариках	248
У «Третьего»	154	Моцарт-минор	249
В. Распутин. Были люди в наше время	164	Когда-нибудь	250
		Зимний футбол	250
М. Д. Голубков	172	Успеть так много, Боже мой!	251
Миниатюры	175	Повесть	252
По насту	182		
В. П. Астафьев и В. Я. Курбатов о М. Голубкове	185	Рядом с Мастером	
В. А. Богомолов. Без корней дерево не растёт	187	В. А. Белугин	254
А. Г. Гребнев. Михаилу Голубкову	194	Родная стихия	255
В. П. Астафьев. За синей рекой	195		
		С. Н. Балахонов	262
О. К. Селянкин	200	Путеобходчик	263
Дорога в бессмертие	204	Душа машиниста	264
М. Смородинов. Когда смерть рядом	208	В первой шеренге	264
Ю. А. Беликов	214		
Притча о кольчуге	218		

И. Т. Реутов	269	В. В. Армишев	326
<i>Не сломили</i>	270	<i>В. А. Шемшук. Мой друг и учитель</i>	329
		<i>О поэзии (мысли из дневника)</i>	331
А. Я. Скачков	279	<i>Отшумели лазурные годы</i>	334
<i>Не скрою</i>	280	<i>Если я сейчас глаза закрою</i>	334
<i>Дорожить</i>	280	<i>Читатель мой</i>	334
<i>Роза</i>	281	<i>В удобном случае</i>	335
<i>Индюк и Орёл</i>	281	<i>Размышления у книгохранилища</i>	336
В. М. Попов	282	В. Н. Чаплыгин	
<i>Уральский вальс</i>	283	<i>А. Кардапольцева.</i>	
<i>Во имя мира</i>	284	<i>Дар чувствовать и понимать</i>	338
<i>О счастье</i>	285		
<i>Приезжайте к нам в Чусовой</i>	286		
<i>Ветер</i>	286		
<i>Подснежник подарю</i>	287	Указатель имён	344
<i>Вечером</i>	287		
А. Ф. Никольский	288	Сведения об авторах	346
<i>Расцветает Урал ненаглядный</i>	290		
<i>Любовь бескорыстную</i>	290		
<i>Песня о Чусовом</i>	290		
<i>Бабье лето</i>	291		
<i>Гребешок</i>	291		
С. И. Сапиро	292		
<i>Кривая инженера Стрепетова</i>	293		
А. М. Толстиков	299		
<i>Повесть</i>	300		

Астафьевскими тропами

В. С. Хорошавцев	306
<i>В. Н. Маслянка. Капсула времени</i>	309
<i>На Яйве</i>	312
<i>Чусовская туристическая</i>	324
<i>Урал</i>	324
<i>Чусовой</i>	325
<i>Плеса</i>	325

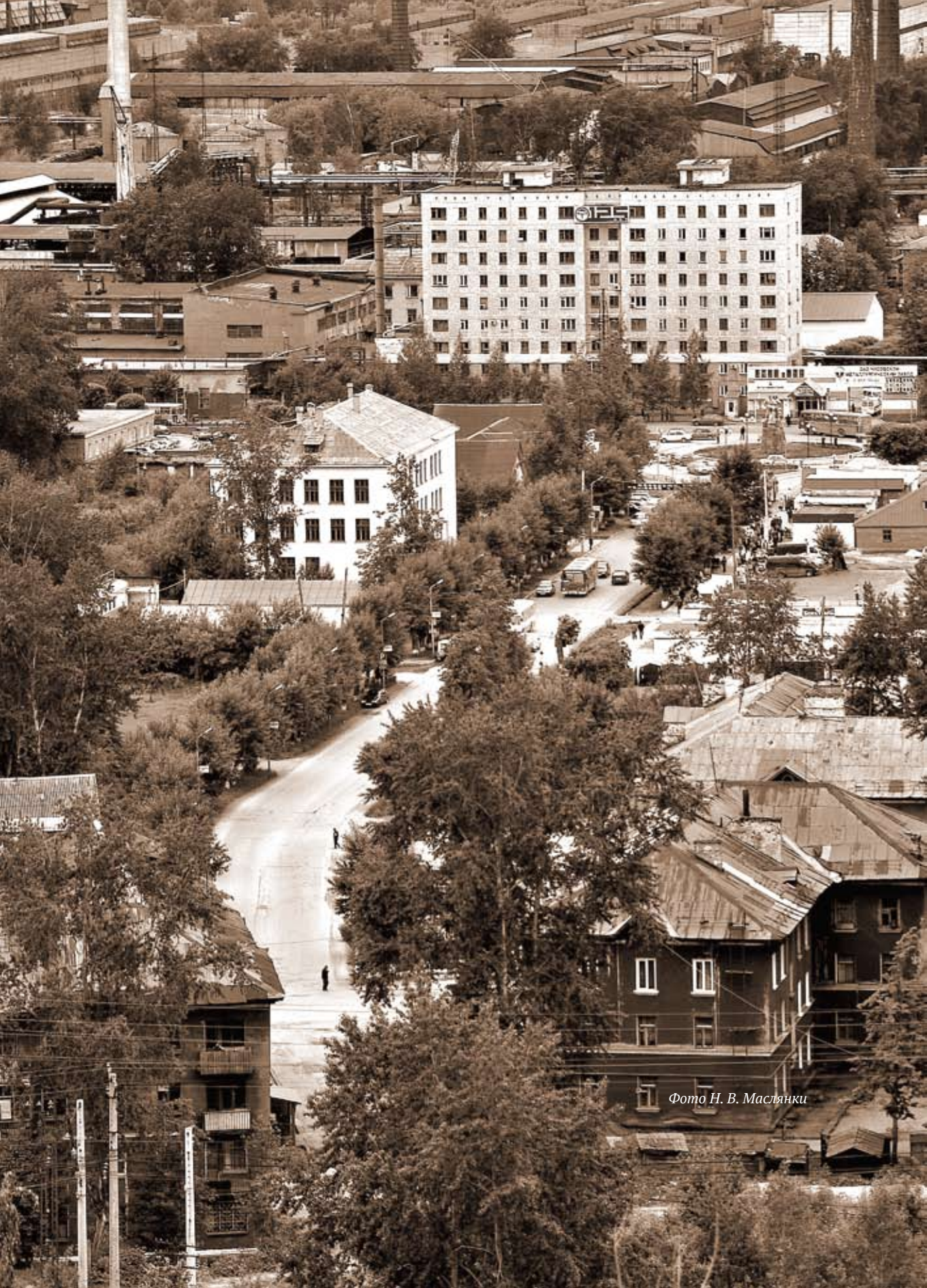


Фото Н. В. Маслянки

Благодарность

Искренно благодарим тех, кто принимал участие в подготовке литературно-художественного сборника, чьи материалы были использованы в этом издании, кто помогал, поддерживал и способствовал изданию книги «Чусовой литературный»:

Членов семьи Астафьевых: Астафьева Андрея Викторовича (г. Вологда), Астафьеву Полину Геннадьевну и Астафьева Виктора Геннадьевича (г. Красноярск);

Симакова Николая Ивановича, главу Чусовского муниципального района; Якушева Владимира Викторовича, писателя, председателя Пермской краевой писательской организации «Союз писателей России» (г. Пермь).

Беликова Юрия Александровича, поэта, члена Союза российских писателей (г. Пермь); Богомолова Виталия Анатольевича, писателя, члена Союза писателей России (г. Пермь); Гребнева Анатолия Григорьевича, поэта, члена Союза писателей России (г. Пермь); Завальнюк Оксану Викторовну, пермскую художницу, преподавателя ПНИПУ и ПГИИК (г. Пермь); Исмагилова Равиля Барилловича, заслуженного художника РФ, председателя Пермского отделения Союза художников России (г. Пермь);

Костареву Галину Владимировну, главного редактора краевого журнала «Мы – земляки» (г. Пермь);

Курбатова Валентина Яковлевича, выпускника чусовской школы № 9, писателя, публициста, литературного критика (г. Псков);

Макарову Любовь Ивановну, советника главы Чусовского муниципального района;

Постникова Леонарда Дмитриевича, основателя спортивной школы «Огонёк» и этнографического парка истории реки Чусовой;

Постникову Ольгу Леонардовну, директора этнографического парка истории реки Чусовой; Сапиро Евгения Сауловича, выпускника чусовской школы № 7, доктора экономических наук, профессора, министра региональной и национальной политики РФ (1998–1999), в настоящее время советника министра природных ресурсов России;

Сапронову Наталью Геннадьевну, руководителя издательства «Издатель Сапронов», (г. Иркутск); Ситнова Юрия Николаевича, фотографа, чусовского скрипичного мастера.

Специалистов Чусовской районной центральной библиотеки имени А. С. Пушкина:

Тымину Зою Валентиновну,

Гилёву Гульнару Михайловну,

Погудину Анастасию Сергеевну,

Гафурову Анджелу Руслановну,

Каюрину Светлану Алексеевну,

Креницыну Надежду Евгеньевну

Выражаем признательность родственникам героев книги:

Астафьеву Андрею Викторовичу, сыну В. П. и М. С. Астафьевых,

Астафьевой Полине Геннадьевне, внучке В. П. и М. С. Астафьевых,

Астафьеву Виктору Геннадьевичу, внуку В. П. и М. С. Астафьевых,

Армишевой Наталье Владимировне, дочери В. В. Армишева,

Злобиной Валентине Дмитриевне, сестре М. Д. Голубкова,

Чаплыгиной Анне Трофимовне, жене В. Н. Чаплыгина

за предоставленный материал, фотографии, картины из семейного фонда.

А. М. Кардапольцева,
директор МБУК «Чусовская районная
центральная библиотека имени А. С. Пушкина»

В. Н. Маслянка,
директор ГКБУК «Литературный музей В. П. Астафьева»

Литературно-художественное издание

Чусовой литературный

серия «Ермаковы лебеди на Чусовой»

Ответственный редактор А. Кардапольцева
Дизайн обложки Н. Макарихина
Компьютерная вёрстка Н. Макарихина
Корректор Е. Новикова

ISBN 978-5-91076-087-9

Подписано в печать 13.03.2013. Формат 70х100 1/16
Гарнитура PT Serif.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Маматов»
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 55а,
www.mamatov.ru



Отпечатано с готовых файлов заказчика